ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Ирина Бразуль

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Ирина Бразуль

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ



ЖЗЛ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 18
(442)

МОСКВА
1967

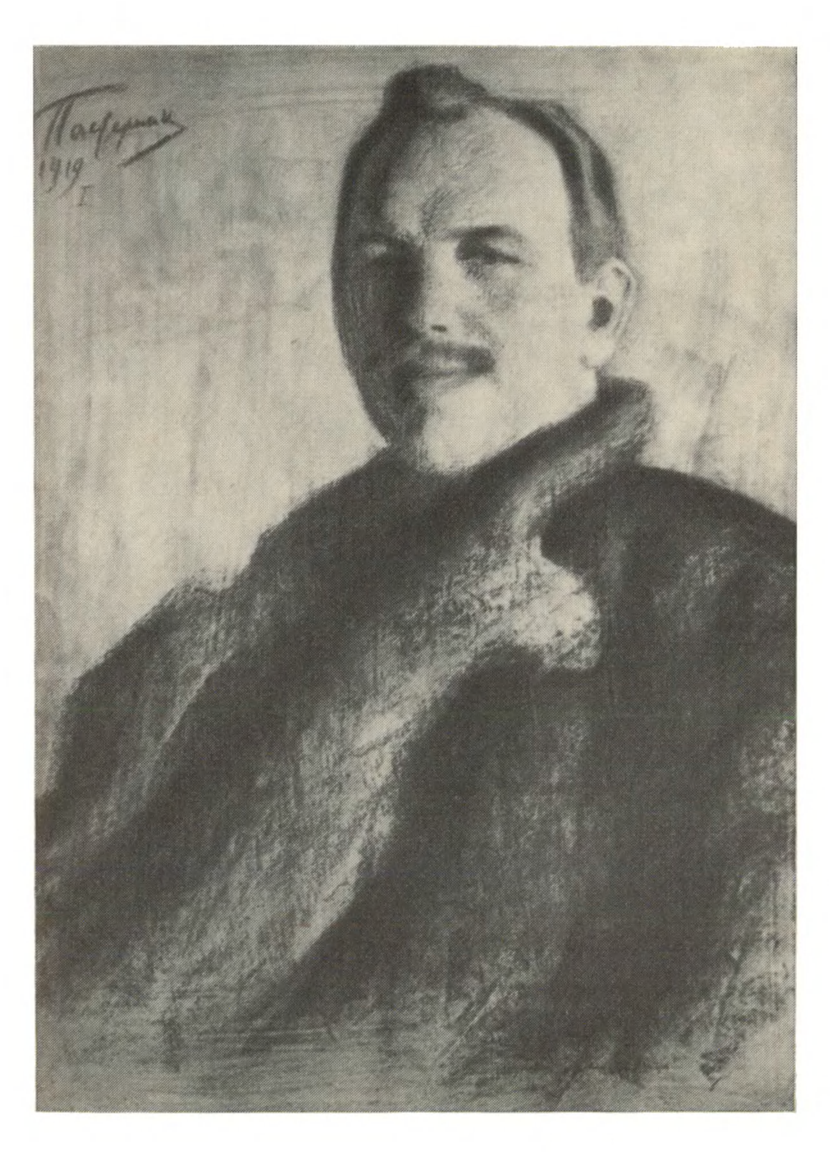
Ирина Бразуль

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

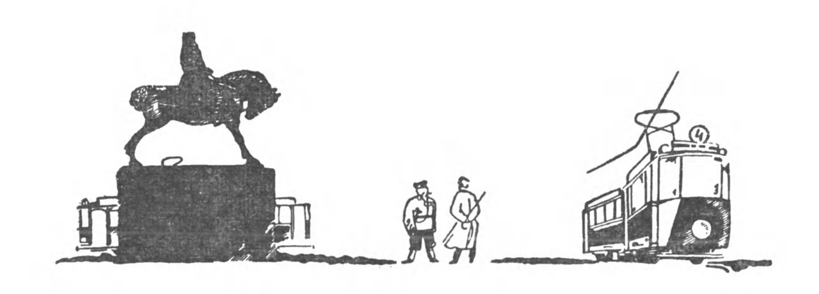
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

8Р2
Б87





Портрет Д. Бедного. Художник Л. Пастернак.



Часть I. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1904—1911

Глава I

ПРОВИНЦИАЛ С ТРОСТОЧКОЙ

Осенью 1904 года в Санкт-Петербург приехал молодой человек. Выйдя на площадь, замыкающую Невский, он начал оглядывать прохожих внимательным взглядом. Сам он для такого взгляда представлял мало интереса: обыкновенный здоровый малый, ни городской, ни деревенский. Лицо простое, а усики франтовские, не мужицкие. Порыжелое пальто и плохонький чемоданчик говорили о бедности. А новешенькая, лихо посаженная студенческая фуражка да зажатая в руке тросточка эту бедность только подчеркивали.

Приезжего никто не встречал, а он словно искал кого-то. Наконец, приняв решение, твердым шагом направился прямо к городовому, что прохаживался вдоль забора, зачем-то огораживающего центр площади.

Это место пока только готовили для конной статуи Александра III, которая вскоре и была воздвигнута, немедленно породив споры и насмешки. Истинный художник Паоло Трубецкой передал сходство и самый образ царя с исключительным мастерством и силой (в узком кругу друзей скульптор говорил: «Я посадил одно животное на другое»). Вдовствующая императрица оценила точность портрета. А на широкую публику произвел впечатление именно образ. По городу пошла гулять потихоньку передаваемая из уст в уста загадка: «Стоит

комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — идиот. Что такое?» Как только не называли этот памятник, пока, лет двадцать спустя, монумент не получил точное определение — «пугало». Нашел его приезжий с тросточкой. Он же написал и стихи.

Мой дед и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Но в 1904 году тут был пока лишь забор с надписью: «Останавливаться воспрещается», что означало запрет пользоваться оградой как общественной уборной.

Устремившись к внушительному городовому, приезжий молодой человек, видно, так был занят интересующим его делом, что даже не обратил внимания на диковинное для провинциала новшество: на углу Лиговки и Невского завершал круг паровой трамвай.

— Скажите, пожалуйста, господин полицейский, — вежливо обратился к блюстителю порядка юноша, — разрешается ли ходить по Петербургу с тросточкой?

В странности этого вопроса городовой заподозрил подвох:

— Что такое? Как так? Почему такой нельзя?

— Да как же, ведь тут царь живет... — простодушно пояснил приезжий.

Но, заметив в настороженном взгляде рачьих глаз подозрение, поспешил ретироваться. Чего доброго, отправят в участок выяснять, кто такой, почему спрашивает, хотя вопрос был задан не зря: за годы обучения в Киевской военно-фельдшерской школе ее выпускник не раз слыхал рассказы старых военных служак о Петербурге и столичных строгостях. Один царь не разрешал курить на улице. Другой дозволял носить усы только военным. Третий запретил тем же военным иметь при себе часы. Правда, это было давно. Но если Николай I или Павел могли запретить курение и усики, почему другому царю не запретить что-либо еще? Царь все может. На то он и царь.

Быстро зашагал по Невскому приезжий, продолжая поглядывать вокруг: как насчет тростей и палок? Оказалось, что очень многие, в том числе и плохо одетые люди, ходили с палочками. Тогда, весело замахав своей, с удовольствием ощущая, что идет не где-нибудь — по Невскому! — молодой человек забыл, наконец, о беспокоившем его вопросе.

Очень скоро стали чередоваться одна за другой роскошные витрины гастрономических магазинов, но они не вызвали особого внимания приезжего, потому что был сыт: случай

послал ему такой дорожный запас провизии, что хватило на всех соседей. Поездка началась хорошо. Подвыпивший кучер из какого-то имения впопыхах сунул в руки корзину для своего барина. А барин, видно, ехал в другом поезде. Сколько ни искали — не нашли. Пассажиры третьего класса унывать не стали. Только облизывались да приговаривали: «До чего же хороша господская пища!»

Молодой человек знал, что протяженность Невского — какие-нибудь три версты с лишком. Пользоваться конкой не собирался. Ноги крепкие, а деньги мелкие. Дойти до Васильевского острова можно быстро, а там лежат бумаги, которые сделают его студентом. До сих пор не верилось такому счастью.

Напрасно, однако, будущий студент прикинул, что быстро доберется до Университета. На пути встало неожиданное препятствие: переходя улицу, заметил недалеко от угла большой книжный магазин. Таких заманчивых не только в Елисаветграде, но даже в Киеве не видел. Можно чуть свернуть в сторону. Едва вошел — глаза разбежались. Сколько здесь невиданного, неизведанного!.. Книги стоят до самого потолка, играя корешками кожи, сафьяна, картона; с черными и золотыми заглавиями.

Иные почему-то были оставлены на прилавке раскрытыми, мерцая серыми пятнами печати посреди обрамления торжественно широких полей. Со всех сторон будто окликали десятки знакомых да и незнакомых имен. Кто по-русски, кто по-немецки, по-латыни, английски, французски и неизвестно на каких языках еще.

Сперва трудно было различить, где свои, где чужие; что читано, а о чем только слышано, что видит впервые; лишь угадывалось, что там, в глубине справа, — стихи. Это были томики поменьше форматом, а, наверное, стоит раскрыть любой, как на страницах затемнеют стройные столбики печати, какими ложится только стихотворный текст.

Понемногу новый посетитель магазина начал различать имена тех, кого он знал так хорошо, что мог говорить с ними на «ты». Увидел Шевченко, Ершова, Крылова.

Господи, а какой тут Гёте! Шекспир!.. Нет, даже в Киеве нет такого магазина... И вдруг провинциалу начало казаться, что он мало читал, мало знает, и он ощутил не свойственный ему страх: дерзнул податься на филологический факультет! Как бы эта затея простого мужичонки не потерпела фиаско. Сдать экстерном курс за гимназию — одно дело, а тут Петербургский императорский. Что будет?..

Однако дозволено ли здесь рыться в книгах и уйти, ничего не купив? Сколько раз слышал фразу: «Здесь магазин, а не библиотека!» Да и помимо соображения приличий, как было не взять в залог этой встречи с первым петербургским магазином хоть какой-нибудь, самой дешевой книжки? И он начал смотреть иначе. Выбирать. Это оказалось еще увлекательнее и труднее: почему та, а не эта?

Каждый раз, уже собираясь расплатиться, он забывался и снова пускался в плавание: смотреть и выбирать, выбирать и смотреть... Но только увлекся новым томом, как вдруг равнодушный приказчик, как показалось пренебрежительно, попросил:

— Извольте посторониться. Мне надо для покупателя товар достать. — Установил стремянку и живо полез наверх.

«Изволившего посторониться» задела бесцеремонность, в которой почудился подтекст: «Я, мол, настоящего покупателя обслуживаю, а ты, лапоть, только глазеешь». Рассердило и то, что приказчик назвал книгу «товаром», как какую-нибудь галантерею.

— Что ж, господин приказчик, — сказал молодым баском «лапоть», увидев, что руки продавца пусты, — побеспокоить умеете, а достать, что нужно, не можете? Да я вижу, это мудрено: битый час толкусь, теряю время, не могу найти что нужно, а вы только «извольте посторониться»? — передразнил он, с трудом сдерживая грубость.

— Как можно, ваше благородие? Чего изволите? Только прикажите-с!

Приезжий поймал на себе взгляд бородатого господина, о котором пекся продавец. Ну да все равно! Наступать себе на ноги никому не даст. И он предъявил свое требование таким тоном, будто спрашивает сущую безделицу.

— Первый том Никитина, восьмое издание девятисотого года Клавдия Кузьмича Шамова, составленное де Пуле, с портретом, факсимиле и биографией, — заявило «его благородие» в порыжелом пальто, не располагая и третьей долей стоимости этой книги.

— Прощения просим-с, сейчас не имеем. Извольте зайти завтра. Или, может, угодно-с оставить карточку — мы пришлем мальчика на дом-с!

Тут неожиданно вмешался бородатый. Он неторопливо поощрительно заметил:

— Очень приятно видеть у современной молодежи интерес к отечественному автору и столь редкое знакомство с издателями. А де Пуле весьма изрядный биограф и составитель.

Иван! Ты что же хозяина срамишь? Не может быть, чтобы у него шамовских фолиантов не было!

Приезжий похолодел от этого заступничества. Он пересмотрел тут — слава богу сколько! — и был уверен, что этого издания не найдется. Ну и влопался! — думал он, ругая уже теперь себя последними словами. Ужли бежать, схватив в охапку кушак да шапку?

— Не извольте гневаться, господин профессор! — извинился перед бородатым Иван. — Намедни только экземпляр продали. Мы завтра же пришлем-с. Пусть только изволят адресок-с!

— Адресок, адресок! — проворчал покупатель. — Иди. Без тебя обойдусь. Я тут другое присмотрел. — И, не зная, следует или не следует ему поклониться господину профессору, взял первую попавшуюся книгу. Это было дешевенькое, без переплета издание из пособий по русской литературе. Тут были приведены собранные почему-то Екатериной II пословицы. Интересно: многие остались ходовыми, но потеряли свои половинки: «Чудеса в решете» — говорят, а пояснение: «Дыр много, а вылезти некуда» — исчезло; «Пьяному море по колено» — все знают, но главное-то: «лужа по уши» — позабыли!.. Начав листать книгу случайно, молодой человек увлекся ею. Понравились пословицы, каких он не знал: «Стоянием города не возьмешь». А из раздела «Гражданское начальное учение в вопросах и ответах» по вкусу пришлось: «Долго ли учиться? — Дондеже не будет жаль быть лучше или знающе». Хорошо сказано!

Пункт «Долг родителей есть дать учение» заставил невесело усмехнуться. Вспомнилась мать, неожиданно появившаяся на елисаветградском перроне: «А щобь тобі туды ны доіхаты, ны назад не вернуться!» Благословила! Хорошо еще, что не срамословила. Недобро поджались его губы, но тут же помягчели: он увидел томик Кольцова. Раскрыл книгу. Знакомый портрет. Эх, милый! Недешево тебе дался Петербург, литература. Тоже семейка у тебя была. Скотом торговать — мил-хорош, а стихи писать — пшел вон! Даром что родные. Вот и жалобился: «В поле ветер веет, травку колыхает, путь, мою дорогу, пылью покрывает». Печально...

Приезжий читал быстро, схватывая взглядом всю страницу разом. Как всем людям, много читающим в молодости, ему было дорого всякое сходство с собственными мыслями и судьбой. А тут разве нет общности в том, что Кольцов в своем кругу «не мог набраться не только каких-нибудь нравственных правил или усвоить себе хорошие привычки, но и не мог обо-

гатиться никакими хорошими впечатлениями...»; что он «...слышал грубые и не всегда пристойные речи даже от тех, из чьих уст ему следовало бы слышать одно хорошее»?

А разве и Кольцов не начал свое литературное просвещение со сказок? А его благоговейное отношение к Пушкину? И вот еще занятно: тут сказано, что на родину Кольцова приезжал еще наследником престола Александр I. «Вероятно, — писал о поэте биограф, — он был представлен наследнику». Вот как! А когда в военно-фельдшерскую школу приезжал с инспекцией великий князь Константин (хотя и не наследник, но все-таки царской фамилии), кого представили его высочеству как способного? Какого ученика обласкал князь, обещал покровительство?

Такое сходство начала судеб могло ровно ничего не означать, но всякая общность с любимым поэтом была воспитаннику военно-фельдшерской школы приятна.

Да, видно, томик мил-друга Кольцова надо купить. Дороговато... Переплетен под кожу. Сорок пять копеек! Зато пословицы дешевле. Ну да ладно. Все равно перебиваться. И, непредвиденно истратив часть своих скудных средств, приезжий вышел из магазина очень довольный, что так отпраздновал свой приезд в Петербург. Удачно и то, что сразу обнаружился такой превосходный магазин. Надо запомнить. Проспект называется Литейным. Интересно, что там дальше? Молодой человек не удержался, чтобы не сделать еще несколько шагов по этому прекрасному проспекту. И остановился как вкопанный: перед ним был другой книжный магазин. Да такой, перед которым первый выглядел просто жалкой лавчонкой.

Сквозь зеркальные стекла просматривались сверкающие полированным деревом полки с книгами. Картины, ковры, люстры. Но — ни живой души. Да и что там делать простому смертному?

На вывеске значилось: «Н. В. Соловьев. Антикварная торговля книгами». Так вот в чем дело! На Невском соловьевская фирма продает фрукты. А здесь — книги. Один хозяин или семейка? Да не все ли равно? Устраивать ковровое и зеркальное роскошество вокруг апельсинов — пусть! Но фруктовый привкус в книжной лавке — свинство. Книга не нуждается в том, чтобы ее украшали.

Пройдя дальше, он утешился: перед ним был нормальный магазин, с аппетитно заваленными до потолка полками. Еще через дом-другой — снова. На этот раз с антресолями, на которые заманчиво вела деревянная лестница. И там все забито книгами.

Книги, книги, книги...

Так вот какой он, Петербург!

Это «открытие» Петербурга сбило приезжего с толку. Сколько времени ушло? Давно пора добраться до Университета. Хорошим шагом он двинул опять на Невский, прикидывая, как быстро дойдет до Васильевского острова.

Царственно выглядела главная каменная аллея столицы. Бронзовые кони, колоннады, памятники, дворцы и даже новенький гастрономический магазин — тоже дворец. Разряженных дам и господ, гвардейских офицеров ожидают в колясках лихачи с конями, вроде даже не имеющими ничего общего с обыкновенными, не говоря о степных, простецких. Но скорей дальше, к цели, к Университету!

Удивление вызвало количество банков. Сколько их тут? Северный, Русско-Китайский, Учетный и ссудный, Азовско-Донской, Коммерческий, Московско-Купеческий, Частнокоммерческий, Учетно-ссудный банк Персии — и несть им числа!.. Пришла на ум параллель: «Почему в Москве такая бездна церквей?» — спросил Наполеон у генерала Балашова. «Русские очень набожны», — ответил Балашов. Так рассказывает Толстой. «Но почему в Петербурге такая бездна банков?» — спросить бы у какого-нибудь петербуржца. Неужели потому, что «русские очень богаты»? Как бы не так! Они так же богаты, как набожны; и в обратном приезжего не убедил бы никакой распропетербуржец. Только говорить здесь было пока не с кем.

Он чувствовал себя в этом городе, как немой.

Начала понемногу давить и казенная парадность. Чем ближе к Адмиралтейству, тем больше, казалось, прихорашивалось все то, что было отмечено честью соседствовать с резиденцией царя. По улицам уже ходили фонарщики со своими длинными шестами, зажигали газовые фонари. Разносчики газет с блестящими металлическими буквами на фуражках кричали: «Вечерние биржевые!» Он любил газеты, потянулся было в глубочайший карман брюк, где в единственном носовом платке хранился скудный остаток монет, но вовремя одумался: на кой шут ему «Биржевые ведомости»? И снова ходу. Эх, свернуть бы на Сенатскую, Петра I поглядеть! Ничего, потерпишь. Никуда всадник не ускачет, а день на исходе. Итак, изменил обычной деловитости, застрял в книгах. Успеет ли сделать главное?

Университетская канцелярия, конечно, оказалась закрытой. Так. Проворонил. Хорош. Он вышел на набережную разозлен-

ный, но, бредя обратно уже без торопливости, забыл об Университете, о самом себе.

Когда-то в Киеве, выйдя впервые на Владимирскую горку, окинув взглядом широкий Днепр и бескрайнее, тонущее в синем мареве Заднепровье, он задохнулся от чувства беспричинного счастья. Тогда он думал, что никогда больше не увидит такой ошеломляющей, радостной красоты: неужели может быть на свете что-нибудь равное этому спокойному, торжественному простору?.. Ново и неожиданно было еще и чувство гордости. Это моя родина, мои просторы, моя земля. Чуть слезу не прошибло.

Такое же чувство постепенно завладевало им теперь. Он глядел на Неву с ее мерцающими вдали огнями другого берега, и, хотя Днепр был пошире, а с Владимирской горки было видно дальше, здесь открывалась совсем новая, иная красота. Она была делом рук человека. Какой город, какой поистине царственный город!

Теперь он шел по местам, где глазу не мешали вывески, витрины, нарядные толпы. Это было как сновидение. Поворотил налево: пусто у Зимней канавки. Никого у Летнего сада, на Марсовом поле. Лишь изредка, мягко покачиваясь на дутых шинах, промчится закрытая коляска. Вернулся обратно — и вот она, Сенатская площадь. Здесь тоже никого. Вечерний туман плотно слоился по земле. Здания стояли, как на облаках. Медный всадник взлетел, будто ни на что не опираясь. Мчался как по воздуху. Вспомнился Мицкевич:

Но конь Петра безумно несся,
Все сокрушая на лету,
И вдруг вскочил на край утеса,
Подняв копыта в пустоту.
Царь бросил повод, конь несется,
Закусывая удила...
Вот упадет и разобьется...
Но все незыблема скала.
И медный всадник, яр и мрачен,
Все так же скачет наугад.
Так, зимним холодом охвачен,
Висит над бездной водопад.

«...Так вот какой он, Петербург. Есть ли где на свете что-либо величественнее?» — спрашивал он себя, снова ощущая невесть откуда взявшуюся гордость своим отечеством.

Но как бы ни был восторжен взгляд этого «первооткрывателя» Петербурга, как бы нежно он ни прижимал к себе первые, приобретенные здесь книги, приезжий нисколько не

походил на тихого мечтателя, хилого книгочия, богатого понятиями и бедного житейским опытом. Этот провинциал был мужик кровь с молоком, косая сажень в плечах. Хитрый, далеко видящий глаз деревенского заводилы так и говорил, что он парень не промах. Ну, а если пописывал стишки, то большей частью смешные, даже издевательские и иной раз такого точного прицела, что его, бывало, мутузили высмеянные товарищи, в свою очередь сполна получавшие сдачу. Не терялся он и на селе с девками и с городскими барышнями умел слово сказать. Отдавал должное украинскому кулешу, а приводилось — и горилке.

Вместе с тем он был не так-то прост. В плохоньком чемоданчике лежала любимая маленькая книжка, издание «Дешевой библиотеки». «Гамлет». На титульном листе владелец сделал надпись — выписку из трудов философа Бокля: «В акте сомнения зарождается прогресс». Последние же странички, оставленные чистыми для заметок, были заполнены полемикой в оценке «Гамлета» с какой-то прочитанной в шестнадцать лет статьей.

Однако пустой желудок отрезвляет и не таких мечтателей... Пойти по адресу елисаветградских знакомых? Поздно. Загулялся. И приезжий взял курс к вокзалу, чтобы посидеть в какой-нибудь извозчичьей чайной. Благо не был еще съеден добрый кусок сала, что сунул дед в дорогу. Можно заправиться. Этот день он закончил в ночной чайной, в которой увидел еще один Петербург. Только не знал, какой именно. Уж больно разные тут сидели люди. Не то свои, не то чужие. Ладно. Не знакомиться пришел. И он занялся салом.

Глава II

БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ СТУДЕНТ

Ефим, сын Алексеев Придворов, состоящий в запасе армии старший медицинский фельдшер, принадлежащий к обществу крестьян села Губовка, что подтверждало представленное им свидетельство за № 1291, и получивший увольнительную от этого же общества за № 220, был по прошению своему на имя его превосходительства ректора Санкт-Петербургского императорского университета зачислен в студенты историко-филологического факультета поименованного Университета.

Начальник канцелярии производил зачисление подобных просителей весьма неохотно: гимназический аттестат зрелости

был плохонький, с тройками. Удивительно, что по закону божию пять. От этого документа за версту пахло экстернатом, к которому широко прибегали все эти люди из народа, коих в министерстве просвещения с легкой руки министра именовали «кухаркиными детьми». Безусловно, в университетской канцелярии было известно, что из народа вышел когда-то Ломоно́сов. Но пока что-то Ломоносовых больше не видать, а замусоривать петербургское студенчество из пустых надежд на кухаркиных детей не следовало. К тому же проситель был из фельдшеров. При чем тут филология?

В заявлении просителя, правда, имелось объяснение:

«Причина выбора историко-филологического факультета, а не медицинского, как следовало бы от меня ожидать, как от фельдшера, кроется в том, что в Киевскую военно-фельдшерскую школу я был помещен родными, когда мне было всего 13 лет. Родные, по бедности своей, рады были случаю пристроить меня на казенное иждивение, а я, хотя за 4-летнее пребывание в школе по успешности в занятиях шел неизменно первым учеником, успел, однако, вполне убедиться, что истинное призвание мое науки не медицинские, а гуманитарные».

Внизу был указан адрес: «Елисаветград. Вокзал».

...Совершенно неприличный адрес. Лучше бы уж указание на бакалейную лавку.

Даже такой необходимый и полагающийся по форме документ, как увольнительное свидетельство, и тот был неприятен:

«Дано сие отставному бомбардиру Херсонской губернии Александрийского уезда Новгородковской волости села Губовки Алексею Софронычу Придворову в том, что к отправлению сына его Ефимия в учебное заведение Губовское сельское общество с своей стороны препятствий никаких не имеет.

Июня 15 дня 1904 г.
Сельский староста Сотников
Писарь Бульба».

...Бульба! Это у Гоголя читать можно, да и то не всегда уместно. Господи боже, до чего сюда чернь рвется! И почему этого вокзального жителя зачисляют? А, вот бумага. Подписана попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, статским советником Извольским. Она представляла просьбу вокзального жителя Придворова в ином свете. У него оказался высокий покровитель. Не кто иной, как великий князь Константин Константинович. Начальник при всех верноподданниче-

ских чувствах не мог про себя не отметить, что великий князь уж чересчур переигрывает в своем демократическом кокетстве. Вечная возня с неимущими, да и эти его стихи, изданные под вензелем «КР», — одни сентиментальности. Питает чувства к бедным? Любезничает с народом. Но что поделаешь: черным по белому написано: «Его императорское Высочество, принимая участие в судьбе просителя и находя, что Придворов заслуживает просимой милости, и, со своей стороны, просит меня об удовлетворении изложенного ходатайства просителя».

С этим пришлось примириться. Но каков наглец этот проситель! Оказывается, представляя свидетельство о бедности, желает еще и стипендию!.. О времена, о нравы! Какой же это будет «Императорский университет»? Сколько голодранцев! А после будут судить, что студенты неблагонадежны, тянуть к ответу за их выходки, демонстрации, тайные общества.

И все же когда дело дошло до стипендии, начальник канцелярии немного утешился. Отдал должное великому князю: само собой, поза его высочества отличалась от дела. Он был, конечно, добр. За чужой счет.

Неплохо придумал: вместо того чтобы определить стипендию от казначейства, как это делалось в случаях покровительства государя и особ высочайшей фамилии, «КР» предлагал «оказать содействие к назначению просимой стипендии» министру просвещения; тот — попечителю Извольскому, а Извольский отнесся с этим делом к Университету. Будто все они не знают, что такие дела решаются лишь правлением Университета! Ах, ваше высочество, ваше высочество! Все равно вылетит ваш ветеринар, или — кто он там? — фельдшер, за неуплату права учения... А вы, ваше императорское высочество, так и останетесь благодетелем. Хорошо вам играться. И с сокрушенным сердцем начальник оформил зачисление.

Но, окрыленный зачислением, Придворов, наивно полагавший, что стипендия «приложится», остался на бобах. Лекции шли на голодный желудок.

Это его не обескураживало. Голодным не привыкать было стать. Все как-нибудь устроится. Поначалу его больше заботило то, что в Университете он чувствовал себя не в своей тарелке.

С первых же дней он как-то не сумел нигде приткнуться во время перемен; кругом шла болтовня, курение, там и сям посбивались новые и старые знакомцы, кто-то спорил, кто-то смеялся... Он проходил по длинному, как улица, коридору этого старого, еще петровских времен здания, не причаливая ни к одной из групп.

Придворов молча наблюдал не только других, но и себя: в простенках между окнами во многих местах сохранились зеркала, которые остались, наверное, еще с той поры, когда тут помещались знаменитые двенадцать коллегий Петра. Такой возможности видеть свое отражение ему доселе не представлялось. И он остался недоволен ни собой, ни другими. Зеркала показывали, что сам он выделяется мешковатостью, дурной одеждой, этакой здоровой неинтеллигентной рожей, нисколько даже не побледневшей от всех экзаменационных бдений и нынешней голодухи. Что до других, то, пользуясь методом исключения, он очень скоро пришел к выводу, что сойтись ему здесь не с кем.

В первую очередь отметались те, кто был окрещен студентами «белоподкладочниками». На Васильевский остров они прибывали на своих рысаках. От этих молодых людей пахло духами. Они курили дорогие сигары, а иногда даже дамские пахитоски. Рассуждали о балеринах. Частенько переходили на французскую речь.

Вторую группу составили те, кто старался держаться поближе к первой; смеялись, наверное, пошлым их анекдотам, бегали к подъезду смотреть, приехал ли экипаж, чтобы развезти богатых оболтусов по собственным домам. ...Да эта холуйская публика, прихвостни богатеев, была еще отвратительнее, чем сами «белоподкладочники»!

Оставалась еще группа. Тут физиономии были повыразительнее, одежда попроще, но и рядом с ними он казался себе деревенщина деревенщиной... У них длинные волосы, какие-то нигилистические ухватки, и уж больно много крику. Руками машут, орут, как бабы! А споры, на его взгляд, не стоили выеденного яйца. И он молча простаивал все перерывы, прислонившись к стене и потягивая свой дешевый табачок. Лекции же записывал тщательно и ходил на занятия аккуратнейшим образом. В конце концов он приехал сюда не компании водить, а учиться. Что до разговоров, то они получались у него лучше с извозчиками да дворниками; еще только бы добраться до продавцов книжных магазинов. Среди них есть и толковые, хорошо знающие книгу. Но без денег с ними говорить не о чем. Готовился он в Публичной библиотеке, и там же ему посчастливилось подцепить своего первого ученика. Это был сын служителя, с которым Придворов по обыкновению легко разговорился.

Когда наступила глубокая осень и уже не раз выпал и растаял легкий снежок, дела понемногу наладились. У него было уже три ученика по всем гимназическим предметам. Тот

же служитель подсказал адрес дешевой комнатушки, главное — в двух шагах от библиотеки, на Садовой. И Придворов почувствовал, что жизнь вроде бы начинает устраиваться.

К тому же в процессе занятий выяснилось, что он уж не так мало знает, а новое давалось легко. Это приносило огромную радость: вот что значит не зря жить на свете! Каждый день открываешь другую страницу другой книги. Каждый день слушаешь таких профессоров, как Кареев, Веселовский, Бодуэн де Куртенэ, Соболевский, Тураев...

Да, теперь похоже, что он станет человеком. Еще немного, каких-нибудь три-четыре года, — и будет образованным господином. У Придворова имелись причины быть довольным своей судьбой. Разве университетская программа не раскрывала широкие горизонты? Разве, сделавшись студентом, он одним только этим не достиг уже многого? В конце концов ему только еще двадцать один год. Что-нибудь толковое из его бытия, может быть, получится. Может быть, даже выйдет что-либо по стихотворной части? Он не оставлял своих опытов, хотя его еще «качало» в разные стороны. Влекла и лирика и сатирические мотивы, и он сам не знал, что больше. Первые шаги в поэзию были сделаны незнакомым бродом, и даром, что придворовские опыты уже кое-кто одобрил, но надеяться он все же боялся. Образование — дело определенное, а поэзия — поди знай... Нельзя обольщаться одной-другой похвалой, удачей. Что-то подсказывало ему, что тут недоверие к себе полезнее, чем удовлетворенность.

Пожалуй, поэзия была единственной областью, в которой он не чувствовал себя уверенно и твердо. Во всем остальном он был доволен собой, своими знаниями, тем более что и не подозревал, сколь многого еще не знает.

Он не чувствовал, что земля, по которой он ходит, вздрагивает от подземных ударов; не замечал бурного, полного подводных течений движения реки, несшей его самодельный плот, с таким трудом собранный из разномастных бревен. Он надеялся причалить к светлому берегу другого мира, и этот мир был для него желанным безотносительно ко всему остальному.

Успешно занимаясь, он, однако, так и не пустил корни в университетской среде. По-прежнему сторонился холеных «белоподкладочных» студентов, а тех, в ком замечал проявление политических интересов, избегал еще больше: ведь он дал при зачислении обязательство:

«...Я даю сию подписку в том, что обязуюсь не только не принадлежать ни к какому тайному сообществу, но даже без

разрешения на то в каждом отдельном случае ближайшего начальства не вступать и в дозволенные законом общества...»

Хорош бы он был, если бы, с таким трудом выбравшись сюда, вылетел бы в мгновение ока, уличенный в чем-либо недозволенном! Уж тут ему никакой распревеликий князь бы не помог! А ведь если бы не тот случай, что его высочество спустя несколько лет после визита в Киев прибыл в Елисаветград, возможно, не видать бы нынешнему студенту Университета как своих ушей.

При этом воспоминании начинало шевелиться доброе чувство к отцу, которого он вообще не мог уважать из-за слабоволия, с каким батька сносил унижения от матери и прибегал к бутылке. Но за тот летний день, когда отец весь в поту, гремя своей бляхой носильщика, примчался, задыхаясь так, что еле мог вымолвить: «Беги скорей! На вокзал... Вагон князя прибыл!» — за тот день можно было многое простить ему.

Разумеется, Константин Константинович сто раз позабыл о представленном ему когда-то в Киевской школе успевающем ученике и его поэтических пробах. Но когда удалось уговорить свитских и те доложили — его высочество отнесся милостиво, и вот — приняли в Университет! Теперь надо держаться за него всеми зубами да быть подальше от всех этих «сходок», «прокламаций», «вопросов», споров о свободе и народе. Много эти студенты в нем понимают! Что шумят? Ну, народники — святые люди, хотя и наивные. А эти новые партии? Марксисты? Придворов своими ушами слышал, как один очень серьезный студент так прямо и заявил: «Учение Маркса такая же мистика, как поповский догмат о предопределении». Вот те и споры! Хватит и церковных догматов. Еще новых не хватало.

Нет, все эти «вопросы» не составляли для него никакого вопроса. Не тем был занят. Ему бы еще несколько уроков. Скоро зима на дворе, а носить нечего! Сколотить на пальто — вот это бы дело!

Еще меньше его интересовало все происходящее вдалеке от Петербургского университета. Какие-то русские люди попадали в ссылку, бежали за границу, объединялись, разъединялись, издавали газету, которую тайно переправляли в Россию. Они за что-то боролись, что-то создавали, куда-то шли, но он не слышал их поступи, не знал их имен, не видел их газет, не знал, о чем спорят, чего добиваются.

Еще четыре года назад эти люди, встречая новый, двадцатый век, предрекали грядущие события, когда собрались во-

круг ссыльного из сибирского села Шушенское, по фамилии Ульянов.

Уже давно этот ссыльный был за многие тысячи верст от Сибири и от России — и опять вокруг него собирались друзья и единомышленники.

Больше года минуло с тех пор, как в среде этих людей произошло нечто, после чего они стали именоваться «большевиками» и «меньшевиками», и вопрос о принадлежности к тем или иным принимал все более острый характер. Большевики уже не перевозили в Россию газету «Искра» в детских кубиках, шляпных картонках, рамках с фотографиями, как они делали это недавно. «Искра» стала меньшевистской.

Теперь, в декабре 1904 года, большевики выпускали новую газету, «Вперед», но Придворов не читал этой газеты, хотя за прессой следил постоянно. К этому у него была уже давняя привычка. Ведь не что иное, как сообщения о Гаагской конференции 1899 года, дало ему повод сложить:

Звучи, моя лира,
Я песню слагаю
Апостолу мира —
Царю Николаю.

Стихи даже напечатали в «Киевском слове». А вот о том, что этот самый год был вторым годом существования Российской социал-демократической партии, Придворов и понятия не имел.

Теперь из печати ему было известно о рабочем движении, забастовках; знал он, что частью питерских рабочих руководит некий поп Гапон. Это не нравилось студенту, потому что попам он ни на грош не верил. И что за дело попу до рабочих, которые жили (это-то он знал!) каторжной жизнью? «Что он Гекубе, что она ему?..» Так, перелистывая газетные страницы и читая о рабочем движении, он мало представлял себе, к чему оно может привести. Из «Петербургского листка» никак нельзя было узнать, что трон царя Николая сильно качается. Однако не за горами было время, когда, каков он «Апостол мира», стало ясно и вовсе неграмотным.

Вскоре после Нового года студент Придворов, выйдя в город, обратил внимание, что улицы непривычно пустынны, встречные почему-то насторожены. Магазины закрыты, витрины даже заколачивают досками. На Васильевском острове попал в какое-то столпотворение: взволнованные, возбужденные лица, разговоры о какой-то «петиции». Здесь, как говорили, оказался «Отдел» самого Гапона. Услышав это имя, студент пошел дальше по своим делам.

Между тем толпа близ гапоновского «Отдела» продолжала разрастаться, и к вечеру, когда стемнело, здесь собралась уже масса народу. Беспрерывно читали и обсуждали ту самую «петицию», о которой лишь краем уха прослышал студент.

Всю ночь шли споры и обсуждение. Народу все прибывало. И наконец, утром масса, предводительствуемая Гапоном, с иконами и хоругвями потекла через мост к Дворцовой площади.

Мы не знаем, что думал обо всем этом благонамеренный студент, но хорошо знаем то, что случилось с людьми, мимо которых он прошел, как изменилось их отношение к власти после просьбы о помощи и защите. Много позже Придворов жадно будет слушать рассказ очевидца — Мартына Лядова, который говорил:

«Для меня не было неожиданностью, когда у Дворцового моста мы встретили отряд пехоты и кавалерии. Передние встали, задние ряды продолжали двигаться вперед в том же благоговейном настроении, когда раздался первый залп. Я наблюдал за лицами моих соседей. Ни у кого не заметил испуга, паники. Не ими сменилось благоговейное, почти молитвенное выражение лиц, а озлоблением, даже ненавистью. Это выражение ненависти, жажды мести я видел буквально на всех лицах, молодых и старых, мужчин и женщин. Революция действительно родилась, и родилась она в самой гуще, в самой толще рабочей массы. Достаточно было одного возгласа после залпов — и мирная толпа, только что шедшая с церковным пением, бросилась разбивать железную ограду прилегающих палисадников, вырывать из мостовой булыжники, разгромила оружейную мастерскую, чтобы вступить в кровавый бой с царскими палачами. Тут же начали строить баррикаду. Часть толпы лавиной двинулась на Неву, чтобы по льду обойти солдат, пробраться на площадь. Я пошел с толпой. Нас начали обстреливать с моста, но толпа шла. Когда мы добрались до Дворцовой площади, там почти все было кончено. Навстречу бежала толпа, озлобленная, дикая, тащили убитых, раненых. Проклятья, самые грубые ругательства по отношению к царю, к офицерам доносились отовсюду. Встречных офицеров сталкивали с тротуара, избивали до смерти. Людской поток залил всю улицу. Но это была уже не мирная толпа».

Мы не знаем, где был Ефим Придворов, когда в здании Художественной академии, на частной квартире, собрался Петербургский комитет социал-демократической партии большевиков — Землячка, Гусев, Богданов, тот же Лядов. Сюда сбегались, делясь впечатлениями, все новые люди. Писали прокла-

мации «Ко всем рабочим», «К солдатам», наконец, просто «Ко всем».

Ефима Придворова тогда не было даже в числе просто «всех». О чем он думал в те дни, в темные морозные ночи, когда повсюду горели костры для дежуривших на улицах войск и полиции?

Город напоминал военный лагерь. Члены Петербургского комитета не спали ночами: многие оказались без крова, опасаясь обысков и арестов. Решался вопрос о срочном созыве съезда партии, в конце концов назначенном на 2 февраля. Члены комитета разъехались по стране, чтобы организовать выборы на съезд и отправку делегатов. Все кипело в обоих станах.

У студента Придворова был кров и не возникло никаких внеочередных дел и забот. Но возникли вопросы, заставшие его, по собственному признанию, врасплох.

Только, прежде чем обратиться к этому его признанию, не полистать ли страницы еще более давнего прошлого? Не удастся ли в нем увидеть, откуда взялась благонамеренность студента Придворова, которая явно противоречила его происхождению и положению?

Вернемся, скажем, на десять лет назад, в 1894 год. Оглядимся. Под высоким небом, среди добрых украинских тополей раскинулись хаты-мазанки с соломенными крышами. Речка Ингул делит их на две стороны: левую — украинскую, и правую — издавна занятую военными поселенцами. Село Губовка — большое, но небогатое. Хорошей земли мало; селяне, а особенно потомки поселенцев — самые неимущие, не побрезговали бы и плохой. Да и той нету. Зато есть церковь. Управа. Есть и шинок.

Шинок стоит, как водится, у самого шляха, что ведет на Елисаветград — всего двадцать верст ходу. И на том же бойком месте, почти на перекрестке, соседствует с шинком хата Придворовых. Управа тоже неподалеку. Это «стратегический центр» всего села. Здесь можно увидеть и урядника, и станового, и все сельские власти; проезжающие обозы; конокрадов, дьячков да и всех вызываемых в управу крестьян.

Хата Придворовых что-то вроде заезжего двора. Старый Софрон Придворов с внуком Ефимкой здесь только нежеланные постояльцы. Хозяйка, Екатерина Кузьминична — красивая, крутая нравом, жестокая. Она примет, угостит, сама выпьет... Ни сын, ни свекор ей ни к чему, а муж тем более; он давно ушел в город на заработки. На селе прокормиться нечем.

А вот и сам малец Ефимка. Ему одиннадцать лет. Светлый, даже слегка рыжеватый, востроносенький и чуть присыпан веснушками. Уши маленько оттопырены от частой таски. Взгляд ясный, бойкий. Он на селе — заметная личность: грамотей; до семи лет жил в городе, и, пока отец работал сторожем при духовном училище, дьячок научил Ефима читать по церковным книгам. Явился на село — понадобилась ему школа! И здешняя учительница Марфа Семеновна тут как тут: «Способный!»

Екатерину Кузьминичну Придворову вовсе не ублажает доход, который она получает с Ефимки. Отнимет пятак, но своему «учить», то есть лупить, не перестанет. А пятаки и даже двугривенные ему постоянно приносят всякие дела: мирские и «божественные».

Подерутся спьяну мужики, сядут в «холодную» — надо строчить прошения и объяснения начальству. Другой раз без драки — просто жалобы друг на друга. Но больше всего шло прибытку от церковных дел. После он вспоминал:

«Я вообще спец по похоронам был. Псалтыри читал... «аллилуйя», «господи боже». Ну, думают, хорошего псалтырщика взять — надо рубль, а я за двугривенный. Ночью: «Вставай. Бабка Силантиха умерла». Ну, я живо с печки — и двадцать копеек обеспечены. Я скоренько прочитаю и скорее в бабки на улицу играть. Попик — тот с расстановочкой, а я по дешевке; покойник меня обжулить не мог, но живые обжуливали...» Да сколько ни заработай, есть все равно нечего. Не отберет мать — деньги пойдут на книги. Он их даже в дом не заносил. Держал у учительницы. У него уже был свой «Конек-Горбунок» Ершова, стихи Некрасова и «Разбойник Чуркин»... А есть все-таки хотелось. «Он был самый худущий из деревенских детей, — вспоминал после товарищ по сельской школе Исай Момот, — он всегда недоедал. Дед варил ему картофель с шелухой, доставал ржаные лепешки».

С горя забирались внук с дедом на полати, и старик утешал мальчонку всякой побывальщиной. Сам из поселенцев, Софрон Федорович хорошо помнил старые времена. «Как, бывало, за поселение...» — начинал он, и внучку рисуются то герои уланы и драгуны, что стояли постоем по всей Херсонщине; то сам страшный граф Аракчеев. «Эх, лютой был, ох, лютой! — говорил дед. — Сколько от него горя! Так Огорчеевым его и звали». И Софрон Федорович повествовал о наказанных плетьми и палками («А чем спина моя не книга? Заместо строк на ней рубцы»); о сосланных в Сибирь мужиках, об их женах, которым давали выкармливать грудью породистых щенков,

Много позже внук Софрона Придворова скажет:

О многом мне поведал дед.
Суровы были и несложны
Его рассказы и ясны.
И были после них тревожны
Мои младенческие сны...

Но знал дед еще песни и сказки, шутки и прибаутки. Жалел внука, заботился как мог. По воскресеньям брал с собой в шинок, где гуторили мужички, и Ефимка набирался разума среди пьяного чада, драк и попоек. Наутро все ему годилось, когда строчил объяснения правой и виноватой стороне. В управе чинилась расправа — оттого эту власть иначе как «расправой» и не называли.

Впрочем, у Ефимки по милости матери оказалась еще работа. Родив его на семнадцатом году, она не имела больше детей. По селу пошла слава: знает «секрет»! Зачем отпираться? Ловкая баба понимает, как, из чего извлечь пользу. Она варит настой из лука и пороха, готовит и снабжает своим снадобьем беременных невест. Но и женихи не дремлют. Они ловят во всех углах Ефимку, схватят крепко за ворот да здоровый кулачище под самый нос: «А ходила Прыська до твоей маты? Кажи! Ходила?» Парнишка молчал, хотя и за вихры и за уши таскали и морду били. Смолчать — полдела. Его работа была впереди. Когда в свой срок рождалось дитя, он строчил записку: «Крещеное, имя Мария, и при сем рубль серебром». И записка с дитем препровождалась в город.

Так протекает его воспитание. Духовное — в чтении по покойникам; физическое — в побоях; светское — в шинке среди пьяных объятий и слез сквернословящих мужиков; дипломатическое — в кругу клиенток матери и их близких. А общежитейское — в галдеже деревенских сходок, оглашаемых стонами неплательщиков и криком начальства.

Правда, он ходит в школу, даже сидит два года в четвертом классе — оттого что нет пятого. (Но что школа перед «университетом» всей сельской жизни!) Иногда, если учительница уйдет в город, он ведет вместо нее уроки. Ефимка может совладать с ребятами. Верховодит ими не только в школе. Когда учительница больна, некому заменить ее, кроме Ефимки. Но случается захворать и ему.

Так он дожил до своих двенадцати годов. Заболел и стал помирать. Лежит под образами. Екатерина Кузьминична по обыкновению пьяная, простоволосая. Однако по-своему старается — с трудом шевеля пальцами, все же шьет сыну смертную рубаху.

А Ефимка не может вымолвить ни слова. В глотке что-то опухло, душит. Вот его уже и причастили. Потом пришел кладбищенский сторож, весельчак, пьяница, доброжелатель. Он и к умирающему обращается по-хорошему:

— Що же, Ефимаша, поховаем... Дэ ж тэбэ поховаты? Пидля бабуси? Там мята дужэ гарно пахне...

Все вроде бы мирно, хорошо, да вдруг врывается в хату отец. Пришел из города — дали знать, что Ефимка плох. И хвать Екатерину Кузьминичну за косы: зачем пила, сына не лечила? Мальчику бы в это время тихо отойти, а у него без лечения, сам собой, прорвался нарыв в горле...

Отец же кончил тем, что отнял у жены бутылку и позвал соседа. Утешение найдено: «...Два отца — чужой и мой — пьют за загородкой. Спать мешает до утра пьяное соседство. Незабвенная пора — золотое детство!» — скажет после тот, кто знал много таких бессонных ночей и чьи воспоминания об этой поре были настолько страшны, что он никогда и никому не поведал их до конца.

...Разве всего этого за глаза не довольно, чтобы выработался характер, чуждый всякой наивности, уважения к старшим и начальству? Из подобных условий выходят или калеки, или преступники, или неустрашимые борцы. Так откуда же набрался этот человек своей благонамеренности? Неужели от двух встреч с представителем царского семейства?

Нет, дело вовсе не в случайном покровителе. Для того чтобы понять, что произошло с Ефимом Придворовым, надо заглянуть в те годы, когда он вошел в самый решающий возраст. Как жил он с тринадцати до семнадцати лет?

«...Родные, по бедности своей, рады были случаю пристроить меня на казенное иждивение...»

Да, родные были рады. Ну, а каково досталось на казенном иждивении ему самому? Когда позже его попросили рассказать об ужасах казарменной жизни, он честно признался, что испытывает одну только неловкость: «Какие там ужасы, когда я впервые почувствовал себя на свободе. Высокие белые стены, паркетные полы, ежедневно горячие обеды — да мне такое и во сне никогда не снилось. Я был на десятом небе от блаженства!»

Здесь не только кормили. Здесь учили и дали право голоса: он должен был отвечать на уроках. Это было счастье, потому что он готовился к экзамену в школу «немым», изобретенным им самим способом. После того как Ефимка неожиданно выздоровел, отец забрал его в Елисаветград. Там он собирался определить сына учеником в обойную мастерскую. Но Ефим-

ка подружился с Сенькой Соколовым — сыном рабочего завода Эльворти, и Сашкой Левчуком, отец которого был жандармским вахмистром. Этот самый вахмистровский Сашка готовился к экзаменам в Киевскую военно-фельдшерскую школу. К нему ходил настоящий преподаватель из гимназии! Деньги на учебу шли немалые — по три рубля в месяц. Ефимке и думать было нечего о такой роскоши. А все же, просидев однажды в соседней комнате в ожидании Сашки, пока тот занимался, Ефимка совсем, как говорил отец, «ума решился... Ну, заболел парень — и все тут! «Хочу учиться!» — «Да где же я тебе, подлецу, возьму этакую область денег?» А Ефимка придумал: репетитору было предложено три рубля за весь курс оптом, за одно только присутствие на уроках. Без вопросов и объяснений — без права голоса.

Сдача экзаменов в Киевскую школу была первой сознательной победой в его жизни. Он сам пробил себе дорогу в этот рай. И вполне оценил его.

Могло ли быть иначе?

Вот в этом-то самом раю вместе с ежедневными обедами пришедшему сюда безусым оборванцем мальчишке были сделаны соответствующие «прививки». Облаченный в мундирчик с погонами, он воспитывался в духе верноподданничества, внушаемого вместе с теми знаниями, которые он так жадно поглощал. Он узнал тут много прекрасного. После даже отдал справедливость некоторым педагогам — особенно гуманитарных дисциплин: они стремились внушить своим питомцам любовь к отечественной литературе. Отдал он справедливость и самому себе:

Был у меня возраст гимназически-кадетский:
Пятнадцать лет!
Выглядя со всех сторон «военно»,
Чеканил я своим воспитателям отменно:
«Так точно!» — «Никак нет!»
Именно в те дни, когда тщетно
Пытался я защипнуть на своей губе пушок,
Настрочил я как-то незаметно
Свой первый стишок.

Здесь он начал читать газеты, писать первые стихи и вышел отсюда относительно образованным молодым человеком.

Но «прививка» на благонамеренность была сделана в нежном возрасте, по всем правилам и дала результат. Одной только стороны ее решительно не воспринял примерный воспитанник: церковно-религиозных начал. На это у него было много оснований. Он слишком близко познакомился со служи-

телями господа бога. Отлично знал «закон божий» и прочую «священную» литературу.

После школы Придворов поставил перед собой цель: пробиться к настоящим знаниям. Новая ступенька — аттестат зрелости. Но погоны еще не сняты. Он проходит обязательную службу в Елисаветградском военном госпитале. Существование снова полуголодное. В недолгие свободные часы самостоятельно одолевал гимназический курс, лишь изредка отрывая денек, чтобы отмахать по знакомому шляху двадцать верст до Губовки: проведать деда, снести ему какой ни есть гостинец; повидаться с учительницей Марфой Семеновной, от которой тоже видел много добра.

Нет, далеко не счастливая случайность — поистине героические усилия привели его в Университет. Не подвернулся бы великий князь, Придворов не отступился бы от своего. Рано или поздно он пробил бы себе дорогу. И может быть, потому, что потребовалось столько усилий попасть на нее, он шел этой дорогой, не оглядываясь, вплоть до январских дней 1905 года.

Мы не имеем возможности узнать, что он тогда пережил и передумал. Тех, с кем он говаривал на эту тему, давно нет в живых.

Что же с ним тогда сталось? Как и когда он понял то, мимо чего проходил раньше? Какие изменения претерпела привитая ему коснообывательская и благонамеренно-верноподданическая закваска? Трудно составить представление об этом, если нет свидетелей, нет документов. Но, оказывается, все-таки можно найти объективного свидетеля, даже двух... Они с редкой красноречивостью продемонстрируют, что произошло в жизни Ефима Придворова за несколько лет.

Это два портрета, две фотографии, которые стоит рассмотреть внимательно.

На первой перед нами молодой военный фельдшер. Он недавно закончил школу, прибыл на работу в Елисаветградский госпиталь и пошел фотографироваться. Тщательно изготовился: побывал у парикмахера. Волосы только что подстрижены, аккуратно подняты бобриком. Тонкие бачки и подкрученные кверху усы, вероятно, припомажены. Таким портретом уже можно будет гордиться, подарить деду, учительнице Марфе Семеновне.

Фотограф долго усаживал его, «собственноручно» вертел ему голову туда-сюда. Поправлял погоны, чтобы было видно.

В конце концов фельдшер устал от этой возни. Взгляд стал туманным, глаза даже немного скосились. Поворот головы лишен всякой естественности. На фоне экрана торчит

кверху кончик уса. Известный фельдфебельский «шик» тут есть. Но нет той особенности выражения, что делает портрет портретом. Перед нами впервые снявшийся в большой фотографии некто, между прочим тот самый «некто», который сочинил «Звучи, моя лира»...

А вот его следующая фотография. Она сделана в поздние университетские годы. Какое превращение! Что общего у этого человека в студенческом мундире с недавним так знатно нафабренным военным?

Этот человек сидит перед аппаратом непринужденно. Мундир свободно расстегнут. О том, как лежит галстук, явно не было никакой заботы. Волосы зачесаны мягко, откинуты в стороны. Но эти внешние признаки еще ничего не значат по сравнению с выражением лица. Посмотрите в глаза этому человеку: он отвечает вам пристальным, открытым взглядом. В них какая-то нелегкая дума. Чуть-чуть, самую малость прищурившись, он смотрит прямо перед собой — и не кажется ли, что позади у него трудная жизнь, что он отягчен чем-то?

Он печален, озабочен даже перед объективом, перед которым люди обычно инстинктивно «расправляют» свое лицо.

Теперь он на многое смотрит иначе. Если недавно его духовный взгляд слепило сиянье таких могучих вершин, как Шекспир и Гомер; если раньше он полагал, что уходит из окружающей обстановки в высокие сферы чистого познания; что Гёте и Шиллер дадут ответы на все вопросы, приведут его к желанному, дальнему берегу новой жизни, то теперь все стало неясно и тревожно. Он запутался в вопросах, перед которыми были бессильны творения великих писателей. Теперь он иначе стал читать их. Иначе читал и газеты. Иначе слушал и смотрел вокруг. Но ему нужно было живое, теплое слово, превосходящий его умом и опытом собеседник. Старший друг.

Его одолевали боль, недоумение, безверие, растерянность. «После ошеломительной для меня революции 1905—1906 годов и еще более ошеломительной реакции последующих лет я растерял все, на чем зиждилось мое обывательски-благонамеренное настроение» — вот его короткое, но исчерпывающей ясности признание, которое показывает, что произошло со студентом Императорского университета Придворовым.

Плыть до твердого берега ему было еще далеко. И хорошо, что в окружающей его мгле замаячил чистый огонь. Это было редкое чувство уважения и любви, безраздельно отданное одному человеку.

Глава III

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Естественно, что в свой срок этот вполне взрослый человек влюбился, писал нежные и восторженные письма своей будущей жене, украшая их иногда стихотворными эпиграфами из Надсона. Но история его знакомства с любимой женщиной, всего того, что называется «ухаживанием», и самой женитьбы не внесет ничего нового и интересного в портрет этого человека.

Все было как полагается по человеческим и «божеским» законам, как у многих других любящих людей, и при этом не произвело какого-то воздействия на его характер. И лирических стихов от той поры не сохранилось. Неизвестно, были ли они написаны.

Но едва ли не в то же время к нему пришла другая любовь. И вот эта другая оказалась в полном и высоком смысле тем большим человеческим чувством, которое влияет на взгляды человека, заставляет иначе смотреть на жизнь и самого себя. Заново искать цели существования.

Все началось со стихов. Писал он все время и рвал немало. Но кое-что находил вполне удачным: например, «Сынок». Устами ребенка он вел подсчет жертвам реакции и итожил его: «И каждый день нам весть приносит, и каждый день дает отчет! Все смерть нещадно жертву косит! Все кровь течет... Все кровь течет!»

Эх, если бы он написал это раньше, в 1905 году, когда выходили смелые журналы, все эти «Спруты», «Пулеметы», «Жупелы», «Стрелы» и «Бури»!.. Сколько их тогда было! Но тогда он сам только думал. Искал слов, лишь нащупывал то, что хотелось сказать. Теперь же, когда стихи родились, — их негде было печатать. Опоздал. Все давным-давно конфисковано. Некоторых редакторов посадили в крепость. Говорят, и авторов тоже. Сидеть в крепости, конечно, не хотелось. А все-таки он жалел, что не подоспел вовремя. (Этот урок он запомнил крепко.)

Уныло листал запоздавший автор газеты и журналы. Вот уже третий год, как они орут свое извечное «хватай и не пущай!», «дави!», «души!». А Придворов больше не мог держать свои стихи дома. Они начали мешать ему жить. Рвались наружу. Требовали воли, голоса, людского суда.

Был, пожалуй, один журнал, где их могут понять; и если

не напечатать, то по крайней мере не донести на автора в полицию. Это издаваемое Короленко «Русское богатство».

Помимо самого Короленко, который поэзией вряд ли занимался, здесь привлекло еще одно имя: в рекламных объявлениях о подписке среди лиц, при чьем «ближайшем участии» издается журнал, был назван П. Ф. Якубович (Л. Мельшин). Дешевые издания отдельных глав из книги Мельшина о каторге Придворов читал еще в Киеве. Даже названия помнил: «Кобылка в пути», «Школа в каторге», «Ферганский орленок»... Читал и стихи Мельшина. Насколько можно было судить по ним, этот прошедший каторгу человек был необыкновенно добр и чист душой; причем чистая душа его жаждала справедливости, добра всем. Вот такому бы показать стихи!

Узнав, что Мельшин ведет в журнале отдел поэзии, Придворов твердо решил, что пойдет именно к нему. Но, желая еще больше узнать о том, с кем предстоит встретиться, взял в библиотеке полное издание книги «В мире отверженных». Она его потрясла.

Все эти годы выбиваясь из своего темного мира к свету, студент Придворов как-то не думал, что на свое прошлое он может посмотреть добрыми глазами. Еще болели ушибы. Мельшин же, человек, безусловно, образованный и, очевидно, «благородного» происхождения (ведь был декабрист Якубович, значит — дворяне!), шел в каторгу с мыслью: «Смогу ли я понять и полюбить своих сожителей?» (Это воров-то и убийц... Вот что его заботило!) Мало того, он считал своих сожителей невиноватыми, так как «принужден был убедиться, что их... создает сама жизнь, наполняя их душу одной безграничной злобой и лишая всяких руководящих принципов и идеалов».

Он утверждал, что «эта несчастная каторга, утопающая во тьме, в крови и грязи, она сама не знает, сколько здоровых, светлых зерен таится в ее сердце». И не только утверждал. Сами герои книги говорили таким точным, характерным языком, что их голос слышался, словно бы помимо авторского:

«Все это было. Только ум у меня еще вовсе не испорченный был, на правильную дорогу я мог бы еще стать. В трезвом виде я боялся еще мошенничать...» — рассказывал один. Другой объяснял, что «осужден был «без качества», за одно сокрытие «родословия»; третий, страшно обманутый людьми и отомстивший им, доказывал, что был справедлив: «Я правильно поступил! И всякий должен сказать: «Молодец, Парамон! Герой Парамон! Артист Парамон!»; и четвертый, и

пятый — каждый «обсказывал» свое дело по-своему, с присущими только ему манерой и темпераментом.

Наконец, судьбы некоторых героев не могли не задеть крестьянина села Губовки Ефима Придворова некоторой параллелью. Яшка Тарбаган. Тоже крестьянский сын. Тоже с юга России (Кубань — не так далеко!). В четырнадцать лет, в кои Придворов, к счастью, попал в фельдшерскую школу, Яшка уже год отсидел в местной тюрьме по подозрению в конокрадстве (Ефимке сулили эту «карьеру»). В тюрьме Яшка, по собственному признанию, «впервые испортился». Потом был забрит в солдаты. После этого «ничего уже не страшился и опускался все ниже». «Вот возможная моя судьба!» — не мог не подумать пробившийся в студенты Придворов.

Но не это главным образом поразило его. Кем он мог бы стать, он и так знал вопреки строкам из любимого им Гамлета: «Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем могли бы быть...» Поразило другое: во-первых, параллель шла шире... Что же, губовские мужики и бабы сильно отличались от человеческого отребья каторги? Разве эти перепившиеся, мерзостно сквернословящие, буянящие и затем смиренно искупающие свои грехи в «холодной» люди не были тем самым резервом, из которого шло и идет пополнение сибирских рудников? Чем они отличались от осужденных? Тем, что еще не совершили убийства, кражи, насилия? Ну и что из этого? Разве они все равно не оставались родными братьями колодников?

Во-вторых, герои «шпанки», или, по арестантскому прозвищу, «кобылки», — «игроки, жиганы, сухарники», как считал Мельшин, «вряд ли даже понимают, что можно жить иной, лучшей жизнью, чем этот ад кромешный». А если так, то почему могут это понимать их собратья — жители деревенского ада? Дальше. Мельшин делал, безусловно, искреннее признание, что «и этих страшных людей я научился понимать и любить, научился находить в них те же человеческие черты, какие были во мне самом...». А почему же Придворову помнилось о житье в деревне так много зла? Разве тут дело только в доброте сердца?

Нет, очевидно, мысли и чувства Мельшина были подсказаны ему не только доброй душой, но и пониманием социальных истин.

Тут было над чем задуматься. Если поискать корни, пойти за Мельшиным, выходило, что Екатерина Кузьминична Придворова, немало зла вымещавшая на своем сыне, сама жертва; что уважения и сочувствия заслуживает не один трудящийся

народ, но и народ, сбившийся с пути... Все эти мысли так разбередили душу, что, собираясь к Мельшину, он теперь думал не только о своих стихах. Кто же прав? Мельшин — народник. С народниками воюют социал-демократы. Марксисты. Есть еще партии, точки зрения. В чем они не сошлись, если все выступают за народ? А как же с теорией врожденной преступности? Может, Мельшин идеализирует каторжников? В голове была какая-то сумятица.

Взволнованный, он шел по Баскову переулку, где помещалась редакция «Русского богатства». Каков он, Мельшин? Как ни мало Придворов знал о нем, но всем известно, что это имя окружено ореолом борца и мученика. Куда уж больше — ведь был приговорен к смертной казни... Как примет? Как разговаривает? (Наверное, тихо.) Какие глаза? (Конечно, смотрит прямо.) Суров ли? Нелицеприятен? А может, напротив — поощряет, пусть каждый приблудший портит бумагу, только бы не шел в кабак! Что скажет о стихах?.. Удастся ли поговорить о том, другом, что давно подспудно тревожило его, а теперь вызывало уже жгучий интерес?

Но в редакцию «Русского богатства» Придворов не попал не только с первой попытки, но и при нескольких следующих. Живя три года (и каких три года!) в Петербурге, он уже различал что к чему. Дом, который представлялся ему неким храмом, охраняли отнюдь не ангелы. Здесь «гуляли» шпики. Кто теперь не знал, что они могут заставить каяться и не успевших согрешить? Угодишь в кутузку, что построже сельской «расправы». Прощай навек, Университет (еще пошел в студенческой тужурке!), и стихи, и жгучие вопросы! А главное — самого Мельшина, может, в редакции нету. Болен или еще что-нибудь. И пропадешь ни за понюшку табаку.

Придворов не раз попусту ходил по Баскову переулку, пока, наконец, не решил, что делать. Послал Мельшину стихи почтой. Ответ пришел на третьи сутки. «Уважаемый Ефим Алексеевич! — писал ему Мельшин (это первый раз к нему обращались так). — Я просил бы Вас зайти к нам в редакцию в ближайший приемный день...» Ну, теперь-то уже по крайности, если рискуешь, то знаешь зачем. Чтобы повидаться с этим человеком, он был готов и рискнуть.

Снова знакомый переулок. «Некто в сером» бегом бросается, чтобы рассмотреть нового посетителя неблагонадежного журнала, а новый посетитель, озорно усмехнувшись, так ловко исчез за дверьми, что сам остался доволен: «Показал, как некогда бог Моисею «задняя его».

И вот он здесь.

— Вы к кому-с? Пожалуйте. Комната направо.

«Надо ли постучаться, либо войти так? Постучусь. Хуже не будет».

— Входите, входите! Вы кто? Придворов? А-а, вот и отлично. Будемте знакомы. Господа, представляю: молодой, подающий большие надежды поэт!

Перед «подающим надежды поэтом» сидел Петр Филиппович Якубович-Мельшин. Его худощавое лицо цвета желтеющей бумаги казалось прозрачным, а глаза были оживленны, даже веселы. Над высоким лбом в стороны расчесаны еще темные волосы. Слегка курчавящаяся борода — уже с проседью. Взгляд быстр. Прям. Приветлив.

Но тут кругом было столько господ (и все солидных, лысых, полных), что вновь пришедшему стало не по себе.

Покраснев, не различая лиц, он начал обходить всех, подавая руку, — знакомиться. Заметил, что с ним здороваются довольно кисло, и растерянность его увеличилась еще более; ему казалось, что все они про себя думают: «Ишь, мол, приперся! Черт тебя возьми! Тоже... поэт!» Стеснялся он и своей только что прозвучавшей во всеуслышание далеко не поэтической, как он считал, фамилии; и студенческого сюртука, что не только не придавал значительности, но как будто бы унижал рядом с важными господами.

Окончив эту ужасную процедуру, которую — он понял — не следовало и начинать, он сел поодаль — в уголок дивана. «Черт бы взял и вас всех!» — думал он об окружении Мельшина в жажде видеть и слышать его одного.

Мельшин сидел за столом спиной к окну. Свет еще не зажигали, и пасмурный день скупо освещал лица. Новичку показалось, что на губах Мельшина то и дело появляется улыбка.

— Что это вы забрались в угол, Ефим Алексеевич? — неожиданно закричал Мельшин. — Идите сюда, батенька, поближе! Прошу... — Он указал на стоявший поблизости стул.

Теперь стало видно, что его улыбка непроизвольна: губы подергивал нервный тик. Это открытие еще более увеличило смущение нового автора, будто именно его визит заставил разнервничаться этого доброго человека. А потому, только что усевшись, Придворов стал подниматься, полагая, что лучше бы ему все-таки уйти. Мельшин остановил его: «Куда же вы?»

Между тем кругом воцарилось молчание.

Как ни старался Мельшин, его гость никак не мог освоиться, и тот, видно, понял это. Оставив на некоторое время новичка в покое, Мельшин отвечал собравшимся тут господам.

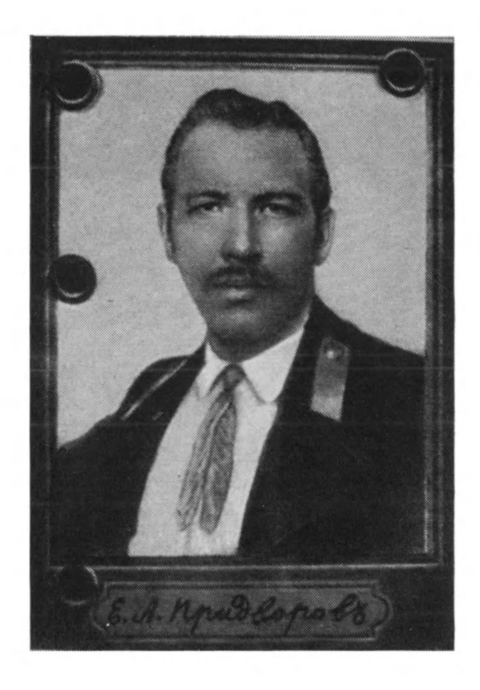


Ефим Придворов.
Начало 90-х годов.

Хата Придворовых, где родился Ефим.



Е. А. Придворов по окончании военно-фельдшерской школы.



Е. А. Придворов — студент.

Потом начал с ними прощаться. Поднялся опять и Придворов.

— А вы куда? Я ведь с вами не прощаюсь! — будто рассердился Мельшин.

И вот они остались вдвоем. Мельшин подошел к новому автору и сказал уже тихо, совершенно другим тоном:

— Вот что. Вы сюда больше не ходите. Здесь бывают всякие люди. Кому нужно и не нужно: за нашей редакцией постоянно следят шпионы. Вам не к чему попадать на заметку. А приезжайте-ка вы ко мне домой, в Удельную. Что новое напишете, принесете, вместе почитаем, поговорим. Хорошо? — И тут он, наконец, протянул руку. — Уходите отсюда поосторожнее. Сразу домой следа не показывайте. Кругом рыболовы, и сеть мелкая. Добычу не разбирают. Всякой будут довольны...

Откладывать визит в Удельную Придворов не стал, а может, даже и поторопился: какому автору не захочется встретиться в непринужденной обстановке с человеком, от которого зависит напечатать его труд? Впрочем, это было не главным. Если на то пошло — его уже печатали. Он увидел свою фамилию еще до приезда в Петербург — в газете «Киевское слово». В том же Киеве удостоился участия в «Сборнике русских поэтов и поэтесс». Тогда у него даже голова закружилась. А теперь он понимал, что стыдиться ему есть чего, а гордиться и вовсе нечем. Элегия «Пылая ревностью» с подзаголовком «Подражание Пушкину» вообще была детским лепетом, а уж печальной памяти «Да будет!» с гимном «апостолу» вызывала нынче лишь краску стыда. (Позже, смеясь над собой, он вспомнит об этом грехе молодости: «Прорезался первый зубок, да не в тот бок...») Теперь же хоть он и мечтал напечататься, но пуще всего жаждал найти опытного наставника. Не сложился как-то круг людей, не появилось и одного-двух лиц, с которыми он мог бы начистоту говорить о помыслах и исканиях, спросить мнения о своих поэтических пробах. А в последние дни он чувствовал себя особенно одиноким.

Получил письмо из Губовки: не стало единственного родного, любимого человека... И теперь он вез в Удельную вместе с прочими новые стихи:

Когда мне почтальон подаст письмо «с оплатой»,
Последний грош отдам, но я письмо возьму.
Я ждал его, я рад убогому письму:
Конверт замасленный, вид выцветшей, измятой
Бумаги дорог мне, — он сердцу так знаком!

«В густых каракулях, в узоре строк неровных» ему писали, как он говорил в стихах:

«В столице ноне ты, там ближе до властей,
Там больше ведомо, — ты нам черкни что-либо.
Спасибо, брат, не забываешь нас!
За три рубля тебе спасибо.
Здесь пригодилися они в тяжелый час:
Тому назад не будет, чай, недели —
Нуждались в деньгах мы для похорон:
Лишился деда ты, скончался дед Софрон.
Давно уж дед хирел, и вот — не доглядели:
В минувший четверток, не знамо как, с постели
Сам поднялся старик полуночной порой
И выбрался во двор, да на земле сырой
Так, без напутствия, и умер под сараем...

...На Финляндском вокзале было мрачно. В дачном поезде еще того мрачнее. Стояла глубокая осень. Темнело рано. Дачники взморья, всех этих Куоккала и Териок, давным-давно съехали. Вагон шел почти пустым. Небольшой огарок сальной свечи в фонаре еле освещал несколько унылых фигур пассажиров, забившихся по разным углам. Даже рассеяться, поговорить в пути было не с кем. Одиночество в полумгле холодного вагона довершило и так невеселое настроение. А стук колес живо напомнил, как четыре года назад он отправился в Петербург, обласканный на дорогу одним дорогим стариком, своим дедом. «Эх! Нет больше сил читать!..» — заканчивалось «Письмо из деревни».

На пути в голову этого не склонного к унынию человека полезли не свойственные ему сомнения, несуразные вопросы. Зачем он едет к Мельшину? Быть может, позвал из вежливости, ободрить пишущего студента, а он — извольте! — тут как тут.

Слава богу, дорога скоро кончилась. До Удельной было недалеко. Как только он ступил на мягкую осеннюю землю, вдохнул сырой воздух и услышал удаляющийся стук колес, что-то в нем независимо от воли успокоилось, утихло. А кругом воцарилась тишина, какой он давно не слышал.

Листва уже давно опала. Редкие огоньки высвечивали голые ветки деревьев. Деревянные домики тянулись цепочкой. На улице — ни души.

Он двинулся к издалека заметному зданию психиатрической больницы. Вот тут, где-то напротив, должен быть дом Рождественой. «Мы будем рады», — сказал Петр Филиппович. Кто «мы»? Почему-то казалось, что он должен жить отшельником. Ведь что он — праведник, это точно. Женатый праведник? Это вряд ли. Да и когда ему было жениться в его каторжной жизни. На ком?

Став спиной к больнице, он отсчитал по оконным огонькам

темные массы домов и решительно двинулся к нужному (спросить было не у кого). Едва прошел маленький палисадник и, поднявшись на две ступеньки, приготовился постучать, как дверь открылась внутрь, и он увидел в освещенной передней мальчика лет восьми. Румяный, темноволосый, с блестящими черными большими глазами, он не только без всякого удивления или страха, но с улыбкой посмотрел на явившегося из темноты человека и спросил:

— Вы к папе? Идите, он у себя! — И тут же, застегнув курточку, выскочил за порог, оставив гостя в недоумении.

В передней было несколько дверей и деревянная лестница наверх. Итак? Он наугад постучал. Низкий женский голос откликнулся: «Кто там? Заходите, пожалуйста!» А когда он вошел, держа фуражку в руках, ему навстречу уже шла эта женщина, продолжая: «Вы к Петру Филипповичу? Очень хорошо, заходите. Что же вы не разделись? У нас тепло».

Пришлось вернуться в переднюю, повесить на вешалку, которой он вначале не приметил, фуражку и пальто, свою «вертопрашку», как он называл неказистое старье. Жена Петра Филипповича (это могла быть только она, мальчик слишком был похож на нее) стояла в ожидании на пороге. Через раскрытую дверь из-за ее высокой полной фигуры лились свет и тепло.

— Вас зовут Ефим Алексеевич? — продолжала она, закрывая за ним дверь. — А меня Роза Федоровна. — Она протянула руку. Пожатие было энергичным, да и все показалось в ней с первого взгляда сильным, уверенно-спокойным. Провожая его через столовую, она говорила: «Петр Филиппович ждал вас, только не знал, когда вы будете...»

А гость шел за ней и думал, как она в свои годы еще красива и насколько, по-видимому, значительный человек. Быть подругой жизни Мельшина не просто! До чего же было глупо предположение о его одиночестве...

Петр Филиппович сидел в небольшой комнате, уставленной простыми книжными полками. На «шведском» бюро с поднятой шторкой горела лампа под зеленым абажуром. Множество отделений бюро было завалено книгами и бумагами, которыми, по-видимому, был поглощен хозяин. Оглянувшись и увидев жену с гостем, он с живостью вскочил:

— Ну вот и хорошо, как хорошо! Это вы отлично сделали, что приехали. И стихи взяли? — со своими «прикрикивающими» интонациями спрашивал он. — Садитесь! Тут нам уж никто не помешает. Разве что Дима... так мы его выставим.

Очень рад. Вы уже познакомились? — улыбаясь, спросил он, глядя на жену.

— Разумеется, — ответила она. — Только вы, Ефим Алексеевич, мне еще не сказали: обедали вы?

Он только успевал утвердительно и отрицательно кивать.

— Ну тогда, пока вы побеседуете... а там у нас и самовар закипит. Будем чаевничать! — весело пообещала она, прикрывая за собой дверь. И вновь приоткрыла ее: — Ах, опять шпилька! — и засмеялась, нагибаясь за ней.

— Штраф, штраф! — тоже весело закричал Петр Филиппович, подмигивая гостю. — Это у нас условие... Впрочем, узнаете за чаем!..

Потом гость не помнил первой фразы, какую сказал сам, какую услышал от хозяина. Знал только, что ни с кем никогда не говорил так откровенно.

— Вот в вашей книге рассказано о каторге, о ее типах... — отвечал он Мельшину. — Не скажу, чтобы я вырос среди воров и убийц. Обыкновенное село. А читая, аж подскакивал от удивления. Ведь ваши Иваны Пострадавшие да Петры Потерпевшие так знакомы, так знакомы! Там есть у вас одна история — так поверите, добрая половина ее — это жизнь моего родного дядьки Демьяна Придворова, по прозвищу Бедный, который, однако, не каторжанин. А ваши «тихонькие» старички! Да и сама, если хотите, «мораль», неписаный закон, по которому живут они все: «Не взяла моя — значит, меня бей; а коли я опять сорвусь, так вы уж не прогневайтесь!» Да разве не так живет бо́льшая, во всяком случае, крестьянская часть России? Даже в мелочах. Сходство в словах: у каторжников не принято жену величать «дорогая»... Лошадь он так назовет или, пожалуй, избу, говорите вы. «Милая» тоже не скажет — это у них не водится. А вот «любезная» — еще туда-сюда. Ну и у нас так же. Читал и устрашался. Да кто же мы такие? Метки-то ведь одни и те же!

— Я слыхал, что в местах, где были аракчеевские военные поселения, от них остались в наследство особенно жестокие, буйные нравы. Это и не мудрено... Все это не выветривается, не проходит само по себе. Ваш дед тоже из военных поселян? А каково в семье, что родители?

Его гость жадно закурил.

— Я много курю, не душно вам, Петр Филиппович?

— Ничего, ничего. А если не хотите рассказывать о родителях — не стоит... Я так спросил.

Но Ефим Алексеевич рассказал и это. Еще более низким и как будто бесстрастным сделался его голос, когда он скупо,

собирая короткие фразы, поведал о том, сколько был бит матерью, а она — отцом; какие крики раздавались из хаты, когда отец, придя из города, заставал свою Катерину виноватой... «Один старик меня жалел, любил, был ко мне хорош. Такой душевный был у меня дед...» — глубоко и часто затягиваясь, говорил гость. Он уже давно не смотрел в глаза Петру Филипповичу. Чуть прищуренный, неподвижный взгляд его был устремлен на мягкий свет зеленого абажура. И по выражению этого отведенного, застывшего взгляда Мельшин понял, что рассказ, пожалуй, надо прервать. Сделал такую попытку, но тут же увидел, что гостю нелегко расстаться со своей болью, хотя он старался не показать ее. «Это бывает», — подумал Мельшин, знавший такое чувство по собственному опыту. И, медленными движениями поглаживая бороду, тоже задумчиво смотрел на абажур, чтобы не стеснять взглядом того, кто вел свою исповедь.

Потом Петр Филиппович все-таки сумел бросить одну-другую реплику, вдруг осветившие трагедию этого нищенского, жестокого детства иначе. Они заговорили о том, как люди в общем неповинны в своей жестокости и косности. Еще позже беседа озарилась даже юмором, к которому новый знакомый Петра Филипповича оказался очень склонен. Знание народной жизни чувствовалось в каждой ответной шутке, подходящей случаю побасенке. Тогда Придворов еще не отдавал себе отчета в том, что вынес из деревни не только ощущения тягостного креста, под которым гнулись спины, ожесточались души, но и неистощимый запас самобытного юмора, в высокой степени свойственного его народу. Деревенский «заряд» имел свою сильную положительную сторону, о которой этот вышедший из крестьянской среды человек пока не задумывался.

Роза Федоровна слышала из кабинета то смех, то возмущенные выкрики мужа о социальном зле, правоте идей народников и напрасном отходе лучших русских людей от идеалов, за которые отдано столько жизней. Она уже дважды приглашала к чаю. А до стихов еще дело не доходило.

Гость не знал, который час, и удивился, услышав, что, если они сейчас не выйдут, Дима заснет за столом.

Они вышли. Самовар еще гудел, «а пышки уже остыли», — пожаловалась Роза Федоровна, разливая чай.

— Вот попроси Ефима Алексеевича, чтобы он тебе рассказал, как он у себя в деревне в ночное ездил, — сказал мальчику отец, когда они по-семейному расположились вчетвером. Только сразу же хлопнула дверь, и Роза Федоровна сно-

ва пригласила своим ровным грудным голосом кого-то войти. Вновь пришедший был человек рабочий.

Студент Придворов узнал бы это и с завязанными глазами, по одному только запаху нищеты, который шел от одежды. Этот иногда и трудноуловимый запах отнюдь не свидетельствовал о нечистоплотности. Просто, когда живут в тесноте и носят верхнюю одежду по многу лет... Его собственное пальто было «с приглаженными заплатами, с выведенными пятнами, отдающее десятью ароматами, не очень приятными».

Петр Филиппович вошел в какой-то деловой разговор со вновь пришедшим — его фамилия была Рослонас (финн, что ли?), а студентом завладел мальчик. Однако, объясняя Диме, как стреноживают коней, каково в степи ночами и на рассвете, рассказчик иногда отвлекался. Тогда Дима дергал его тихонько за рукав: «А вы все звезды знаете? А у вас на Херсонщине Млечный Путь хорошо видно?» Но, улыбаясь живому интересу своего милого собеседника, гость про себя думал о другом. Вспомнил детство не так, как рассказывал о нем Диме. Увиделось то, что потом отлилось в строчки: «Ведя лошадку в степь, подросток-пастушок, ржаного хлебушка я брал с собой ковригу и с хлебом бережно засовывал в мешок свою любимую, зачитанную книгу...» А вслух он говорил: «Что степные кони-то, когда есть сказочные! Ты «Конька-Горбунка» знаешь?» И они заговорили про любимую обоими сказку.

Наконец гость хватился: никто, казалось, не беспокоился, что он может застрять. Время шло к десяти. А стихи-то еще не читаны! И он спросил: когда последний поезд?

Тут опомнился Петр Филиппович:

— Но, помилуйте, Ефим Алексеевич, мы же ничего с вами не сделали! Это я виноват! Сам так хотел поговорить, и вам, наверное, не терпится — и подумайте, как сложилось! Я, я виноват. Нам до последнего поезда уже ничего не успеть!

Роза Федоровна предложила остаться ночевать. Но разве можно было согласиться? Не то чтобы она сказала не от души («Помилуйте! У нас часто застревают!»), да и уходить не хотелось... Но на первый раз это было бы слишком. Он сослался, что с утра должен быть в Университете.

— Ну, вот это очень жаль, — сказал Петр Филиппович. — Тогда хватит чаевничать, пойдемте скорее. Отдайте мне, что привезли, и я обязуюсь к завтрему же все прочесть. А вы приезжайте, если сможете, опять. В редакции — сами видели, — кака́я там встреча...

— Завтра?

— Как сумеете. А что, если и завтра?

— Приезжайте! — просил Дима.

— Конечно, приезжайте, — поддержала Роза Федоровна.

— Я и так отнял у вас столько времени...

— Полноте-с, — сердито прервал его Мельшин. — И вам это не идет. Откуда такой тон? Ничего не отняли, отлично знаете. Я и сам заговорился, отнял время у вас! И мы еще продолжим наш разговор. Погодите, я провожу вас! — все еще сердито закончил он, видя, что гость встал и прощается. — А стихи, я спрашиваю, где стихи?..

Стихи остались в Удельной, а автор, не разрешивший хозяину провожать себя, бегом помчался на станцию.

Теперь Придворов сидел в вагоне один-одинешенек, но ни темнота, ни одиночество не тяготили его. Он с удивлением поймал себя на том, что улыбается. Чему?

Он продолжал улыбаться и шагая по темному городу.

Лишь усевшись на железную квартирантскую койку, оглядев стены «дома», где его никто не ждал, задумался. Его никогда никто не ждал. А почувствовал это он по-настоящему только сейчас. Почему было так хорошо там, в Удельной? Чем этот милый, чуткий человек снял с него тяжесть разговора, в который сам вовлек его? Почему сейчас верилось, что он встретил того, кто может быть истинным наставником, подлинным другом?

И чем больше он обращался к подробностям прошедшего вечера, тем больше убеждался в том, что не какое-нибудь определенное слово Мельшина, не гостеприимство его жены или любознательность симпатичного их мальчика, а все это вместе, оказывается, обладало большой притягательной силой.

Да боже мой, разве он бывал когда-нибудь у настоящих людей? в настоящей семье? доме? И разве удивительно, что все показалось ему там милым: и пышки, и абажуры, и шпильки, секрета «штрафа» за потерю которых он так и не узнал... А главное — этот тон обращения жены с мужем, их обоих к сыну, к одному и другому гостю. Да что говорить, ему даже воздух там понравился! Вот как... А особый он, верно, оттого, что в простых глиняных кувшинах — ветки рябины и осенних листьев. И стены деревянные, нештукатуренные, неоклеенные. Дышат. И ничего лишнего. Нет, до чего у них тепло и до чего они сами хорошие люди!..

Но вот даст завтра Петр Филиппович за стихи по первое число, что он тогда запоет? Стоп, какое же «завтра»? Завтра — два урока. И вообще, хоть зовут, нельзя же так кидаться!

В Удельной он был послезавтра.

Теперь они сразу занялись стихами. «Автору очень полезно послушать собственные стихи вслух», — сказал Петр Филиппович, усадив гостя возле бюро. И прочел одно за другим несколько стихотворений. Это было действительно совершенно необычайно. Стихи будто даже выиграли. Автор не заметил в них недостатков. Похвалил его и Петр Филиппович, но все же указал на несколько неблагозвучных слов. Тут же предложил варианты. Придворову стало стыдно, что ему все так понравилось: обрадовался — похвалили! Он оценил великодушие и деликатность критика, который указал «всего только на несколько слов...». Как будто поэзия не состоит из слов!

В общем Мельшин считал, что стихи достаточно хороши. «Можно печатать. И названия прекрасны. Но... эпиграф! Что вы делаете? Перечисление городов, где происходят казни. И все это в черной траурной рамке. Это одно чего стоит! Да представляете ли вы себе (Нет! Вы, конечно, этого не представляете!), что будет с цензором? А дальше: сынок ваш не может сосчитать, в каком городе сколько повесили народу. Ну, это вовсе не для нашего «конституционного» времени. Дорогой мой, вы, наверное, совсем не чувствуете, что мы живем под дамокловым мечом. Что делать? Надо дожидаться пришествия нового пятого года...»

Мельшин перешел к другому стихотворению. И снова то же. «Плетью обуха не перешибешь, — печально говорил Петр Филиппович, и его нервная улыбка то и дело дергала верхнюю губу, отчего печальный тон становился уже трагичным. Таково же было и вырвавшееся у него признание: — Ах, как хочется другой раз бросить это все, бежать от этого кошмара куда глаза глядят!..»

— А журнал губить нельзя, — уже спокойнее объяснял он, взяв еще одно стихотворение своего гостя. — Ну, посмотрите, что вы пишете: «Спасите! В этот час в моей родной стране кого-то где-то злобно душат!» Нет, нет! На это и надеяться нечего! Даже если бы и пропустил цензор — что невероятно! — после нам не пришлось бы ожидать ничего хорошего. Вы, наверное, слышали, что у нас недавно опять были большие неприятности? (Петр Филиппович говорил с ним и впрямь, как с настоящим автором. Откуда он мог слышать?) Дело получилось почти такого масштаба, как в тот раз — десять лет назад. Тогда из-за статьи Анненского о Финляндии был предоставлен «выбор»: или Владимир Галактионович откажется от утверждений Анненского, или закроют журнал. Вы же понимаете, что Короленко не будет отказываться от того, что считает

не только истинным, но еще и может доказать это, опираясь на законы. Он их знает.

Тут Мельшин сделал знак рукой, означавший: «Что истинная правота? Что законы в стране беззакония? Ничто!»

— В случае закрытия журнала, — продолжал Мельшин, — расплата с огромными долгами. А ведь мы все неимущие. Если, допустим, даже описать то, что мы имеем, — он показал на стены, — и то ничего не даст. Мне-то легче... А у Владимира Галактионовича и работы и ответственности больше. Да, кстати, семья тоже больше. Я не могу его подводить.

— Я и сам вижу, что вы небогаты. Но... Петр Филиппович, нуждаетесь, а построили дом Рослонасу! — Сказав, он спохватился, что узнал это от Димы. Но Петр Филиппович не стал ничего выяснять, а просто ответил:

— Вы бы видели, как они жили!

— Плохую жизнь я видел.

— Вы видели? Вы? Да я в каторге такого не видал, понимаете? У нас по крайности были нары, какое-то «свое» место на них. И спали мы все-таки не по очереди. А у него в железнодорожной сторожке двенадцать человек семья! Не то что лечь — они сесть не могли разом!

— Всем так не поможешь.

— Разумеется. Но скажите: если бы на ваших глазах человеку грозила катастрофа. Ну, скажем, он мог бы попасть под поезд. Неужели вы не кинулись бы на помощь лишь потому, что не можете помочь всем другим?

Трудно было что-нибудь возразить на это. Но Петр Филиппович заметил тень несогласия и продолжал горячо убеждать в своем. Заговорили о социальном зле... Уже перед отъездом гостя хозяин снова спохватился, и они вернулись к стихам.

— Давайте попробуем вот что, — сказал Петр Филиппович, несколько нервно перебирая листки. — Эх, была не была! Постараемся все-таки напечатать... Где они? Ах, вот: «С тревогой жуткою привык встречать я каждый день...» И... может, «Под Новый год»? Да, эти можно. Ну, а ваше «Письмо из деревни» очень хорошо. У нас так не пишут. Не умеют. Но о том, чтобы напечатать, пока нечего и думать. Жаль... Самобытно! И язык подлинно народный.

В этот вечер они все порешили со стихами, но осталась недоговоренной другая тема. Он снова приехал «послезавтра».

Стихотворение же «Сынок», которое Петр Филиппович порекомендовал уничтожить («Это просто бомба!» — сказал он),

Придворов помешкал сжечь или изорвать. Но, не уничтожив сразу, задумался и решил сделать еще попытку. Был в Петербурге один из так называемых «последовательных социал-демократов», что занимался издательской деятельностью. В дни революции пятого года руководил смелым издательством «Вперед». Дело, разумеется, было прихлопнуто. Но говорили, будто сейчас этот человек взялся за какой-то сборник. Его фамилия была Бонч-Бруевич. Придворов даже не был толком знаком с ним, но... чем черт не шутит? И он отважился написать Бонч-Бруевичу:

«Глубокочтимый Владимир Дмитриевич!

Позволяю себе — отдать на суд Ваш стихотворение, с которым не знаю, что делать? Почти уверен, что ни одна редакция не решится по нынешним временам принять его. Правда, я урезывал и смягчал, но все ж...

Не знаю, — может, мои страхи преувеличены? И, может, Вы, глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич, найдете моему стихотворению местечко в новом издании Вашего сборника? Или дадите совет... не писать больше таких вещей?!

Ваш покорный слуга Е. Придворов».

Ответ пришел на другой же день: письмо ласковое, ободряющее, с рекомендациями продолжать писать, но... опять-таки до поры стихи публиковать было нельзя. Значит, Петр Филиппович прав.

В состоянии полного уныния Придворов написал «Новогоднюю элегию», в которой жаловался: «И негодуем мы и мстить даем зарок, порывом движимы и вялым и бесплодным». Невежливо было бы не ответить на дружеское письмо Бонч-Бруевича, и Придворов послал ему новогоднее поздравление вместе с этими стихами. В постскриптуме пометил: «Это элегия? А может, антология... расейская! И сам не знаю».

На душе было скверно. Хорошо хоть то, что теперь была семья, где всегда ждет теплый прием, где можно порадоваться тому, что растет близость с одним из замечательных людей этого печального времени, которого, по собственному признанию, полюбил беззаветно.

А Мельшин не только посулил, но действительно напечатал в первом номере журнала «Русское богатство» за 1909 год стихотворение Е. Придворова «С тревогой жуткою...». Конечно, это было счастье. И оно заключалось не только в факте публикации, но в ее качестве: он стал автором журнала Короленко.

Глава IV

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ

Начинающий поэт стал не только автором «Русского богатства». Вскоре он прослыл любимым учеником Якубовича-Мельшина и в доме у него уже был своим человеком.

Иной вечер Ефим Алексеевич и не заходил в кабинет: играл с Димой, беседовал с Розой Федоровной. Он полюбил ее рассказы о ссыльных временах, с удивлением узнавая в них знакомые по книге эпизоды, посвященные «невесте друга». Эти страницы оказались автобиографическими. Теперь он знал, что именно Роза Федоровна, а не чья-то другая невеста была общей любимицей еще на этапе благодаря неукротимой энергии и веселости. Не зря ему показалось, что у нее чувство юмора живее, чем у Петра Филипповича! Как-то он сказал ей об этом. Она покачала головой.

— Вы его не знаете... У него ведь есть шуточные стихи еще ссыльных времен. Нет, не печатались. Это так, для своих, вроде: «Когда сокрылся край родной за дальними горами, ты из провизии гнилой нас утешал пирами...»

Она читала дальше, поясняя, когда и в каких обстоятельствах были написаны эти стихи.

Ефим Алексеевич особенно полюбил те минуты, когда она бывала настроена пошутить, и живо подключался к такому ее настроению. Доводил ее до смеха «в голос», что бывало редко, но с его запасом шуток и способности к экспромтам удавалось. Тогда Петр Филиппович приоткрывал двери кабинета, молча вопрошающе смотрел, пока ему не повторяли «на бис», и, довольный, уходил обратно.

Иной вечер, напротив, Ефим Алексеевич оставался в кабинете и даже не присоединялся к общему чаю. Разбирал обширную корреспонденцию, шедшую с Урала и из Женевы, из Лондона и Оренбурга. Своим аккуратным, разборчивым почерком переписывал наиболее удачные стихи для представления в редакцию.

Иной вечер шел спор о таких стихах. А если Петр Филиппович был почему-либо молчалив либо углублен в срочную работу, гостю разрешалось порыться в библиотеке.

Листая некоторые книги, Придворов, бывало, волновался, хотя не находил здесь каких-нибудь особенных изданий. Вот томик Чехова. Обыкновенный. Но дарственная: «От искреннего почитателя и друга Вашей книги» — так было написано чеховской рукой.

Значит, он оценил Петра Филипповича? И, судя по дате, оценил одним из первых.

Встречались здесь и другие, более горячие посвящения. Ефим Алексеевич никогда не задавал вопросов, связанных с признанием «В мире отверженных». Он знал, что Петр Филиппович не любит говорить о достоинствах своей работы. И уважал его и за это свойство.

Однажды после очередных разговоров о влиянии на человека семьи, о формировании идеалов, поисках целей жизни Петр Филиппович извлек из дальнего ящика бюро какой-то довольно толстый томик.

— Вот, если вам интересно, полистайте. Ведь и до нас люди думали, искали...

По тому, как был этот томик вручен, молодой друг Мельшина понял, что Петр Филиппович дорожит им. А по тому, как он запрятан, — что не каждому показывает; да еще сделал совершенно неслыханное предупреждение: «Пожалуйста, осторожнее с папиросами. Не обожгите страницы...»

Курил Придворов, правда, немало, но с чрезвычайной аккуратностью выстукивал мундштук в предоставленное ему блюдечко и никогда-никогда не ронял пепла, а тем более огня.

Он молча погасил папиросу. Петр Филиппович вышел. Открыв томик, Ефим Алексеевич увидел, что перед ним «Наставление детям Василию и Петру от их отца, Филиппа Тарасовича Якубовича». Дата — 1875.

Около двухсот листов плотной бумаги были заполнены каллиграфическим почерком. Текст делился на главы.

Это были не нотации, не плоские родительские проповеди, в которых старшие так часто учат младших тому, чего не делают сами. Все было сказано с суровостью, но не к детям — к порокам. Иногда и шутливо: глава о праздности и лености начиналась словами: «Эти две сестрицы... всегда сопутствуют друг другу».

Было интересно и то, что старый дворянин, родословная которого, как он сам замечал, восходила к 1600 году, писал об отношении к начальству и подчиненным, «а наипаче — к правительству страны». Отец вовсе не располагал детей к покорному почитанию власти: «Самодержавец» — в царском титуле слово, каким не именуется и не именовался никогда ни один государь христианский; точный смысл его — самовластие, или, другими словами: деспотизм...» — толковал он, конечно, не более как повторяя Радищева. Но в семейном, интимном документе это звучало по-своему значительно.

Дальше — больше. Единственное, что портило чтение ру-

кописи, была невозможность закурить. Как знать? Могло статься, что Петр Филиппович дорожил даже запахом этих старых листов, не хотел, чтобы они пропахли дымом. И Ефим Алексеевич грыз пустой мундштук.

В этот вечер Мельшин оставил его в одиночестве надолго. Потом оказалось, что он даже уходил из дому. А вернувшись, застал гостя за последними страницами рукописи. Встретившись снова уже в столовой, они не заговорили о «Наставлении»; каким-то образом они всегда чувствовали настроение друг друга, и это тоже, вероятно, их сближало.

Теперь вместо задушевного разговора, который, казалось, мог бы последовать после ознакомления с семейным документом, Ефим Алексеевич занялся вовсе хозяйственными делами. Настрогал лучины для самовара, вызвался наколоть дров: охота размяться! Давно не махивал топориком, не работал во дворе! И только перед отъездом, пожимая сухую, тонкую руку Петра Филипповича, сказал: «Спасибо...» А к разговору о «Наставлении», о личности Филиппа Тарасовича они вернулись много позднее, по какой-то ассоциации, и опять-таки по молчаливому обоюдному согласию.

Поездки в Удельную приносили не только радость общения с семьей Мельшина. Не один Придворов любил этот дом, не один он сюда ездил в дождь и в мороз. Здесь он встречал тех, при чьем «ближайшем участии», как это было сказано на титульных листах «Русского богатства», издавался журнал. Тут Придворов увидел Николая Федоровича Анненского — близкого друга Короленко; того Анненского, из-за статей которого чуть не закрыли журнал... Знакомясь с этим старым человеком, лицо которого выражало бесконечную доброту и благородство, Ефим Алексеевич понял, что видит его не впервые. Цепкая зрительная память, кажется, навеки сохранила перед ним всю картину.

Было 9 января. Оглушенный всем происходящим, он забежал в Публичную библиотеку. Не может быть, чтобы и там стреляли...

Едва Придворов попал в вестибюль, как увидел людей, ведущих под руки старика, лицо которого потрясало выражением муки. Придворов никого не заметил, кроме плачущего старика. И только много позже, когда об Анненском написал Горький, стало ясно, что в тот день безвестный студент стоял рядом с писателем, которого уже знал по портретам. Но не заметил...

«Я вот как сейчас вижу перед собой его хорошее лицо, — писал после Горький. — Рыдал он, кажется, беззвучно, но по-

казалось мне, что он оглушительно кричит». «...Я много видел слез отчаяния и скорби, но мне думается, что слезы Николая Федоровича Анненского в день 9 января — самые страшные и сжигающие душу человеческие слезы...»

В доме у Петра Филипповича Придворов впервые пожал руку Анненскому. Здесь же Ефим Алексеевич познакомился и с Короленко, который приезжал по-дружески, иногда прихватив старшую дочь Соню.

Но даже и те замечательные люди, которых Придворов здесь не встречал, становились как бы ближе: запросто, как о своих, говорили здесь о Вере Фигнер, «шлиссельбуржце» Николае Морозове... И по этим разговорам он мог живо представить себе, каковы они в привычках, обращении, достоинствах и недостатках.

Одно огорчало Придворова: как только речь заходила о Горьком, лицо Петра Филипповича суровело: осуждал за близость к большевикам. Когда-то они «столкнулись лбами» на дне рождения «патриарха народников» Михайловского. Поспорили насчет «Искры». Мельшин прямо заявил, что эту газету он «рвет и жжет, рвет и жжет... А вон Горький... — и он с досадой махал рукой, — поддался!». Придворову же разобраться, а тем более войти по этому поводу в спор было никак невозможно. Только инстинктом чуял, что его большой друг слишком горячится и где-то не прав. Ну как же? На Горького — и рукой махнуть? Нет, если ему и мечталось с кем-то из писателей повстречаться, то именно с ним!

Другие приезжавшие сюда люди не всегда интересовали его. Правда, связь с ними была полезна: благодаря соиздателям «Русского богатства» — Горнфельду, Пешехонову — он начал бывать в Литературном обществе; там, в свою очередь, познакомился с другими деятелями литературы.

Еще шире стал круг знакомых лиц, когда Якубовичи, наконец, оставили Удельную. Переехав в город, семья поселилась на Выборгской стороне. Придворов почувствовал облегчение. Пусть недалеко было до вокзала, да и от станции — не больше десяти минут ходу, но сколько высвободилось времени! А оно было ох как нужно! Из-за поездок он запустил учеников. И вот результат: репетиторские дела, пошедшие было отлично, пошатнулись. Сохранилась записка с подсчетом «убытков»: «С шестого прекратили занятия Кадзевичи (15 р.), Селицкий (10), Штендер (10), Чеботарев (7), Дубинин (15), Генделевич (10). Шесть человек сразу = 72 рубля. Что будет дальше, любопытно».

А ведь в один только Университет надо было внести за

право учения двадцать пять рублей. И наконец, с некоторого времени деньги стали особенно нужны: предстояла женитьба.

Еще в прошлом году у Придворова появилась ученица — Вера Косинская. Она пришла по объявлению в газете: «Студент Спб. Императорского университета готовит за недорогую плату по всем предметам». Девушка хотела поступить на акушерские курсы.

Вера сразу понравилась своему репетитору не только внешне. Он ценил в людях энергичность, бойкость характера — вялости не любил ни в ком. Живая, веселая, Верочка стала бывать у репетитора чаще, дольше, чем требовали занятия. Отношения становились все более близкими, а намерения — серьезными.

Одно мешало — вечные поездки в Удельную. Приходилось объяснять, почему он всегда уезжает туда без нее:

— Понимаешь — это не то, что называется «бывать в гостях», — я приеду, а Дима наказан, стоит в углу: любит кататься на крыле отцовского бюро, а Петр Филиппович сердится. Ну, я сяду разбирать стихи, письма. Только Дима повернется украдкой — сострою ему этакую жа-алостливую физиономию. Мальчишке веселее (подумаешь, грех!). Другой раз мы с ним рисуем, пишем стихи, а то даже играем во дворе в лапту, «чижа», бабки или бегаем наперегонки. Бывает, что отец с матерью заняты своими делами или уходят. Я ведь их не связываю... Никогда не знаю, как и с кем проведу время, кого у них застану.

Вера немножко дулась, но ревновать было вроде не к чему.

Теперь равновесие восстановилось. Да вскоре и сам Придворов переехал на другую квартиру, и теперь уже вместе со своей женой Верой. Его прежние адреса оказались перечеркнутыми в записной книжке Мельшина, озаглавленной «Поэты «Русского богатства». Эта книжка и сейчас хранится в рукописных фондах Пушкинского дома: на листке под литерой «П» можно прочитать перечеркнутые карандашом адреса Ефима Алексеевича Придворова: Николаевская, 12, кв. 23; Садовая 14, кв. 16. В книжке почему-то не появилось новой записи — Пушкинская, 3; но удивительно не это (какая-то случайность), а то, что, будучи по-прежнему привязанным к Петру Филипповичу, Придворов не закрепился в редакции «Русского богатства» как автор.

За полтора года журнал напечатал всего три его стихотворения. Остальное было отвергнуто: цензура... Да и только ли она? Что же? Смириться? Больше не писать, писать иначе? Этого он не мог. Писать без надежды напечатать? Этого он тоже

не мог. Убеждение в том, что поэзия должна служить людям, народу, о чем говорил и Петр Филиппович, уже сложилось полностью. Лирические стихи, что прячут под подушкой или читают лишь в интимном кругу? Нет, такое ни по складу характера, ни по характеру поэзии было категорически не для него.

В то же время камнем на сердце ложились стихотворные исповеди Петра Филипповича, в которых был высказан горестный итог пройденного пути: «позор и мерзость запустения, на месте некогда святом...», «Затерты славные стези, потушен факел идеала, и знамя светлое в грязи...»

Листая стихи своего необыкновенного, чудесного друга, Придворов чувствовал, что не может повторить вслед за ним признание:

Ах, без жизни проносится жизнь вся моя...
Поглощаемый мутною тиною,
Я борюсь день и ночь, сам себе — и судья,
И тюрьма, и палач с гильотиною.

Нет, у молодого поэта среди тех же образов и дум (и он писал, что «нет отрады», говорил об «истерзанной груди») являлись строки, утверждающие, что «не все отравлено позором униженья»; он поднимал голос протеста, заверяя, что «Былого с будущим скрепляя прочно звенья, куется новое звено». Но где, в ком есть те «высокие стремления», о которых говорили стихи, он и сам не знал.

Без особых надежд, так, на всякий случай, Придворов посылал свои новые стихи все тому же Бонч-Бруевичу, хотя они до сих пор так и не познакомились. Виделись мельком в Литературном обществе. Внешне социал-демократический деятель произвел приятное впечатление: высокий, широкий в плечах, уверенный в движениях. За стеклами очков блестит умный, спокойный взгляд... как будто симпатичный. Но самым приятным в нем было все-таки то, что он аккуратно отвечал на все письма Придворова, постоянно советуя продолжать писать и даже предлагая зайти побеседовать.

«Зачем? — удивлялся Придворов. — Что он во мне нашел?»

Если бы Бонч-Бруевичу стало известно это недоумение, он только улыбнулся бы такой наивности.

«То есть как это «зачем»? — спросил бы он. — Вы пишете: «Спасите! В этот час в моей родной стране кого-то, где-то злобно душат!» Вы знаете, что на «столыпинских галстуках» вздернуто на виселицах семь тысяч человек? Что тысячи других расстреляны, гниют по каторгам и тюрьмам? Что в стра-

не совершено более шестисот ужасающих погромов?.. Вас это угнетает.

Кроме того, вас, конечно, угнетает еще и картина жизни нашей интеллигенции. Вы читали, как недавно она прославляла революцию и прозой и стихами, да притом самыми изысканными — в неожиданных рифмах, оригинальных размерах. «Ура» народу кричали даже поэты «нездешнего» мира... И теперь вам отвратительно видеть, что эти люди прямо заявляют: «Мы, мол, думали, что наш народ — титан, а он оказался просто фефелой — ткнули его сапогом, он и рассыпался...»

Вам, конечно, страшна картина, так хорошо нарисованная Сашей Черным:

По притихшим редакциям,
По растерзанным фракциям,
По рутинным гостиным,
За молчанье себя награждая с лихвой,
Несется испуганный вой:
Отбой, отбой,
Окончен бой,
Под стол гурьбой!

Вам нечего делать в притихших редакциях? Однако вы, как и люди «рутинных гостиных», считаете, что революция пропала без вести? Не знаете, куда идти со своими стихами? К кому взывать? В «Русском богатстве» вас не утешат. И не напечатают. Вы мечетесь?»

И тут Бонч-Бруевич снова усмехнулся бы, потому что его тяготили гораздо более тяжелые беды, а все-таки настроение у него было неплохое.

Бонч-Бруевич не стал бы рассказывать Придворову, что в его кругу серьезную заботу вызывает вовсе не прогоревшая, обанкротившаяся интеллигенция. Место унынию, безверию нашлось и в самом рабочем классе, оставшемся без единой открытой организации, без печатного органа. Партийные ряды обескровлены жертвами. Но они редеют не только за счет казней, каторги и ссылки. Не какие-нибудь, а рабочие люди уходят из партии, подавленные апатией, безразличием. Это беда посерьезнее.

На этом фоне каждый не поддавшийся общему унынию человек особенно ценен Бонч-Бруевичу. Очень хотелось бы увидеть, наконец, упрямого поэта, по-видимому довольно одинокого и не имеющего никаких общественных связей. Очевидно, Придворов соприкасается с политической жизнью только через газеты. И чего прячется? Досадно. Талантец есть. Душа, видно, живая. Таких сейчас днем с огнем не найдешь. На мрачном

фоне последних лет один такой выискался. Но как бы разглядеть его получше, притянуть поближе?

Но Придворов не приходил.

Так прошел девятый, начался десятый год. «Русское богатство» не напечатало даже заказанных рецензий. И стихи больше не появлялись на страницах этого журнала. Чтобы отвести душу, даже без надежды, поэт отправлял изредка письмецо на уже знакомый адрес: «Херсонская, 5, кв. 9. Господину В. Д. Бонч-Бруевичу». Отправлял без обратного адреса. Не хотел понуждать глубокочтимого Владимира Дмитриевича тратить время на ответы.

Однажды написал в отчаянном настроении. Пренебрег обычной формой вежливости. Письмо начиналось без обращения.

«Ох, лишенько мое, бис его батькови!

Верите ли, добрейший Владимир Дмитриевич, валится перо из рук, когда подумаешь, что опоздал я со своими песнями. Вот хотя бы прилагаемая вещица: куда с нею сунешься? Любая «Речь» отвернется, как черт от ладана, — даже «Русское богатство» — единственное подходящее место — держится ныне осторожной линии и не хочет рисковать по мелочам.

Посылаю Вам. Если узнаете, что я умер, распорядитесь несчастным наследством моим, как знаете. Да и то: какое наследство?! Один убыток...»

Получив это письмо, Бонч-Бруевич даже обеспокоился: по городу шла волна самоубийств. Люди вешались, топились, стрелялись... Это стало заурядным явлением, ежедневной рубрикой газет. Что означает фраза: «Если узнаете, что я умер»?.. Неужели?.. И адреса нет.

Однако через некоторое время снова пошли письма, стихи, а однажды даже «трехпудовое стихотворение на мою проклятую тему», с робким вопросом, нельзя ли подумать об издании небольшого сборника, в котором «рядом с удавшимися вещами выиграют и слабоватые». Поэт тут же делал признание, что эту мысль подсказал ему Мельшин, «правда, с оговоркою, что для издания его нужны не столько деньги, сколько смелость — вернее, готовность обречь себя на некоторую отсидку в месте злачном. Последнее — мне зело не по вкусу. Не знаю поэтому, как быть».

Письмо было уже готово, но на этот раз Придворов понял, что почтой не обойдешься. Тут надо было поговорить. И, памятуя полученные в свое время приглашения, приписал:

«Придется-таки мне заглянуть к Вам в Вашу обитель, спросить доброго совета. Хотя, признаться, не люблю я убивать чужое время своими визитами».

Ответ с новым приглашением последовал немедленно. И в начале мая десятого года Придворов, наконец, зашел на квартиру Бонч-Бруевича.

Здесь было очень чисто, очень пусто: «Семья уже на даче». Владимир Дмитриевич принял в узком, как пенал, кабинете. Стол у окна. Тут же узкая, спартанская кровать; конечно, книги — стена книг.

Сели. Гость явно стеснялся. Но когда Владимир Дмитриевич спросил его, как он попал в «Русское богатство», тот поведал ему всю историю знакомства с Мельшиным, само собой не обмолвясь о том, как он благоговеет перед этим человеком. О редакции же сказал спокойно, с некоторым сожалением:

— Там такое настроение... Как будто все время «отходную» поют. Даже странно подумать, что короленковский журнал...

— Да что вы? Ну какой же он «короленковский»? Добрейший Владимир Галактионович уже давно только фирма, вывеска для них. А заправляют — не мне вам это говорить! — Мякотин, Пешехонов и иже с ними.

Замечание было брошено не в бровь, а в глаз. Придворов промолчал.

— А кстати, — спросил, меняя тему, Бонч-Бруевич, — вы сказали «отходную» и напомнили, что у меня к вам есть вопрос по религиозной части. Кажется, вы в этом деле дока?

— В гимназическом курсе пятерка по «закону божию». Да не в этом дело. Я узнал азбуку по священному писанию и с малолетства был конкурентом псалтырщика. Первые пятаки на господе боге зарабатывал, будь он неладен со всей братией!

— Так вы в бога и в детстве не верили?

— Разве уж пока совсем был несмышленыш. Тогда даже в монастырь собирался. Уж очень в миру худо жилось. А после, при близости к слугам господним, прозрение пришло быстро. — Придворов со злостью мял в пепельнице папиросу, будто она была виновата.

— Попов не любите?

— А знаете ли вы, какой это тяжкий крест на мужицкой шее? К земле тянет. И подвешен крепко. Трудно скинуть. У нас, в крестьянстве, ведь на лучшую жизнь на земле не надеются! Как вы думаете, какую любимую всем «опчеством» книгу я читал односельчанам вслух? Сидим вечером на завалинке. Требуют: «Почитай!» А что? Книга называлась: «Путь ко спасению, или как приготовить себя к смерти». Вот в чем видит счастье крестьянская Россия. В могиле.

— Не всегда так видит, — заметил Бонч-Бруевич. — Вспомните историю.

— Так то история!

— А вы что же полагаете, что история не делается сегодня? — снова возразил Владимир Дмитриевич. — Разве мы живем вне исторического времени?

— Пока что вижу, что мы попали в плохую историю, и конца ей не видно.

— Будет время, — сказал Владимир Дмитриевич, — вы напишете «Письмо в деревню» наподобие того «Письма из деревни», что написали теперь. Хорошо у вас это получилось. Читается прямо как живое, подлинное, крестьянское письмо. Я даже помню: «Здорово, брат! Земной от нас тебе поклон. Составить соопча письмо — твои соседи сегодня собрались у Коренева Феди, а пишет Агафон...» Так вот, вы еще напишете письмо в деревню, в котором расскажете мужику все то, о чем думаете теперь. Расскажете и о поповском племени.

Придворову была приятна похвала, а особенно то, что его стихи запомнились, но последние слова озадачили его: на наивного человека Бонч-Бруевич не похож, а мечтает — поди ж ты!..

— Ой ли? — только спросил он. И добавил со вздохом:
— До царя далеко, до неба высоко...

— Ну, зато и мы ведь не карлики. Однако вернемся, так сказать, непосредственно к божьей службе. Я вас хотел спросить: у меня в примечании к «Животной книге духоборов» сказано, что выражение «молбех» надо, вероятно, читать как «мал бех». А вы мне писали, утверждая, что действительно есть псалом, начинающийся словами «Мах бех братии моей...» и так далее. Вы знаете этот псалом?

Пошла речь о священном писании, псалтыре, псалмах. Хозяин знал толк в этом деле. Не зря он эксперт по вопросам религии.

Оба увлеклись обсуждением вопросов происхождения религиозных обычаев. Это дало повод гостю при расставании предложить:

— Хотите услышать, какого знатного протодьякона потеряла во мне церковь?..

И он так раскатисто грянул «Многая лета!», что Владимира Дмитриевича чуть не качнуло. Он, смеясь, отошел в дальний угол комнаты. Посмеявшись, попросил повременить минутку. «Я тоже хочу кое-что предложить на прощанье. Только из другой оперы...» И дал небольшую книжицу. Она называ-

лась: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»

...Они считали, что увидятся скоро, но этого не случилось. Лето прошло в каких-то хлопотах у того и другого. Связь как будто порвалась.

Но к зиме, когда появилась новая рабочая газета «Звезда», в редакцию стали приходить стихи, письма. Придворов словно только и ждал восхождения этой звезды на грустно-сером петербургском небосклоне. Его стихи были бы сюда в самый раз, но... в печать не проходили. Автора, видимо, это не смущало. Он писал в редакцию, просил зачислить его в «постоянные читатели, подписчики и сотрудники», радовался, что, мол, «жив курилка»; «чтобы гусей не дразнить, мой непостоянный адрес сообщу самолично; надеюсь, он будет в частном, а не в казенном доме». Далее следовали намеки на то, «что надо ухо «держать востро», ибо «лягавые»... «делают стойку» и только ждут окрика «пиль!», чтобы схватить за шиворот и отправить в казенный дом для размышления о бренности нашей личной, общественной и литературной жизни». «Кто он?» — гадали в редакции.

— Как вам сказать? — отвечал Бонч-Бруевич товарищам. — Мы с ним переписывались года два. Один раз этой весной он был у меня дома. Здоровый такой детина, кровь с молоком. Из крестьян. Говорит басом. Преклоняется перед Мельшиным. Кстати, он его первым напечатал. А в общем могу сказать твердо только то, что он мужчина.

Последние слова вовсе не вызвали в редакции недоумения. Они были приняты как справка, ибо там, где печатали рабочих авторов, знакомства с ними иной раз совершались не без курьезов. Об одном из таких впоследствии рассказал и сам Придворов.

Некая работница Паня постоянно писала очень толковые корреспонденции. Они были неграмотны... «но так задевали за живое читательниц, что в редакцию посыпались на имя Пани письма. Решили связаться с ней поближе, привлечь к делу и напечатали в «Почтовом ящике», что просят зайти ее в такой-то час, такой-то день. Ждали долго, ее все нет. Наконец замечаем, топчется у дверей мужчина саженного роста, рыжая окладистая борода во какая! Спрашиваем:

— Вам кого надо, товарищ?

Товарищ отвечает басом:

— Вызывали меня.

— А кто же вы?

Саженный товарищ отвечает таким же басом:

— Я работница «Паня»...»

...Итак, жил где-то в Петербурге весьма подходящий «Звезде» автор по фамилии Придворов, который обещал свой адрес сообщить «самолично», но все не появлялся. Стихи же его по-прежнему не удавалось протолкнуть сквозь цензурные рогатки.

Прошла зима. Придворов, говорили, раз зашел в редакцию, но как-то неудачно: разговора не получилось. А с самой ранней весны и вовсе исчез, даже перестал писать. Уехал? Сидит ли в «месте злачном», как опасался? Где? За что? На какой срок? Этого в редакции не знал никто. Не знал этого и Владимир Дмитриевич, тем более что на исходе зимы был арестован в качестве подследственного, обвиненного в постоянном сотрудничестве с социал-демократической фракцией Государственной думы и редактировании той же «Звезды». Сидя в предварительной тюрьме «Крестах», он уж никак не мог проявить свою заинтересованность в Придворове... И только выйдя из тюрьмы, он по газетам понял, в чем дело.

...С самого переезда в Петербург что-то не ладилось у Петра Филипповича. Не совсем подошла квартира, одна и другая. Переехали с Выборгской стороны на Петроградскую. Пожили немного на Ижорской улице — тоже не сложилось, оказалось много неудобств. Придворов бегал по городу, искал недорогую, подходящую квартиру и довольный сообщил в одном из писем общим знакомым: «Квартиру Мельшину нашел!» Состоялся переезд на Ропшинскую, угол Малого проспекта. Там тоже было неудобство — шестой этаж. Но зато просторно и недорого. В общем подошло.

Но в самом начале марта Петр Филиппович заболел. Это было воспаление легких.

От него не отходили домашние и, конечно, Ефим Алексеевич. Петр Филиппович всегда говорил, что с ним в дом приходит радость, смех, веселье. И пока было можно, тот старался отвлечь больного, тешил его новостями, прибаутками. Он менял кислородные подушки, бегал за ними. Внушал надежды Розе Федоровне, Диме. Но Петр Филиппович угасал. «Не выдерживало надломленное каторгой сердце», — как сказала Пешехонова — друг дома, жена соиздателя «Русского богатства». Она же оставила запись о том, что «17 марта, в 6 часов утра, после 11 дней тяжелых страданий наступила смерть...».

Пришел час идти не за кислородными подушками, не за врачом, а во Введенскую церковь. И вот на руках «Свидетельство о смерти»: «По счету умерших — № 36. Пол — мужской.

День смерти — 17 марта. День погребения — 19. Звание — мещанин города Кургана. Лета умершего — 50. Отчего умер — от порока сердца», что приложением печати подтверждается. Маленькая, жалкая бумажка. И все...

Нет, оказалось, не все.

В день похорон полиция испугалась огромного стечения народа. Неожиданно было приказано изменить маршрут следования на Волково кладбище. Молодежь возмущалась. Шум... Крики...

У самых кладбищенских ворот полиция вдруг остановила Розу Федоровну: «Лицам иудейского происхождения на христианское кладбище нельзя!..» Как побелела она, как тихо и твердо сказала: «Нет, всю жизнь вы меня к нему не пускали, а теперь-то уж пропустите!» Если бы она не справилась с этим оскорблением и сама не открыла себе дорогу на кладбище, лежать бы полицейскому близ ворот от сокрушительного удара уже сжатого мужицкого кулака. Придворов разжал его не сразу: что еще могло тут случиться? Даже мертвый этот человек был еще им страшен. Его надо было защищать. А таких крепких кулаков, как у его любимого ученика, здесь, пожалуй, больше не было.

Потом Ефим Алексеевич помогал разбирать громадную, приходившую в связи с кончиной Петра Филипповича почту. Каждое новое письмо заново подчеркивало тяжесть потери. Скольких людей он осиротил!

Отдали должное и газеты. «Рыцарь без страха и упрека», — писали о нем; вспоминали, как оценили его Лев Толстой, Чехов. Приравнивали его литературный подвиг к произведениям Достоевского.

Но с особым трепетом Придворов развернул свежий номер «Звезды». Что-то скажут об этом человеке они? Те, чьим идейным противником он был?..

Отлегло от сердца! Они написали, что «социал-демократы ценили и уважали «последнего могикана «Народной воли»...» и еще много теплых слов. Все это было сказано так искренне, что Придворов испытывал немую благодарность. Ему было бы больно, если бы «Звезда» не сделала этого.

Писали и из других стран, присылали письма с оказией, в двойных конвертах, с извинениями, что не отправили телеграмм «в силу полицейских условий». Французские, немецкие, английские тексты. Привыкнув разбирать почту для него, трудно было делать это теперь, когда его уже не было.

Трудно было опомниться...

Ездил на кладбище.

Приходя к Розе Федоровне, каждый раз в ожидании, пока откроют, он повторял себе, что его уж нет, уж нет!.. Тайна смерти, трагедия невозвратимого впервые ожгла его так больно.

Ничто не радовало его. Не отвлекал ни свой дом, ни даже маленькая, забавная — скоро годик — дочка. С превеликим трудом собрался ответить на письмо тому, вместе с кем переживал горе. Это был критик Горнфельд, который теперь вел отдел поэзии «Русского богатства».

«Давно я получил Ваше письмо... — писал ему Придворов, — ...собираюсь ответить Вам, хочу что-то такое сказать, чем-то поделиться, о чем-то спросить, берусь за перо, пишу — и рву. Вялость мысли, дряблость чувства, скрипучесть слога...

После всяческих потрясений и смерти Петра Филипповича в особенности — все не могу прийти в себя: берусь за то, другое, третье — и все без толку. Потерял ось, сбился с орбиты, вращаюсь по черт знает какому закону, блуждаю по непонятному пути.

Ваше письмо тронуло меня. Вы добры. Иначе и быть не могло. Ведь и я писал-то Вам первому потому, что видел, как Вы... пожалели Диму. Как-то у Вас это особенно вышло: просто и хорошо. И ясно чувствовалось: Диму пожалели. Но Дима мал. Вырастет — вспомнит, поймет.

...Осиротев после смерти Петра Филипповича, я не знаю, кто мне теперь хоть в одной самой малой части заменит его (это невозможно!) — в смысле любовного руководительства моими слабыми попытками поэтического творчества».

Это письмо, безусловно, искренне, но сдержанно. Зато спустя месяц, узнав из газет о том, что арестованный ранее Бонч-Бруевич освобожден из тюрьмы, Придворов написал этому менее знакомому, нежели Горнфельд, человеку куда как более горячо и откровенно:

«...Тягчайшим ударом была для меня смерть П. Ф. Якубовича, которого я так полюбил (могло ли быть иначе?), как никогда не любил никого. Если бы он не был «П. Я.», «Л. Мельшин» и т. д., а только П. Якубович, все равно — это был бы самоценный, удивительный человек по необычайной чистоте, по благородной привлекательности своего внутреннего и внешнего облика, которого не могло затемнить ничто. А ведь я видел и знал Петра Филипповича в той будничной обстановке, в которой не может не проявиться мелочность человека, существуй она хотя бы в малейшей степени.

Тяжелая, но красивая жизнь была у Петра Филипповича. И сам он умел увлекать на этот тяжкий, но красивый путь.

Теперь без него я стою на каком-то убийственном раздорожье. Не то что не знаешь, куда идти, а как-то стало безразлично все, — стою на месте.

Даже физически подался я. Якубович умирал при мне — я провел у него последнюю ночь. Потом были похороны, суета. А вернувшись с Волкова, я слег. Стал вял, вял и теперь, и пишу вяло, не умея сказать всего, чем полна душа. Хотя вернее — душа пуста. Холодна и пуста.

...Я все откладываю визит к Вам. Именно «будней» боюсь я.

Пишешь Вам — прихорашиваешься. А в будни, в простом общении надо быть Якубовичем, чтобы не бояться «обнаружить себя». О будни — это такая лакмусова бумага!

Мне кажется, что обладаю такой массой черт и черточек, что порой ужас берет», — признавался он напоследок, снова отдаляя встречу с человеком, за которой, он чувствовал, несмотря на всю растерянность, стояло многое и многие, что влекло и давно интересовало его.

Глава V

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Между тем дела Придворова в Университете шли неважно. Далеко не все, что там преподавалось, теперь интересовало его. Находясь под сенью Петербургского императорского уже седьмой год, он подолгу и носа не казал на лекции. Счастьем было, что в ту пору можно было учиться едва ли не до бесконечности — не зря же существовало прозвище «вечный студент»... Требовалось лишь в срок вносить плату.

Это было нелегко: Придворов стал уже человеком семейным, а поэзия не кормила. Держались одними уроками, и еще придумали: пускали в одну из комнат квартиранта, да жена давала обеды. Было трудно. В канцелярии Университета накопилось много просьб Придворова об отсрочках платежей за право учения. Но он все держался за свое студенчество. Университетская сень укрывала его от недреманного ока властей. Студент получал право жительства и отсрочку прохождения военной службы, которую он, кстати, не окончил в Елисаветградском госпитале. И, пропуская лекции, он регулярно получал в канцелярии свидетельство о том, что «Предъявитель сего — студент, двадцати четырех (пяти, шести и т. д.) лет, православный, в удостоверение чего и дано ему сие свиде-

тельство для свободного проживания в Санкт-Петербурге и его окрестностях сроком по (такое-то число такого-то года)». В полицейском участке ставили печать: «Вид на жительство получил».

Одновременно в университетской канцелярии к делу № 991 подшивали все новые и новые копии ответов, отправленных на запросы: то Елисаветградской городской управы, то Херсонской губернской управы, то Александрийского уездного воинской повинности присутствия. Все эти учреждения интересовались им: «По встретившейся надобности губернская управа просит сообщить, состоит ли в числе студентов Ефим Алексеевич Придворов, а если выбыл, то по каким причинам и не известно ли канцелярии настоящее его место службы или жительство».

...Ох уж эта «встретившаяся надобность»! Зазеваешься — и ты уже в погонах, служишь «апостолу мира»: прощай тогда все! И он из-под земли доставал деньги, оставляя иногда семью голодной. Если же случалось опоздать с внесением платы, мчался сломя голову с прошениями принять ее.

После кончины Петра Филипповича он долго не писал; не мог совладать с необоримой вялостью. К тому же дамоклов меч, как говаривал Петр Филиппович, по-прежнему висел над газетами и журналами. Сколько накопилось придворовских стихов в той же «Звезде»! Многие из них очень хвалил Бонч-Бруевич, а воз и ныне там. Если бы поэт знал, что часть посланных им стихов и писем была срочно сожжена перед налетами полиции вместе с другими бумагами, чтобы не навести на след, не дать ищейкам новых имен, он вовсе бы счел, что «дело — табак». Выходит, хотя Петр Филиппович кое в чем ошибался, вообще-то был прав? Надо дожидаться «нового пятого года». А когда он придет? Уж не в будущем ли столетии? Дождись, пожалуй!

Решительно все у него валилось из рук. И дома было не сладко. Дочка росла в темном, грязном дворе. Квартира на Пушкинской была дешева оттого, что в этом доме находилась баня. Вечный дым, копоть. Зимой быстро чернела проложенная между рамами вата. А уж когда их выставляли!.. Жена говорила, что не успевает протирать подоконники. В этот год апрель выдался неслыханно теплым. Других детей уже повывозили — кого на дачу, кого в деревню. Но что можно придумать, если еле сводишь концы с концами?.. А, черт!..

Он ходил по городу, замечая, как много изменилось со времени его приезда сюда. Пронеслась и стихла буря. Как ни в чем не бывало Невский полон шикарной публики. И город

стал наряднее. Уже нет конок, газового света. Их сменило электричество. Вместо одного-двух когда-то увиденных им автомобилей немало их катило теперь по широкой главной улице. Изменился самый темп жизни города, моды, нравы. Ушли из жизни люди, пришли другие... А чего добился здесь он? Седьмой год в Университете. И все? Немного. Перспективы? Никаких!

Как он был наивен еще недавно! «Образование»...

Хотел кем-то сделаться. Кем же? Теперь уже ясно, что столица — это город господ и холопов. Придворов не хотел и не мог пристать ни к тем, ни к другим. А силу чувствовал в себе огромную; и, сжимая мундштук так, что тот трещал под крепкими зубами, спрашивал себя: на что же дана она? Неужели придется повторить вслед за любимым ушедшим другом: «Ах, без жизни проносится жизнь вся моя...»?

Уж так скверно и сиротливо протекала эта весна после потери друга, что дальше некуда. А чего ждать от лета, осени? Снова лекции по методологии истории, истории философии и наипаче истории церкви. Все вранье!.. Если были предметы, которые его серьезно интересовали, и профессора, которых можно было уважать, так давно все прочтено, прослушано и усвоено.

Вероятно, из-за этой угнетенности он не сумел полностью оценить свой неожиданный дебют в «Звезде» и порадоваться ему в полную меру. Развернув однажды газету, поразился больше смелости редакции, чем обрадовался своим стихам. Здесь стоял во весь рост отвергнутый в свое время «Русским богатством» его «Демьян Бедный — мужик вредный»; высказывал свою кручину, да не без подстрекательства:

«Мол, не возьмем — само не свалится, —
Один конец, мол, для крестьян.
Над мужиками черт ли сжалится...»
    Так, так, Демьян!

Придворову и на ум не приходило, что роль этого мужика-подстрекателя еще предстоит ему самому. Пока поразил лишь факт публикации. Но он не снимал гнетущих вопросов и тяжести настроения, тем более что газета вышла 16 апреля: именно в ночь с 16-го на 17-е ровно месяц назад на его руках отходил незабвенный Петр Филиппович...

Могло бы взбодрить то, что в мае «Звезда» снова напечатала его стихотворение так же, как и первое, отвергнутое «Русским богатством». Это был «Сонет». Но почти тут же газета вообще закрылась. Слышно было, что кто-то арестован, кто-то уехал от греха, да и с деньгами там заело...

Так прошли второй и третий месяцы со дня кончины друга. В канун четвертого, побывав на Волковом кладбище, Придворов писал в одном из писем: «Я теперь знаю, где я буду лежать. Все мои сбережения пойдут на покупку местечка у ног Петра Филипповича».

Уныло протекало лето, осень, и началась длинная петербургская зима: прибавился расход на дрова. Единственным хорошим событием было возобновление «Звезды». Но стихов Придворова там больше не появлялось.

Одним зимним утром он встал особенно не в духе. Дочка простудилась. У жены болели зубы. Жилец съехал... Сам Ефим Алексеевич был здоров, но слишком зол на эту бессмысленную, осточертевшую жизнь. Доконал его один из учеников. Это был Костя Яхонтов, рабочий кондитерской фабрики «Бликкен и Робинзон»; когда-то Костя пришел, привлеченный объявлением о том, что уроки даются «за недорогую плату». Парень хотел сдать гимназический курс экстерном. При первом же знакомстве репетитор выяснил, что Костя из крестьян, рано осиротел и пошел в люди; его дядья с семи-восьми лет поступали в «мальчики», как-то кормились в столице — вот он и подался по их следам в Петербург. Теперь встал на ноги, работает, хочет учиться. «Сколько я вам буду должен?» — спросил ученик. «А книги у тебя есть?» Книг не было. Репетитор сказал, чтобы Костя не думал о плате за уроки, а перво-наперво приобрел необходимейшие учебники. Дал список.

Заниматься с ним было одно удовольствие. Этот парень был просто талантлив — схватывал с полуслова. Особенно хорошо ему давалась математика. Учитель иногда даже приговаривал: «Ах ты, яхонт изумрудный, ведь опять верно решил, шут тебя возьми! Вот уж не думал, что ты и с этой справишься».

Смущенный и счастливый похвалой, Костя только спросил однажды, отчего это Ефим Алексеевич его называет по-цыгански, то «изумрудным», то «брильянтовым»? Тот в ответ дал почитать Лескова, Островского: увидишь, мол, что такие присказки встречаются не у одних цыган. Так по разным поводам он исподволь приобщал Костю к чтению.

Когда наступила пора экзаменов, уж за кого-кого, а за Костю репетитор был спокоен. И вдруг — это было еще весной — является Костя. Понурый. Провалился по... алгебре.

— Тут что-то не так, — сразу сказал учитель.

Помолчали. Ефим Алексеевич думал о чем-то своем, даже не осведомился, какие достались билеты. Наконец ни с того

ни с сего спросил: бастовала ли фабрика? На утвердительный ответ только шлепнул себя по лбу: вот в этом все дело!

Яхонтов не понимал, при чем тут забастовка, но Ефим Алексеевич и не стал разъяснять. Сказал только:

— Ты из каких краев? Ярославской губернии? Вот и отлично! Недалеко. Поезжай-ка ты, мой яхонт, в свою губернию. Возьми там в управе бумагу, что ты политически благонадежен. И валяй сдавать в тамошнюю гимназию. Не провалишься. Это я уже тебе точно, как цыганка, ворожу: вернешься в Петербург с аттестатом. А в наши гимназии, значит, носа совать не надо. Учту для других учеников на будущее.

Костя послушался совета и еще летом отбыл в свой заштатный городишко Ростов Ярославский. А после как в воду канул.

Теперь, в темноте декабрьского утра (было уже двадцать второе число), он неожиданно появился, и появился с аттестатом. Но в каком он был виде! Одно слово успел сказать: «Болею», — и закашлялся. В тепле ему стало душно. Пошли на кухню. Ефим Алексеевич открыл форточку, а Костя уже стоит у раковины и сплевывает кровь.

Это несказанно расстроило Ефима Алексеевича. Такой парень! Это же самородок, талант! И в начале пути уже все кончено. Кровохарканье — это катастрофа. Что теперь ему аттестат?..

Естественно, никто не мог тогда предвидеть будущего Константина Николаевича Яхонтова. Его учитель совсем отчаялся. Ему показалось, что дело пахнет «со святыми упокой». Между тем талантливому ученику еще предстояло окончить физико-математический факультет и с честью пройти долгий путь в науке, сохраняя светлую память о человеке, который поддержал его на первых порах.

Но под новый, двенадцатый год картина выглядела настолько безнадежной, что Ефим Алексеевич с сокрушенным сердцем гадал: переживет ли его питомец весну?

Ефим Алексеевич дал тогда Косте свой теплый шарф, немного денег, пошел проводить его домой. Хотел посмотреть, как он живет. Это была, конечно, холодная клетушка в подвале. Жалкий топчан, подобие стола, сколоченного из грубых досок, и книги. Сто раз себя проклял Костин учитель за то, что поощрял его в занятиях: уж жил бы лучше какой есть! Теперь, не без вины педагога, вышло, что книги скопились, а на столе стоит мутный стакан: Костя питался разведенной на воде мукой, привезенной из дому, — сестры дали.

Мрачнее тучи Ефим Алексеевич вернулся домой. Он не

видел выхода. Как выручить? Ну, даже если Костю удастся спасти. Да ведь не один Костя на свете? И вспомнился разговор с Петром Филипповичем о доме, выстроенном им за свой счет Рослонасу... Нет, так ничего не получится. А как же получится? Как?

Сердито отвечая на вопросы жены, он прошел к себе, чтобы отвлечься, взял газеты, которые из-за прихода Кости не посмотрел вовремя. В их числе была «Звезда»; после перерыва она выходила уже не два, а три раза в неделю.

Придворов не знал, что редакция освободилась из-под смешанного руководства и попала почти целиком в руки большевиков. Просто заметил, что газета много изменилась к лучшему. Теперь она еще больше привлекала его.

Развернул тридцать пятый номер — и замер: стихотворение «Сынок». То самое, с которым ехал когда-то в Удельную к Мельшину... То самое, которое Петр Филиппович назвал «бомбой». То самое, что порекомендовал уничтожить! Если бы он видел, если бы он только мог видеть сейчас этот газетный лист! Стихи пролежали у Бонч-Бруевича долгих три года. Правда, они напечатаны без эпиграфа и концовки, но напечатаны!.. Значит, можно бороться? А как же дамоклов меч? Он висит, а они под ним ходят и ничего — делают свое дело. Закрылись на лето — опять открылись. Неукротимые!

Сколько раз того же Владимира Дмитриевича сажали в «Кресты»! И пожалуйста: жив курилка! С каким стихотворением выскочили. Извольте-с. Выкушайте! Ах ты, елки-палки! — все более расходился он, просматривая газету, в которой нашел немало других «гвоздей». Н-нет, оказывается, есть смысл пожить и поработать! Есть резон и стихи писать. Ну и молодцы же эти последовательные социал-демократы, большевистские ребята!.. Он вышел к жене с таким сияющим лицом, что та, только что видя его сильно не в духе, даже испугалась.

А он был возбужден, ощущал непреодолимое желание стряхнуть с себя весь гнет, под которым жил последнее время. Хотелось что-то говорить, делать, куда-то бежать. Куда? Ну, конечно, к дражайшему Владимиру Дмитриевичу. Конечно, на Херсонскую, 5, квартира 9. Только застать бы дома! Хорошо, что близко.

Дверь открыла красивая полная дама. Скромно, но хорошо одета. Приняв ее за жену Бонч-Бруевича, Придворов представился. А вышедший тут же в переднюю Владимир Дмитриевич обратился к «жене»: «Няня, Вера Михайловна скоро вернется. У нас к этому времени самоварчик поспеет?» Узнав у сму-

щенного гостя, что произошло, он рассмеялся и заметил, что это ничего, бывают ошибки похлестче...

— Ну как? Вы довольны, я вижу? То-то прилетели, а то вас не дозовешься. Сколько раз я вас на чай с лимончиком приглашал?

— Вот я и пришел попить чаю с лимончиком! — весело, хотя несколько сконфуженно, отвечал гость.

Мужчины прошли в кабинет-«пенал».

— У вас есть новые стихи? — с места в карьер спросил Владимир Дмитриевич.

И тут Придворов ощутил стыд: распустился, скис, не писал, думал — не нужно... Но он не выдал себя и, быстро смекнув, чего еще не посылал, прочитал старое. Они принялись обсуждать, что имеет шанс проскочить, советовались, как провести цензуру.

— За вашего «Сынка» и еще кое за что нас штрафанут, разумеется, — предрек хозяин. — Ну да нам не привыкать стать... Вообще-то я, как вы знаете, в поэзии не специалист, — говорил далее Владимир Дмитриевич, — но поскольку имею дело с литературой, должен вам сказать одну вещь: для нас продолжайте писать так же просто и доходчиво, как вы делали это до сих пор. Ведь наши газеты — для рабочих. Надо, чтобы каждое слово было предельно понятным. И помимо всего, вы очень подходите нам как автор и в силу этого вашего свойства. Меня радует, что вы не склонны к модным нынче «вывертам»...

— Ну, этим я никогда не грешил, хотя и писал раньше такое, чем похвалиться не могу...

— Значит, миновали эти этапы, о которых говорит Гейне? Помните? Молодые поэты пишут сперва плохо и просто, потом плохо и сложно и, наконец, просто и хорошо... Кажется, так?

— Еще бы не помнить! Да об этом и у Чехова есть... Но я никогда не испытывал побуждений писать туманно, заковыристо или с какими-нибудь там «литературными бантиками», хотя, — он засмеялся, — мог бы! Ей-же-ей, в два счета берусь сляпать такую «загадочность», что все декаденты бы ахнули. Хотите, для смеха сейчас набросаю вам пародию, которая у них может быть принята всерьез?

Он подсел к столу и закурил, задумавшись. Вскоре пародия была готова.

Именно в тот момент, когда они оба от души смеялись, в кабинет вошла дама.

— Здесь такой хохот, что я решила — собралась туча на-

роду. Почему же, думаю, в передней шуб нету? А вас и правда только двое!

— Знакомьтесь.

Вера Михайловна оказалась маленькой, как птичка, хрупкая, с тонкой талией, беленькими, изящными ручками. «Что можно делать такими пальчиками? — подумал гость. — Разве вышивать?..» Лицо ее было молодо, а на темных, гладко собранных в пучок волосах — изрядный налет седины. Большие светлые глаза смотрели из-за пенсне приветливо и спокойно.

Но он вообще был стеснителен с людьми не своего круга, да и стало досадно, что прервался непринужденный разговор.

По-видимому, Вера Михайловна это почувствовала и вышла.

Владимир Дмитриевич, весело поглядывая из-за поблескивающих очков, твердил свое: «Пишите, пишите. Мы будем печатать!» И Придворов уже не отвечал ему своим скептическим «ой ли?», что Бонч-Бруевич про себя отметил.

— А как же со штрафами? Вы говорите, что за моего «Сынка» придется расплачиваться. Но финансы у газеты ведь...

— Волков бояться — в лес не ходить. Вы знаете, как мы начинали? Для основания издательства «Вперед» послужила единственная золотая десятка теперь уже знакомой вам Веры Михайловны. Это был основной капитал. А в качестве запасного считались часы нашего сотрудника, с которым вам еще предстоит познакомиться, — Михаила Степановича Ольминского. Он предложил в случае чего снести их в ломбард. Вот какое было начало издательства «Вперед»... А ведь поработали недурно, пока нас не прихлопнули. И «Звезду» начинали с копеек, а теперь уже и штрафов не боимся...

«Вот как! — думал в это время Придворов, опять вспоминая о построенном Мельшиным доме. — Они, конечно, правы, собирая крохи для общего дела, вместо того чтобы выручать одиночек из беды своей благотворительностью: это мука на воде...»

К сожалению, больше поговорить о делах не удалось — позвали к чаю.

На столе стоял обязательный, как стало известно позже, винегрет. Отличные пироги («Это у нас няня мастерица»). Гудел самовар. К столу явилось и потомство — дочка Леля, помладше Димы Якубовича, лет этак семь, пожалуй, ей было. Но с девочками разговор у него заводился не так скоро, как с мальчишками.

Снова немного нахохлившись, он пил чай, отдавая должное и пирогам. Вера Михайловна сидела рядом, и он чувствовал



Е. А. Придворов со старшей дочерью Людмилой.



П. Ф. Якубович (Мельшин).

себя особенно большим и неуклюжим по соседству с таким миниатюрным существом: грубоват для подобного общества, что и говорить, грубоват. Да тут еще и девчонка.

Смолкнув, он продолжал думать о Косте Яхонтове. Беда не шла из головы. И вдруг краем уха прослышал в разговоре супругов, что Вера Михайловна врач.

Он так опешил, что задал глупый вопрос:

— Нет, серьезно?

Девчонка фыркнула над своим блюдцем с чаем. А Владимир Дмитриевич деловито осведомился:

— Медицинский факультет Цюрихского университета вас устраивает?

Но теперь уже решительно ничто не могло смутить его. Это же как нарочно! И, бросив возню с винегретом, он начал рассказывать о Косте...

— Безнадежно ли положение, если только недавно открылось кровохарканье? И что вообще делать? — закончил он. — Моих фельдшерских познаний тут мало.

— За глаза сказать трудно. Но когда я его посмотрю, решим, — отозвалась она, даже просить не заставила.

— Вот спасибо-то, вот обяжете!.. Я сам, как видите, здоровенный дядя, с этим проклятым туберкулезом дела не имел, да врача ни одного здесь не знаю. Повести Костю к какому-нибудь первому попавшемуся, по вывеске, — так кто его знает, что за тип встретится? Да и Костя стесняется, не пойдет за мои деньги. Тут надо будет как-нибудь сделать, вроде по-дружески, чтобы он не думал о моих расходах...

— Помилуйте, о чем вы говорите? Какие расходы? — удивилась Вера Михайловна.

— Да нет, с какой же стати бесплатно? Я просто прошу вас, чтобы...

Тут он увидел, что супруги обменялись такой улыбкой, от которой он почувствовал себя болван болваном, но не пришел в смущение и на сей раз.

— Оставьте это, — вмешался Владимир Дмитриевич.

— Допустим. Но когда же вы позволите привести его?

— Хоть завтра.

С этого момента гостя Бонч-Бруевичей словно подменили. Он рассказывал, уже адресуясь теперь больше к Вере Михайловне, о фельдшерской работе в Елисаветградском госпитале; живо рисовал типы и нравы военной братии в провинции, пересыпая свой рассказ подходящими случаю анекдотическими историями из медицинской практики. Когда Леля пожелала спокойной ночи, он почувствовал себя еще более свободно:

издевательски изобразил госпитального попа, который держал в страхе и больных и здоровых.

— Ну, попов я видывала и более воинствующих, — заметила Вера Михайловна. — Когда мы работали в голодную зиму девяносто второго года, нас объявили «антихристовыми детьми». Уговаривали крестьян не принимать нашу помощь, не ходить в столовые. Даже о библиотеке моей донесли архиерею, как об «антихристовом» деле.

— Это почему же? — спросил он, удивляясь про себя: вот уж никогда не подумал бы, что эта женщина работала на селе.

...Решительно она продолжала изумлять его. Оказалось, что в голодный год Вера Михайловна работала не с кем иным, как Львом Толстым. Именно из-за его отлучения от церкви попы объявили помощников Льва Николаевича «антихристовым племенем».

— А что было, когда к нему приехал Стадлинг! — рассказывала Вера Михайловна. — Это был швед, корреспондент английской газеты. Он ходил в лапландском костюме — мехом наверх — представляете? По-русски не говорит, и еще с фотоаппаратом: хотелось ему поснимать русские типы. Аппарат приняли за «антихристову печать». И пошел слух, что если Стадлинг посмотрит на кого-нибудь пристально и щелкнет своей «печатью» — значит, все. Припечатал. Этих людей надо выселять. Началась просто паника!

Однако теперь печальные курьезы сельской жизни, о каких и сам гость рассказывал только что, уже не интересовали его. В памяти еще была слишком жива прошлая осень: уход Толстого из Ясной Поляны, его болезнь и смерть. Постоянные толпы у Николаевского вокзала в ожидании московских газет. Придворову со своей Пушкинской было туда рукой подать, и он не раз бегал на вокзал спозаранку: в московских газетах печаталось больше сведений о состоянии Толстого.

Волнения умов вокруг его имени еще не улеглись. Со страниц газет не исчезали статьи представителей всех политических лагерей; каждый доказывал правоту своей оценки его как мыслителя и художника, боролся за него. Верно сказал Плеханов, что «О Толстом уже наговорено значительно больше вздора, чем о каком бы то ни было другом писателе». Придворов же давно определил свою точку зрения средь воинствующих лагерей; совершенно разделил позицию Ильина, подытожившего разговор статьей «Толстой и его эпоха», напечатанной в начале этого года в «Звезде».

Сейчас хотелось не спора, не оценки, а живых человече-

ских слов о тех живых человеческих словах и поступках Толстого, свидетелем которых была Вера Михайловна. Сама она теперь тоже интересовала его, и он засыпал ее вопросами.

— Мы нисколько не чувствовали себя подавленными его величием, — отвечала она. — Наоборот. Он сумел поставить себя так, будто все, что мы говорили, для него очень важно. Умел заставить нас высказываться до конца. Как-то я призналась, что не могу во всем с ним согласиться. А он: «А ну-те, ну-те, это интересно. Что же вы скажете?» Да еще попрекнул: «Я знаю, знаю, вы последовательница Михайловского, Шелгунова, Тимирязева и тому подобных. А Канта вы читали? А Шопенгауэра? Да как же вы не читали таких столпов философии и ума человеческого?..» Любил вызывать на спор.

Новая неожиданность. Вера Михайловна — последовательница народника Михайловского? Это как же так? Даже при близости к Петру Филипповичу и еще при его жизни сам Придворов сочувствовал марксистам, дал определенный крен в их сторону. А тут жена большевика.

— Не забывайте, что мне тогда не исполнилось и двадцати четырех лет. Многие в те годы прошли через увлечение народничеством.

— Как же вы относитесь к вашему «греху молодости» теперь?

— Я никогда не отказывала народовольцам в уважении перед их личными достоинствами и ценила их оппозиционность к царизму.

Придворову было больше чем приятно слышать это во имя памяти Петра Филипповича.

Он продолжал расспрашивать дальше о Толстом, и его воображению живо представлялась картина того, как городская барышня (ручки спрятаны в муфточке) явилась к великому писателю предложить ему свои силы; как недоверчиво ее встретили родные Толстого. Но зато он сам сразу поверил, лишь только услышал в ответ на вопрос, когда она могла бы выехать, то самое «хоть завтра», которое было сказано сейчас. Мудрый старик понимал. Не судил по внешнему виду. Придворов еле удержался, чтобы по дедовской привычке не шлепнуть себя по лбу.

— И вы справлялись?

— Отчего же?..

— Ну, а как с вами мужики?

— Да что ж, те, кто не боялись «антихриста», были очень доброжелательны. Правда, один прямо меня спросил: «Расскажи, кто нас кормит? От кого эти столовые и хлеб и кто вас

к нам послал? Скажи сама все откровенно». А я была только рада: мы искали случая объяснить все как есть на самом деле, рассеять нелепые слухи. И вот тогда он мне ответил: «Ходи теперь спокойно промеж нас, не бойся, никто тебя не обидит...»

Вера Михайловна рассказала, как сам Лев Николаевич относился к той помощи голодающим, которую возглавил: он понимал, что филантропия нашивает карманы на гнилой, дырявый кафтан. В те часы, когда он думал об этом, бывал подавлен и расстроен. Но случалось видеть его по-детски веселым.

— А в работе был строг. Бывало, засидимся вечером с ним за разговорами. Интересно же, никто не думает об утре. А он посмеивается: «Идите, идите, отдыхать пора. Я ведь не пожалею — в седьмом часу всех подниму!» И верно. Если мы просыпали, идет затемно по коридору и всем в двери постукивает... Легко стучал, а не встать нельзя, — улыбнулась Вера Михайловна.

Няня давно унесла со стола самовар, убрала посуду. На столе осталась только пепельница.

— Между прочим, — сказала Вера Михайловна, — Лев Николаевич как-то приехал ко мне домой в Москве. Беспокоился, что я не появляюсь после ареста. Он застал у меня много молодежи. Пришли повидаться после тюремной разлуки. Многие были только что выпущены. Он стал расспрашивать нас, как нам «сиделось», а мы были в таком радостном настроении, что представили ему нашу отсидку в самом светлом виде. Он был доволен, поверил нам. А уходя, я к этому и веду, сказал: «Все это хорошо, но зачем вы все так курите, господа?»

Новый знакомец Веры Михайловны покраснел. Было от чего смутиться. Он спохватился, что даже не спросил разрешения курить, и, поспешно гася в пепельнице окурок, повторял:

— Виноват... Виноват! Простите, заслушался вас.

— Да, ради бога, курите. — Она подвинула ему спички. — Только как вам своего здоровья не жаль?

— Здоровья мне хватает. Мне воспитания не хватает, — сердито отозвался он. И опять нахохлился.

Вера Михайловна говорила что-то о болезнях, но Придворов плохо слушал ее. Наконец просто для того, чтобы сказать хоть что-нибудь, задал вопрос по фельдшерской части: какие эпидемии особо распространялись в голодных губерниях?

— Бывали случаи оспы, но больше всего — куриная слепота и так называемый голодный тиф. Об этом я могу рас-

сказать немного. Но у нас есть приятельница, Мария Моисеевна Эссен, так она работала в голодные годы на тифе и на холере, да притом, кажется, в ваших местах, близ Елисаветграда. Вот ее послушать вам будет интересно.

— Она работала под Екатеринославом, — поправил Владимир Дмитриевич.

— Тоже врач? — спросил гость.

— Да нет, как вам сказать... — неуверенно ответила Вера Михайловна. — Она, знаете ли, вообще-то работала наборщиком.

— Первый раз слышу о женщине-наборщике.

Хозяева почему-то замолчали и больше ничего не сообщили о своей приятельнице. Показалось, что разговор зашел в тупик. Чтобы прервать томительную паузу, он возьми да и брякни старый глупый анекдот:

— Один наш елисаветградский еврей спрашивал, почему у русских такие длинные названия городов. Ми-и-инск, Пи-и-инск, Дви-и-инск, — тянул он. — То ли дело Есвтград!

Смысла в этом никакого не было, но рассказчик так уныло растянул короткие названия и выпалил длинное, что хозяева рассмеялись.

И тут гостя словно прорвало, как бывает, когда конфуз позади и забыт и на радостях одна забавная история тянет за собой другую. Пошли в ход деревенские бытовые сцены.

Бонч-Бруевичи сняли очки и вытирали слезы. А он разошелся — так и сыпал, однако зорко наблюдая за своими слушателями: не пересолил ли? И тут его поразило выражение лица Веры Михайловны. Он не раз замечал, как затуманивается и одновременно обнажается взгляд близоруких людей, стоит им снять очки. Какой-то обращенный в себя взгляд, растерянность, недоверие. Ее же светлые глаза сияли потоком льющейся из них доброты. Какие славные, милые глаза, какая искренность! И тешится его прибаутками, как дитя.

Наконец он поднялся прощаясь.

— А вы, оказывается, весельчак! — пожимая ему руку, говорил Владимир Дмитриевич. — Это для нас очень приятное открытие...

— Без смеха разве проживешь? Хоть и поздно, но вот я вам расскажу еще случай. Бойтесь гостя уходящего!..

Но тут раздался стук в дверь.

Хозяева переглянулись и попросили его на минутку зайти обратно в столовую. В передней осталась только няня. Сами быстро прошли в кабинет. Стук повторился. Громкий голос няни: «Ни-ишто, погодите. Ночь на дворе. Одеться дайте!»

Через несколько минут хлопнула дверь. Кто-то вошел. Какие-то извинения, слова «очень, очень просим». Наконец няня прошла в кабинет в наспех напяленном капоте.

— Ништо... — громко сказала она. — Доктора Величкину им надо. Уж не знаю, что лучше — тех ли, других ли встречать!

Вера Михайловна отозвалась:

— Сейчас соберусь. Скажите, няня, что скоро выйду. Пусть ждут внизу.

Через несколько минут все они снова стояли в передней, и Владимир Дмитриевич объяснил, что Вера Михайловна носит свою девичью фамилию: Величкина.

— Посмотришь на вас, — сказал ей Придворов, глядя, как решительно она подхватила саквояж, надела шляпу, — так вы не Величкина, а Невеличкина. А может, если приглядеться, то и Великановой надо назвать!

Она не обратила внимания на эти слова, протянула руку.

— Приводите завтра вашего Костю часам к пяти, к обеду. И вообще приходите почаще.

— Может быть, я вас провожу?

— Что вы, у меня провожатых довольно! — И вышла.

— Частная практика — беспокойное дело, — заметил Придворов, окончательно раскланиваясь.

— Какая там «частная»? — удивился Бонч-Бруевич. — Вера Михайловна работает в первой больнице рабочей страховой кассы Выборгской стороны. Ну, еще раз — до свидания! Не пропадайте надолго, прошу вас. Пора и в редакции появиться. Там вас давно ждут!

Шагая восвояси против обыкновения медленным шагом, гость Бонч-Бруевича думал о том, что вот сегодня провел вечер в новой для него семье. Это была вторая интеллигентная семья, в которой его принимали в Петербурге. Нет, он не шел отсюда улыбаясь, хотя за вечер не только посмешил других, но и посмеялся сам. Сейчас же, на пути (он любил размышлять на ходу), невольно возникла параллель: у Якубовичей он сразу начал как-то оттаивать, потянулся к ним всей душой, мечтал о близости. Здесь же сидел без трепета и особых ожиданий. Стал старше? Нет, дело не в этом. Просто он знал: с этими людьми связано нечто очень важное. И теперь ему надо было не таять и греться, а работать.

И второе: близ Петра Филипповича он не видел никого чище и выше его. (С Короленко он запросто все же не встречался. Мякотин, Горнфельд, Пешехонов и все другие? Нет,

куда им!) А вот за Бонч-Бруевичами стоят настоящие, сильные, умные друзья. И как они сами значительны, серьезны, уверенны! В чем?.. Боже мой, да ведь эта крошечная Вера Михайловна смотрела на него снизу вверх, а показалась ему чем-то выше его самого — этакого детины. Да как же она ночевала рядом с телятами на земляном полу? Забиралась в занесенные снегом избы через крыши? Колесила одна по деревням в мороз и вьюгу, а по весне, когда лошади были нужны для пахоты, вышагивала «пешим дралом» длинные версты? Как она выносила больных и угоревших детей на руках? Не мудрено, что заработала, очевидно, привязанность и уважение Толстого. Не раздавал он их даром. Сколько в ней силы, а еще ссылается на какую-то там их знакомую (Эссен, что ли?): «С ней вам поговорить будет интересно». А и верно, хорошо бы повстречать ее. Вот это баба: и на тифе и на холере поработать не простое дело. К тому еще наборщик! Ужо надо поглядеть, что у них там за наборщики такие.

...Трудно было сказать отчего, но в доме Якубовичей являлось ощущение, что все-то у них в жизни было... да прошло. Это прошлое было прекрасным, верно. Но здесь, в этом доме, у этих людей чувствовалось, что все есть теперь, вот сейчас. И будет?

Хорошо, что Владимир Дмитриевич снова дал ему несколько книг. Надо как следует понять программу и взгляды марксистов.

Нет, он шел с Херсонской улицы не улыбаясь. На его лице была написана дума. А у себя за столом Ефим Алексеевич до утра оставался погруженным в принесенные книги. Признание «в иной среде иных друзей нашел я в пору пробужденья» будет сделано много позже.

Он еще не знал, что имя Демьяна Бедного — мужика вредного из стихов Придворова станет его собственным именем; что наступающий через неделю новый, двенадцатый год принесет ему и более значительные перемены. Но, сидя за данными Бонч-Бруевичем книгами, он уже готовился к этим переменам.

Глава VI

НОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Фабричный люд любил «Звезду», и особенно нравились стихи: если сложены аккуратно и недлинно, как-то яснее становились даже не совсем понятные вопросы. А уж басня — вовсе милое дело! Тут поймешь и то, чего не знаешь.

Со стихов «Звезду» обычно и начинали.

В трактирах и чайных читали вслух. Отчасти для общего удовольствия, а главное, потому, что многие были неграмотны. На некоторых окраинах появились бродячие чтецы. Те шпарили наизусть, иногда вызывая одобрение, хохот, а иногда и слезу... Случался и спор. Бывало, он шел по делу, а то и просто так: из-за двух излюбленных авторов. Один был «Е. Придворов». Другой подписывался прозвищем «Демьян Бедный». Первый писал потише, погрустнее. Второй позадиристее. «Звезда» часто печатала обоих рядом.

— Смотри! Опять оба вместе! — отмечали читатели. — Занятно, как они там между собой... Не цапаются? Говорят, эти господа — народ ревнивый.

— Ну, Демьян-то навряд из господ — больно кличка проста. Да и мужик, видать, покрепче Придворова.

Но вскоре их перестали различать.

Демьян Бедный очень хлестко описал, что кукушке посчастливилось повидать орла. Ничего не увидала дура-птица. Нахально рассказывает подружкам:

«Особого в орле, пожалуй, мало.
По мне, так ничего в нем нет,
Чего бы нам недоставало:
Те ж когти, клюв и хвост,
Почти такой же рост,
Подобно нам, весь сер — и крылья и макушка...
Короче говоря,
Чтоб слов не тратить зря:
Орел — не более, как крупная кукушка!»

...Это занятно. «Такие бывают, — судят читатели. — Но вот к чему в конце басни приписочка?»

Так, оскорбляя прах бойца и гражданина,
Лгун некий пробовал на днях морочить свет,
Что, дескать, обсудить — так выйдет все едино.
И разницы, мол, нет:
Что Герцен — что кадет.

Теперь читателям уже хочется выяснить: кто это Герцен? Кстати, о нем писали в той же «Звезде», отмечали сто лет со дня рождения. И скоро всем становится ясно, кем был Герцен, и что кадеты теперь к нему примазываются. Басню Демьяна Бедного одобряют.

Но дней через десять Придворов поздравил с другим юбилеем. Нашел хорошую причину: пятидесятилетие царского манифеста об отмене крепостного права:

Так повелось, такая мода,
Что в этот предвесенний день
Все говорят, кому не лень,
О воле русского народа.

И говорят нам и поют!
Но... почему ж все эти годы
Чем больше «воли» нам дают,
Тем больше жаждем мы — свободы?!

Эти восемь строк вызвали еще более серьезные разговоры, пожелания, вопросы. Одному читателю обидно, что не сказано про землю. Другой предлагал добавить куплетец. Третий добавлял, как умел.

Нравились легкие присказки перед главной темой — хоть пой, хоть пляши:

Ни тьма, ни свет,
Ни да, ни нет,
Ни рыба, ни жаркое,
Ни дать ни взять, —
Ой, срам сказать,
Читатель, что такое!

Сочувственно слушали историю бедняка, который пришел за помощью к благотворителю, да «вылетел тормашкой за порог»:

Наказан был бедняк примерно,
Калош не снял он — верно! —
Да как их снять, когда под ними нет сапог?!

Так же сочувственно кивали головами, когда речь шла о батраке, который в ответ на жалобу: «Год... богу не молился», — слышит от хозяина: «А не подумал, Каин, что за тебя помолится хозяин?»

Но не просто с сочувствием, а сжимая кулаки, внимали стихам о Ленском расстреле:

...И бог злодейства не осудит!
— О братья! Проклят, проклят будет,
Кто этот страшный день забудет,
Кто эту кровь врагу простит!

Стихи читали, передавая друг другу номер газеты, заучивали и... собирали новые гроши на подписку.

В редакции всегда была точная информация о том, как читатель воспринимает газету, и заметили, что с появлением стихов и басен она сильно оживилась: «Интерес к ней возрос,

и тираж стал заметно повышаться». Так утверждал Полетаев — рабочий-путиловец, большевистский депутат III Думы и один из создателей газеты.

В редакции замечали и то, как изменился поэт. Бонч-Бруевич отлично помнил, что, когда в печати шло сражение за только что ушедшего Толстого, Придворов не написал по этому поводу ничего. В то время «Звезда» опубликовала статью Ленина. Ждали высказывания Владимира Ильича и теперь. Но теперь Придворов вмешался в бой, идущий вокруг Герцена, своей басней «Кукушка». Еще за два месяца до получения ленинской статьи газета очень удачно выступила с этой басней.

Дальше — больше. Что ни день, то придворовская удача, да такая острая, что влекла за собой конфискации и штрафы. Только успевай поворачиваться! Иной раз до позднего вечера не знали, будут ли деньги на выпуск номера, который должен был печататься ночью.

Здесь Придворов нашел, наконец, своего читателя, свою газету да и самого себя — в качестве Демьяна Бедного. Здесь он утерял данное ему при крещении имя. Как это произошло, известно совершенно точно.

Полетаев рассказывал, что Демьян стал частенько захаживать не только в редакцию, но почти каждый день на выпуск газеты в типографию. «Часто в час или два ночи в коридоре типографии раздавался раскатистый смех — мы сразу угадывали, что это идет Демьян Бедный; и, как только он появлялся перед нами, мы тотчас усаживали его за стол писать что-нибудь экспромтом или править корректуру...» То же самое рассказывал и постоянный участник большевистских изданий Михаил Степанович Ольминский. Он тоже вспоминал время, когда Придворов стал «посещать ночную редакцию (в типографии) чуть ли не ежедневно. Здесь в дружеских беседах, среди ночной газетной сутолоки проявилась в Е. Придворове потребность в боевых литературных выступлениях, и родился на свет баснописец Демьян Бедный».

Стоило ему начать подписываться псевдонимом, взятым из собственного раннего стихотворения, стоило кому-то воскликнуть: «Вон Демьян Бедный идет!» — как все, не сговариваясь, только так и начали называть его.

Придуманное самим, но нареченное товарищами имя удивительно пристало к поэту. Ему было любо это второе крещение, случившееся под грохот типографских машин, в кругу новых друзей, наборщиков, метранпажей. Именно с этим, подлинно для него важным крещением связана одна, еще более


Иллюстрация к басне «Кукушка». Художники Кукрыниксы.

значительная дата: в начале двенадцатого года он стал не только Демьяном Бедным, но и членом Российской социал-демократической партии большевиков.

Не слишком ли быстро и легко совершилось такое превращение?

Да, тем, кто раньше встречал Ефима Алексеевича Придворова, трудно было узнать его в Демьяне Бедном; и не потому, что наружность его за какой-нибудь год-другой изменилась. Это был все тот же кряжистый мужик, все такой же, как он утверждал, «красножий», хотя Питер порядком размыл его деревенский румянец. Но сколько стало силы, уверенности, веселой удали в нем самом, а главное — в том, что он теперь писал!

Исчезли унылые настроения, мотивы тоски и безысходности. Нет вялых строк, тусклых эпитетов, то и дело скользивших в ранних стихах. Он не говорит больше о «роке», что «дышит ужасом холодным», и о «порывах вялых и бесплодных» и уж тем более не считает эту свою новогоднюю элегию, которой он приветствовал в 1908 году Бонч-Бруевича, «антологией расейской»; не начинает стихов со строк, подобных «с тревогой жуткою привык встречать я день», не заканчивает

их жалобой, вроде ранее высказанной: «Запел бы — не поется! Заплакал бы — но слезы не текут»! Теперь, если он в начале стихотворения и говорит, как раньше, что хочет «обрести бальзам невысыхающим слезам, незакрывающимся ранам», то в конце прибегает к точно выраженному призыву:

Братья, не страшна ни злоба, ни измена,
Если в вас огонь отваги не потух:
Тот непобедим и не узнает плена,
Чей в тяжелый час не дрогнул гордый дух.

Поиск труден. Очень труден... Об этом частично можно судить по стихотворению без названия, с эпиграфом из Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь».

Бывает час: тоска щемящая
Сжимает сердце... Мозг — в жару...
Скорбит душа... рука дрожащая
Невольно тянется к перу.

Все то, над чем в часы томления
Изнемогала голова,
Пройдя горнило вдохновения,
Преображается в слова.

Исполненный красы пленительной,
И буйной мощи и огня,
Певучих слов поток стремительный
Переливается, звеня.

Как поле, рдеющее маками,
Как в блеске утреннем река,
Сверкает огненными знаками
Моя неровная строка.
. . . .
Но — угасает вдохновение,
Слабеет сердца тетива:
Смирив нестройных дум волнение,
Вступает трезвый ум в права,

Сомненье точит жала острые,
Души не радует ничто.
Впиваясь взором в строки пестрые,
Я говорю: «Не то, не то...»

И, убедясь в тоске мучительной,
Косноязычие кляня,
Что нет в строке моей медлительной
Ни мощи буйной, опьянительной,
Ни гордой страсти, ни огня,

Что мой напев — напев заученный,
Что слово нóвое — старо,
Я — обессиленный, измученный,
Бросаю в бешенстве перо!

...«Бросая в бешенстве перо», он искал нового слова? Новых мыслей и чувств, новых целей? Это не вопрос формы, а самая большая задача, какую только может поставить перед собой творческая личность. Это поиск пути не только поэтического, но и пути всей жизни: «...дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум...» Но скольких знаний, какого чутья, таланта и труда требуется для исполнения доброго пушкинского совета! Много ценностей пришлось переоценить молодому поэту в процессе поиска самого себя. Он разобрался и в том, что, идя за Мельшиным, не шел, как полагал, в фарватере некрасовской поэзии. Легальная «гражданская лирика» народовольцев — увы! — сместилась с некрасовского пути. Они были не наследниками, не продолжателями его, а всего лишь подражателями, эпигонами.

Вспоминались слова Петра Филипповича: «И что это у вас за юмористические выверты в самом пафосном стихе?..» Нет, это были не «выверты». Придворов искал струнку, звучание которой будет ясно народу, привыкшему мешать и смех и слезы. Муза одной скорби, сожаления, участия — не для него. Да если бы трудовой народ не умел смеяться, какая в нем была бы сила?

Возвращаясь потом к годам дружбы с Мельшиным, поэт сказал: «Влияние его на меня было громадно. Смерть его... перенес я как ни с чем не сравнимый в моей жизни удар. Однако только после его смерти я мог с большей независимостью продолжать свою эволюцию. Дав уже раньше значительный крен в сторону марксизма, в 1911 году я стал печататься в большевистской — славной памяти — «Звезде».

Эта «эволюция» действительно свершилась быстро. В конце десятого года написаны признания, навеянные Тютчевым, а в одиннадцатом уже такая дерзкая и боевитая басня о шпаге и топоре, что ее нигде не могли напечатать до самого семнадцатого года.

«Однажды в лавке антиквара... — рассказывает поэт, — шпажонка ржавая, убогая на вид, хвалилась пред другою шпагой своею честью и отвагой...» «Ввязался тут со шпагой в спор топор: «Эк, замолола! Опомнись, матушка. Ей-ей, ты мелешь вздор... Нашла хвалиться чем старуха: рядилась в золото, в шелка, походом шла на мужика»:

Смекай-ка, что я доложу, —
Тебе, дворянке, не в угоду:
Не только топора, что на колоду!
Ему крестьянский люд обязан всем добром,
И — коль на то пошло — скажу: лишь топором
Себе добудет он и счастье и свободу!

Можно позавидовать судьбе автора этих стихов. Ему двадцать семь лет: еще молодость и уже зрелость. Уже развита способность к опоэтизированию народной речи, видно владение хорошим русским словом. А главное — окончательно и безоговорочно сделан выбор: «Мои перепутья сходились к одной дороге. Идейная сумятица кончалась. В начале 1912 года я уже был Демьяном Бедным. С этого момента жизнь моя как струнка».

Эту струнку можно назвать литературно-большевистской работой, как и сказано в сохранившейся среди бумаг поэта записке.

Многие ценители изящной словесности находили, что он как бы играет лишь на одной струне. На то была воля поэта. Он отвечал на подобные укоры, перефразируя Рылеева: «Упрек мне в честь, не в укоризну». И продолжал свое.

Кому только не попадало от его уже заостренного в большевистской редакции пера! Готовятся выборы в новую Думу? Идет басня с названием-клеймом — «Притон»: после кровавой помещичьей расправы...

На тайном сходе у реки
Постановили: быть Афоне
За дело общее в столице ходоком,
Пред Думой хлопотать, — узнать, в каком законе
Дозволено все то, что ноне
Лихие вороги творят над мужиком?

Но вот Афоня вернулся из своего посольства, и народ его корит:

«Ай, горе наше! Ай, беда!
Ни совести в тебе, скотина, ни стыда! —
Тут с кулаками все к Афоне. —
Ты ж в Думу послан был, а ты попал куда?
Ведь ты же был, никак, балда,
В разбойничьем притоне!»

* * *

Святая истина была в словах толпы:
Ведь в Думе кто сидел? Помещики, попы.
А с мужиком у них была какая спайка?
Крест да нагайка!

Еще раз угостив Думу другой басней, автор «Звезды» не забудет «поздравить» своих читателей с голодной пасхой, снова покажет господскую «благотворительность». Он не обойдет ни одной злобы дня: посмеется над полицией, над кадетами, над Распутиным, даже над теми, кто конфискует «Звезду»!



Иллюстрация к басне «Бунтующие зайцы».

Художники Кукрыниксы.

За короткий срок здесь было напечатано пятьдесят восемь его басен и стихотворений. И однажды он узнал, что его ценят не только фабричные читатели. В одном из писем ЦК в редакцию из-за границы запрашивали: «Кто это у вас Демьян Бедный? Очень талантливо пишет. Не может ли на ликвидаторов басню написать? Хорошо бы».

Такая басня была написана. Это знаменитые в свое время «Кашевары». Поэт начисто открещивался от затесавшихся в рабочую артель «пареньков охочих (не дюже-то рабочих)». Кому было непонятно, что, когда артельный «котел уж был на огне», эти помощнички осрамились: все «тары-бары, да растабары — мы тоже кашевары!». «Что там сварилося — бог весть! Артели ж довелося есть». А «вышла их еда — еще бы ничего — бурда! А то как есть — отрава!» — описал поэт беспринципную политическую кухню да под конец вздохнул с полной безнадежностью: «Ох, ликвидаторы! Что долго говорить! Нам с вами каши не сварить».

Рабочий читатель смеялся и понимал, что лучше держаться подальше от этих «кашеваров». Меньшевики-ликвидаторы обиделись: их газета требовала отменить «кашеварную авто-

номию писателей из «Звезды». Но то ли их ждало еще впереди, в новой большевистской газете «Правда»?!

В ее первом номере Демьяна Бедного не было. Снова «Е. Придворов» обращался к читателям со стихотворением «Полна страданий наших чаша». Но потом он стал появляться все реже и реже, пока совсем не исчез. А Демьян Бедный стал выступать через день-другой со своими баснями, на свои темы.

Какие это были темы?

Кадетская «Речь» сообщила, что «предвыборный доклад члена Государственной думы Пуришкевича в Харькове закончился целым рядом карманных краж». Казалось бы, к чему тут привязаться? Писать о ворах? Нет, зачем... «Герой»-то ведь здесь монархист и черносотенец, которого Ленин характеризовал: «дикий помещик и старый держиморда». И Демьян утешил пострадавших от воришек: «Урон, положим, небольшой — уйти домой с пустым карманом»... поскольку они ушли «с пустой душой».

Бывший председатель Думы Гучков после провала в ходе выборов в Москве обмолвился: «Нет, не доволен я Москвой», у Демьяна готовы комментарии. На сей раз «деда Ермила»:

Одна вам всем цена и мера...
Взяла бы вас холера!
На кой бы вы нам дались ляд,
Когда бы довелось нам выбирать свободно,
Кого самим угодно,
А не кого велят?

А вот как некий буржуазный критик по фамилии Коробка вел диалог о предвыборном положении со своей соратницей Кусковой «при помощи» Демьяна. Она говорит:

«Нет лучше положенья
Коленно-локтевого!»

То слыша, «Речь» приходит
В восторг и умиленье:
«Идите ж к нам! Наш лозунг—
Коленопреклоненье!»

Когда же Коробка осмелился выступить против большевиков с обвинением в демагогии, Демьян мимоходом аттестовал его всего четырьмя строчками:

Про «демагогию» слова,
И — к удивлению — не робко!
Я думал: пишет голова,
Ан оказалося — Коробка!

Кадетам в басне «Полкан» брошено замечание не в бровь, а в глаз: «Молчать бы, коль зубов уж нет!», а воинствующим черносотенцам из «Союза русского народа» сказано от имени мужичка дяди Афанасия вот что:

Вы что же думали: мужик совсем вахлак?
   Пусть мы сморкаемся в кулак,
Пусть по складам (и то не все) читаем,
   Все ж кое-что и мы смекаем.
Чем бреднями морочить свет
Да о жидах плести нам небылицы,
   Вы лучше б дали нам ответ
   Насчет землицы!

Не жаловал Демьян Бедный и своих, если им случалось заблудиться. Он объяснил темным рабочим, которых удавалось привлечь к союзу черной сотни, что, собственно, это означает: «Вставлял Тимошка стекла, а нынче — будет бить».

Приказчикам, вошедшим в контакт со своими хозяевами для выборов в IV Думу, Демьян заявил без сожаления: «Когда «отцы» почнут вас есть живьем, скажу по совести: туда вам и дорога!»

Бульварную газетенку «Копейка» пытаются распространять среди рабочих. Ее издательство предложило своим разносчикам не продавать «Правды», которая, кстати, вдвое дороже. Но об истинной цене «Копейки» очень понятно сказано в стихах Демьяна Бедного:

Нельзя сказать, в каком году
Так повелось, но так ведется,
Что Кривде с Правдой не живется,
Что Кривда с Правдой не в ладу,
И не одна она, злодейка:
Союзник верный ей Копейка.
. . . .
Они вдвоем всегда, везде.
С тех пор как создал черт Копейку,
Копейка с Правдой во вражде!

Это было опубликовано в мае 1912 года. Заметим, что Ленин не обошел вниманием «Копейку» в одной из июньских статей. После этого Демьян несколько позже еще раз размахнулся и ударил по газетенке крепче прежнего. Использовал то, что владельцы желтого листка не брезговали ничем: наживались на сомнительных рекламах, печатали в виде приложений «сенсационные» романы. Вот на чем держались хозяева «Копейки», по характеристике Демьяна:

Билет
Варшавской лотереи,
Жилет,
Лакейских две ливреи,
Чулки,
Бумажные ботинки,
Брелки,
Секретные картинки,
«Эффект» —
Мазь для особых целей,
Комплект
Резиновых изделий,
Одна
Продажная идейка.
Цена
За весь товар — копейка!

Как же было рабочему человеку не потешиться над этим «содержанием номера», не решить, куда должны идти его трудовые копейки? Пусть лучше две, да на «Правду».

Доступный широкой массе простецкий говор Демьяна Бедного мог внушить представление, что поэту вообще свойствен именно такой язык. Однако в напечатанных в той же «Звезде» статьях Придворова о литературных вопросах был виден широко образованный, отлично владеющий аналитическим разбором критик. Его заметки «Их лозунг» начинаются размышлением:

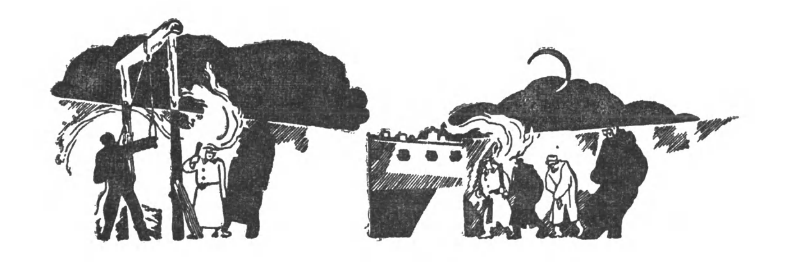
«Всякий раз, когда в нашем благословенном отечестве жизнь становится невмоготу, когда миазмами разложения отравлен воздух и нечем дышать — в пору наибольшего единения печального бесправия с диким произволом, — постоянно и неизменно, с какой-то роковой неизбежностью, снова и снова в русской литературе выдвигается — под тем или иным флагом — один и тот же лозунг: «Искусство для искусства».

Наряду с серьезным анализом символизма здесь есть и сатирическая издевка. Писатель Андрей Белый получил звание «пресловутого барда и сумбурного теоретика российского чахлого символизма». Поэтесса А. Столица, воспевающая любовь и «молодые бедра», названа... «соальманашицей» Белого. Но бывали выступления, открывающие никому не знакомую сторону жизни и чувств боевого сатирика. В годовщину со дня смерти Якубовича-Мельшина в «Звезде» появилась статья «Певец борьбы и гнева», подписанная одними только инициалами «Е. П.». Читатели Демьяна Бедного никак не могли бы узнать его по тексту, написанному будто бы совсем непохожим на него человеком. «...мне выпало редкое счастье близко знать поэта в последние годы его жизни, — писал

Демьян Бедный о Мельшине, — я все же в настоящее время не нахожу в себе достаточного душевного спокойствия, чтобы поделиться с читателем хоть частью из того, что хранят мои воспоминания о Петре Филипповиче, ибо такова была сила влияния этой светлой и обаятельной личности на всех, соприкасавшихся с ней, что мною, как и всяким, кому был лично близок поэт, его преждевременная смерть была принята как личное тяжкое горе, как личная незаменимая утрата. Тяжело говорить о П. Ф. как об ушедшем. Уже год, как не стало его, но как-то ни душа, ни сердце не хотят верить этому, не дают свыкнуться с мыслью, что дорогого, любимого человека нет, что не придется уже никогда увидеть его кроткую добрую улыбку, услышать его задушевный, ласкающий голос».

Значительно позже Демьян снова написал, что любил Мельшина «беззаветно, а вот суду его всецело не поддавался». Не подчинялся еще до того, как сблизился с большевиками, сам стал большевиком. С тех же пор как это произошло, главная работа поэта осуществлялась в таком жанре, из-за которого враги Демьяна Бедного пытались вывести его «за рамки поэзии», как это когда-то делалось по отношению к его учителю — Некрасову.

Такие попытки не могли задеть твердо стоящего на своих позициях человека, который уже имел своего читателя. А круг его постоянных читателей и почитателей продолжал шириться.





Часть II. ПИТЕР. 1912—1918

Глава I

НОЧЬ НА ИВАНОВСКОЙ

Ночь. Сон в каменных колодцах городских домов. Где-то на круглосменных окраинных заводах, на вокзалах и в порту работают. Где-то в центре столицы и ее загородных ресторанах еще веселятся. Но весь Петербург спит.

Рано утром, когда из пекарен потянет ароматом свежего хлеба, а лавина рабочего люда двинется к фабричным воротам, и задолго до того, как чиновники пойдут в «присутствия», наступит какой-то промежуточный час: окончился труд работавших ночью и не началась страда для вступающих в новую смену.

Это особый, затишный час. И есть в городе, пожалуй, только одно место, где он не чувствуется, а если присмотреться, то окажется даже, что он едва ли не самый напряженный. Здесь притаились какие-то люди. Одни засели за грудой ящиков. Другие в подворотне. Третьи не спеша покуривают в подъезде черного хода. Несколько человек пристроилось у лаза на другой двор — ждут.

Поначалу этих людей и не заметишь — особенно во мраке осенней или зимней поры. В белые ночи занимать незаметные позиции труднее. Но они изобретательны, эти люди. Кто они? Народ тут разный. Окраинные жители и близкие соседи колодца-двора. Не друзья и даже не знакомые. Пожилые усачи

и мальчишки. Странный, часто меняющийся, но постоянно существующий отряд.

Никто ими не командует. Они не выбирают старших. Но, получив известный им сигнал, действуют с неизменной ловкостью. Быстро. Согласованно. Каждая тень, схватив свою долю, ускользает лазом, подворотней, сквозным черным ходом.

Трофеи, вынесенные ночным караулом с Ивановской улицы, постепенно тают. Прежде всего они оказываются в ближних чайных, на Садовой, где отдыхают булочники, на Гороховой — в подвальчике «Цветок», облюбованном кровельщиками, веревочниками, обойщиками. Чуть позже пакеты, вынесенные с Ивановской, дробясь на пути в небольшие пачки, доставляются к заводским и фабричным воротам. Попадают и в гавань и к вокзалам.

Около шести часов утра по дороге на смену с некоторыми рабочими регулярно происходят такие чудеса: покидают дома худыми; на пути пополнеют и минуют проходные калитки, будучи несколько в «теле»... Но к шести часам пятидесяти минутам, когда запускаются станки, становятся к ним снова похудевшими.

С вокзалов же пачки доставленного сюда груза отбывают на Москву, а оттуда во все концы Российской империи.

В Москве машинист питерского поезда покурит в компании рабочих, заканчивающих строительство Казанского вокзала, и те пойдут на работу под окрики жандармов: «Господа пассажиры, посторонитесь, дайте пройти малярам!» А в ведрах с мелом и алебастром лежит пакетик. Такой же пакетик пронесут и на строящийся Киевский вокзал. Другой машинист передаст кое-что товарищам в Туле, Киеве, Харькове, городах Донецкого бассейна. Жандармы и не подозревают, что посылки, которые они караулят, чтобы конфисковать у почтовых вагонов, уходят у них из-под рук. А им бы поискать на кухне московской гостиницы «Боярский двор», между громадных плит, в чаду кипящих котлов; по темным, грязным уборным тульских оружейных заводов; среди дорогих кружев в корзинках харьковских модисток; у тех новгородцев, что постоянно получают из Питера посылки с «посудой»; под шахтерскими рубахами и шапками, в засмоленных карманах, в голенищах сапог.

Пошуровать бы им в медвежьих углах Урала и Сибири. Там, где на нарах, вокруг ведерных чайников опоминаются от удушающей жары сталелитейщики. Наверняка жандармы нашли бы посылочку с Ивановской в Горно-Зерентуйском ка-

торжном централе: здесь она вызывает особые чувства, даже страсти, а иногда и бурные споры.

На благоустроенном вокзале большого европейского города русскую посылочку перебросят из одного почтового вагона в другой, и она дойдет по адресу: Краков, улица Звеженец или Любомирскего (а может, и Поронино, в деревню Белый Дунаец), господину Ульянову. И политический эмигрант Ульянов с нетерпением надорвет бандероль, чтобы скорей прочитать все то, что напечатано на в общем-то невзрачном листке дешевой серо-желтой бумаги. В верхнем левом углу ее оттиснуто либо «Правда», либо «Путь Правды», а может, «Северная Правда» или еще какое-нибудь из множества названий этой газеты.

Среди заметок рабочих Ульянов обязательно встретит и собственные статьи. Они подписаны псевдонимом «Н. Ленин», «В. Ильин», просто буквами «В. И.», а другой раз случайными литерами, непохожими ни на один из его обычных инициалов, например буквой «Ф».

Знал, что говорил один из тех, кто делал «Правду», когда, попыхивая вечно дымящейся трубочкой, сказал: «У нашей газеты два основных сотрудника: Ленин и рабочий корреспондент».

Этим «основным сотрудникам» человек с трубочкой хорошо известен: Ленину с тех пор, как, бежав из ссылки, появился под именем Михаила Медведева в Швейцарии. Тогда он принес свою заметку в «Искру». В России многие его знали как минского крестьянина Алексея Диомидовича. На самом же деле он вовсе не Медведев и не Диомидович, а уроженец Карелии, из семьи приписанных к чугуноплавильному заводу крестьян Еремеевых. И зовут его Константин Степанович. Только почти для всех независимо от возраста он просто дядя Костя.

Дядя Костя ведет отдел рабочих писем. Он ночной редактор. Он занят распространением, организационными делами. Типография тоже на нем. И поэтому его трубка денно и нощно дымит в скромной квартире четвертого этажа на Ивановской.

Много позже эта трубка окажется в зубах того самого «Крокодила», которого благословил на работу со знаменитыми вилами и нарек этим именем все тот же дядя Костя.

Но это много позже.

А пока дела на Ивановской обстоят так: официально тут печатают легальную газету... Но что из того, что она легальна? Пойди достань! Из-за этой официально дозволенной газеты

в шахтерских поселках ходят по домам с обысками; требуют прекратить подписку под угрозой сгноить в тюрьме. На уральских заводах штрафуют, а на Миньярском сталеплавильном не только вывешен приказ о том, что «чтение газет в заводе, безусловно, воспрещается», но и доведена до сведения угроза: если рабочие нарушат приказ, то их... повесят!

Ну, а в самом Петербурге дело до угрозы повешения не доходит. Зачем так волноваться в столице? На то здесь власть, комитет по делам печати. Чиновникам комитета вообще управлять не трудно, а тем паче с помощью полиции. Система очень проста. Каждое утро в комитете получают обязательный экземпляр нового номера и по своему усмотрению налагают арест на весь тираж или позволяют распространять.

Но пока экземпляр отнесут комитетчикам на Моховую да вернутся оттуда, на Ивановской ждать не станут. Не зря люди, работающие по двенадцать часов, жертвуют отдыхом и сном. Зато: «Утром, бывало, читаешь сообщение о конфискации номера, и одновременно видишь его в руках рабочих. И для наших товарищей было делом чести доставить на завод именно конфискованный номер», — говорил токарь завода «Айваз» Михаил Иванович Калинин. А поэт «Правды» Демьян Бедный по-своему вспоминал это время:

Рабочие ждут свою «Правду» с рассвету,
А ее все нету и нету.
Наконец, получат. До чего ж хороша!
Иной обомлеет, взглянув на газету, —
В чем только держится душа!
Но помереть не давали.
По копейкам «правдинский фонд» основали.

Перемена названия газеты не собьет с толку читателей. Узнавали по верстке, рабочим корреспонденциям, басням: «Вот она, наша газета! Демьян тут».

И редакторы и читатели «Правды» знают, что в комитете часто идут против собственных законов: присылают полицию арестовать номер прямо у типографских станков, до получения обязательного экземпляра, до перехода тиража в экспедицию. Но и в этом случае удается спасти немало.

Правдисты шутят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» Газета печатается в той же типографии Березина, где черносотенная «Земщина», меньшевистский, ликвидаторский «Луч», либерально-буржуазный радикальствующий «День». Хорошие соседи! Близкие: клетушки ночных редакций, называемые «телячьими загонами», или чаще одним словом «ночная», размещаются «впритирку» друг к другу. Рядом с двумя

комнатками «Правды» — ночная «Луча». Напротив — «Земщины». Этажом выше — «Дня». А в типографии вообще не всякий разберет, где что печатается. И наборщики, зная практику обращения с любимой газетой, прячут «Правду» среди пачек с тиражами благонадежной печати, под те же машины «американки», с которых они сходят.

Нельзя при этом не сознаться, что большевики на редкость неблагодарный народ. Сами же пользуются помещениями соседей, забираясь даже в их экспедиции... и тут же, добра не помня, аттестуют их так, как это сделал Демьян Бедный в стихотворении «Соседка»:

Бедняжка «Земщина» в горячечном припадке!
   Трясет ее, как в лихорадке,
И невесть что плетет, сердечная, в жару:
   «Городовой!.. Спаси!.. Помру!..
Прибегни, брат, скорей к какому-либо средству,
   Чтоб не было, когда я вру,
Со мною «Правды» по соседству!»

Однако далеко не всегда большевики оказываются такими неблагодарными. Тот же поэт, который унизил «соседку», восхвалил в стихах мальчишек. Обыкновенных разносчиков, что носятся по городу, зарабатывая тычки от городовых. «Под глазом у него синяк. За «Правду», — заканчивается благодарственное слово поэта разносчикам.

Школу распространения «Правды» они проходят элементарно. Забежит какой-нибудь паренек в чайную и крикнет:

— А вот «Вечернее время»!

Ему укажут на дверь:

— Проваливай. Таких газет не читаем... Ты бы «Правду» нам принес!

И ребята начинали не только приносить «Правду», но даже выполнять особые заказы.

— Слушай, друг! Завтра будет статья Ленина. Прихвати побольше, а? Сколько можешь взять?

— Двести?

— Чудак. Мало! Восемьсот не потянешь?

— Денег нету, если только дядя Костя поверит?..

А дядя Костя верит. Он стоит, возвышаясь как монумент, среди тощих, обтрепанных шкетиков в форменных фуражках «Вечернего времени» и той же «Биржевки» и не спеша ведет деловой разговор. Без тени иронии обращается к каждому по имени-отчеству, потому что в каждом видит личность. И личность ценную: друга газеты. Он отпустит в долг. Предупредит

о дополнительных трудностях. И если скажет: мол, знаю, не подведешь! — большей награды разносчику не требуется.

Многие ребята облечены доверием дяди Кости еще со времен «Звезды», когда Еремеев, будучи ее официальным издателем, сидел со всем своим штатом в полуподвальчике. Штат: конторщица, переписчик, экспедитор и кассир Анна Никифорова, да та же стая воробышков во фланелевых шинелях тянули все распространение.

Как изменились дела за короткий срок! После Пражской конференции, когда было решено создать новую рабочую газету, Полетаев встретился в Лейпциге с Лениным. Дядя Костя и Николай Гурьевич взялись за нелегкое: надо было подобрать будущих сотрудников, сочувствующих большевикам наборщиков, обеспечить издание бумагой, подходящей типографией, удобочитаемыми шрифтами. А кроме того, деньги, деньги и опять деньги...

И вот — одолели. С помощью массовых сборов среди рабочих, особенно выросших после трагических событий на Ленских золотых приисках, фонд новой газеты сложился. После объявления в «Звезде» о выходе новой газеты приток одних только рабочих копеек увеличился втрое, вырос в большие тысячи. Дяде Косте тогда пришлось отбиваться от пришедших в негодование ликвидаторов: они выступили в меньшевистской газете «Живое дело» с протестом и требованием, чтобы полученные «Звездой» деньги поступали и на издание новой меньшевистской «бесфракционной» рабочей газеты. Еремеев отвел эти претензии в статье, в которой говорил, что рабочие сами знают, какая им нужна газета и куда посылать собранные на нее деньги.

Теперь все это позади и трубка дяди Кости давно дымит на Ивановской поистине «во всю ивановскую». Помещение не ахти какое. Трехкомнатная квартирка под крышей (а крыша течет: домовладелец нарочно не чинит, выживает в угоду градоначальнику и полиции). Но тут все же неизмеримо лучше, чем было первоначально на Николаевской или Ямской. А как разрослась редакция! Увы, старого «основного штата» — Ани Никифоровой — здесь нет. Арестована. Но зато теперь есть издатель, редакторы, заведующий конторой. И все это не в одном лице. Есть и секретарь редакции. Пишет под псевдонимом Н. Симбирский. Она же «товарищ Наташа», а в иных городах известна как «Вера» или «Екатерина». Это Конкордия Николаевна Самойлова. Никто не минует ее секретарской комнатки, внимательного взгляда ее карих, под тяжелыми веками глаз. Стол ее завален материалами, которые издали могут

показаться просто мусором; серая оберточная бумага заполнена каракулями малограмотных корреспондентов. Сами же они постоянно толпятся вокруг этого стола. Здесь не только авторы. Но еще и конфликтующие, жалобщики, просто нуждающиеся в добром совете, представители больничных касс, профсоюзов, наконец, штрейкбрехеры, которых рабочие бойкотируют беспощадно.

Завели порядок: пусть публично, на страницах «Правды» попросят прощения, тогда будем разговаривать...

И вот стоит такой перед Конкордией Николаевной, чуть ли не со слезами на глазах:

— Не откажите... Христа ради!

Секретарь редакции поднимается, идет в соседнюю комнату, где на гвозде «висят все штреки», ждут своей очереди.

— Снимите письмо Петрова, вторую неделю висит! — И, возвращаясь, обещает твердо: — Завтра, обязательно завтра! Напечатаем...

Самойлова так часто вступается за просителей, что получает прозвище: «Штрейкбрехерская матушка», а дядя Костя улыбается: «Возится с каждым автором, как заботливая нянька!» Обязательно спросит: «Подумай хорошенько, почему я так выправила?» Дядя Костя тоже правит материал и возится с авторами. У него просто только другая манера: спокойная, даже как будто медлительная. О темпе его работы можно судить лишь по стопкам материалов. Налево отложены корреспонденции нужные, направо — ненужные. Правка вершится неизменным синим карандашом. Если автор случится рядом, дядя Костя ни о чем, подобно Самойловой, не спросит, а в ответ на просьбы не урезать «до бесчувствия» ответит: «Ничего, все, что нужно, осталось». И баста. Иногда добавит: «Купи практический курс правописания Некрасова».

И Еремееву тоже приходится принимать «устных авторов». «Рассказать можем, а написать не знаем как!» — извиняются они.

— А чего ж тут не знать? Вы только послушайте, ваша заметка уже готова, — отвечает дядя Костя своим многочисленным «племянникам».

Тем же делом плюс корректурой занята Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Рабочих писем такая тьма, что они втроем еле управляются. Анна Ильинична иногда даже берет на подмогу приемного сына — Гору. Он неплохо учится и уже в состоянии обнаруживать грамматические ошибки, считывать корректуру.

Но самое пекло начинается, когда дело переходит в ноч-

ную редакцию. Тогда дядя Костя, захватив чайник и колбасы с хлебом, перебирается в дом напротив, на пятый этаж. Сюда мчатся опоздавшие со срочным материалом:

— У золотосеребряников забастовка! Дайте хоть десять строк!

Но чайник почти пуст, да и колбасы уже нету. Это лучше всяких часов показывает время.

— Поздно, — говорит Еремеев.

— Да как же «поздно»? Сорвется забастовка!

На это следуют две глубокие затяжки, и из-за дымовой завесы раздается:

— Напечатаем.

Взрыв ругани возле сверстанных полос оставляет дядю Костю невозмутимым. Он хорошо знает экспансивность своего товарища по «Звезде», главного хозяина ночной редакции, — Степана Степановича Данилова, которого иначе как Стакан Стаканычем не величают.

Здесь много людей молодых и веселых, а потому прозвища в особом ходу. Обычно они выражают симпатии. Студент-политехник Николай Лебедев отпустил бородку. Готово: стал Бородой. Он ведет отдел провинциальной хроники, которую обычно набирают мелким шрифтом — петитом. И когда Борода в газете помещает пламенный призыв: «Читайте петит!», товарищи уже иначе как Петитом его не называют.

Есть прозвища не случайные, более сложного происхождения. Они характеризуют не только человека, но и обстановку, в которой печатается газета. Например, «Марксист» поневоле. Откуда взялся такой?

«Правде» добыть бумагу нелегко. Купить много — денег нет. В кредит не дадут: газета всегда под угрозой закрытия. И вдруг находится «благодетель». Поставляет ротационную бумагу мелкими партиями. Получает деньги также мелочами, да еще подолгу высиживает в ожидании их на подоконнике правдинской конторы. Это и есть «Марксист» поневоле. Логика его поведения очень проста. Работает в типографии, жалованье пустяковое, но немного бумаги купить может. Кроме «Правды», никто так мало не возьмет. Но прозвище заслужено неизмеримо большей помощью. Чтобы оценить ее, нужно посмотреть, как вообще идет дело в ночной.

Пока работа течет в «телячьих загонах» и по наборным — все тихо. Но уже в стереотипной начинается своеобразная «классовая борьба»: чей стереотип раньше готов и раньше уйдет в ротационку? Меньшевик Дан из «Луча» лезет на Глинку-Янчевского, редактора «Земщины», тот ругает «жи-

дами» всех из «Дня», а «дневцы» кроют и «Луч» и «Земщину». Начинается «подмазка» рублевками стереотипщиков, ночных редакторов. Все эти страсти не касаются одной только «Правды». Вот удивительный случай, когда она в стороне от «классовой борьбы». Беднейшая из всех печатающихся тут газет, «Правда» все же первой выскакивает из типографии. Для нее всегда хватает краски, электрического тока. Все как по маслу...

«В чем дело? — ломают себе головы сварливые соседи. — Преданностью одних наборщиков всех чудес не объяснить. Кто покровитель большевистской газеты?» Начинают подозревать, что владелец типографии, зять генерала, — тайный революционер. Но все обстоит гораздо проще. Чудеса творит некий скромный Николай Терентьевич, который служит у владельца типографии заведующим и которого не зря правдисты причислили к своему лагерю шутливым посвящением в «марксисты». Поскольку Николай Терентьевич достает бумагу, ему невыгодно, чтобы конфискация пришла на какой-нибудь пятнадцатой тысяче. Прекратят печатание — меньше купят! И он всеми правдами и неправдами ускоряет отливку стереотипов, при слабом напряжении электрического тока пускает его в первую очередь для машин «Правды». Когда, наконец, завистники смекают, в чем секрет, разыгрываются сцены, описанные после одним из правдистов:

«Я помню, как Дан брызгал слюной на тишайшего Николая Терентьевича, как издатель бойкого еженедельника бросился на него с поленом в руках, обвиняя в нарочитой задержке печатания его журнала, в то время, когда машина «Правды» весело гудела. Помню, как нервно передернулись мускулы на лице Николая Терентьевича при появлении инспектора по делам печати Бутковского: «А вдруг он найдет под кроватью у сторожа или под кучей сваленных обрывков бумаги несколько лишних тысяч «Правды», подлежащих уничтожению?»

...Долго правдисты будут вспоминать «историческую» роль Николая Терентьевича, который помогает из-за материальной заинтересованности, но помогает добросовестно, прилежно; не прикидывается, что его занимает сама газета. Есть тут и такие, что называют себя марксистами, но являются меньшевиками. Есть случайные сотрудники — людей мало, приходится принимать всякую помощь. Никто еще не знает того, что есть и подосланные охранкой провокаторы.

А работа кипит... «Что было шуму и веселого крику! — вспоминал Демьян Бедный. — Носились мы по типографии туда и сюда. Молодые года! И опять же боевое возбуждение:

...стереотип отливали, чуть не танцевали... Плевать, что шпики на крыльце! «Правда» на свинце! Прикасаясь к ней, что к ребенку, положили ее в ротационку...»

Воздух накаляется уже перед сдачей в стереотип.

— Кто свободен — на заголовок! Наберите две колонки «Рабочее движение» древним двадцать восьмым!

— Тискай скорей полосы и тащи корректорам!

— Исправлены ли ошибки на первой полосе?

— Все полосы сдавать!! — уже не кричит — орет метранпаж, первый помощник выпускающего.

Стакан Стаканыч, которого так часто «подводит» дядя Костя, постоянно либо кипятится, либо сыплет шуточками и остротами. Если же он сойдется с Демьяном Бедным, бас которого рокочет в ночной, легко перекрывая все другие голоса и шумы, да на беду подвернется еще и весельчак Дмитрий Иванович Бразуль, то тут уж у «необстрелянных» наборщиков могут и литеры из рук повалиться. Но работники оба золотые. Их тут называют «и жнец, и швец, и на дуде игрец». Дмитрий Иванович не только выпускает, правит, пишет, корректирует. У него удивительное свойство работать бессменно. Не спавши. Да еще к тому, будучи обладателем двойной дворянской фамилии (хотя в товарищеском кругу ему хватает и одной), его высокоблагородие Бразуль-Брушковский ходит в комитет по делам печати вместе с официальными издателями: помогает, когда приходится менять название газеты и получать новое свидетельство. После, информируя редакцию о расходах на взятки чиновникам, заверяет, что «такса» уже упрочилась и есть по этому случаю такой анекдот...

Если анекдот ведется на украинском материале, затем что Дмитрий Иванович истый «хохол», коммерцию поддержит Демьян Бедный. Он любит побалакать на привычном с детства языке и подсыпать в разговор своей соли.

Но если Демьян, нахмурившись, правит корректуру, мучается заменой кажущегося ему не подходящим или слишком резким слова; если он срочно тут же готовит экспромт на только вынырнувшую тему, без церемоний шуганет любого «общительного черта», хотя, впрочем, эти «черти» и сами отлично знают, когда и что можно, а когда и нельзя. Есть моменты, когда с уст самого завзятого балагура не сорвется лишнего слова.

Напряженные часы знакомы всем работникам ночной.

По ночам по-прежнему, как и в «Звезде», возникает непременный Николай Гурьевич Полетаев. Иногда он не приходит, а врывается. И тогда всем ясно, что с ним новая ленинская

статья. Случается, они приходят в адрес Бонч-Бруевича, а его дочь Леля относит рукопись в своей муфточке на дом Полетаеву. Полиция не следит за прогулками ребенка.

Приходят Батурин, Савельев, .Самойлов, муж Конкордии Николаевны, они как бы сменяют здесь друг друга. Он насмешливо называет рукописи, с которыми возится жена, «палимпсестами». А сам мастер по части передовиц.

Является и Михаил Степанович Ольминский — ветеран, участник первых большевистских изданий. Теперь он постоянный член редакции «Правды». По-настоящему образованных людей тут не так уж много. А Ольминский — исследователь русской литературы. Знающий экономист. Эрудиция его огромна. Талант публициста отшлифован. Даже внешне он производит такое впечатление одной степенностью манер и белоснежными сединами, что сын Анны Ильиничны, к общей потехе, принял его за... Карла Маркса!

...Вот Ольминский, чуть повышая голос, чтобы победить машинный гул, дает советы молодому литератору Сосновскому. С ними рядом и все другие, у кого нашлась минутка. Прислушаться стоит. Дальше — больше. Все ждут свежих гранок, безжалостно вычеркивают на еще влажной бумаге спорные и рискованные куски:

Для цензуры — искушенье,
Лучшей нет приманки,
Как «рабочего движенья»
Роковые гранки.
. . . .
Пишем, смотрим в оба глаза:
Не влететь бы снова...
Придерутся к «мысли», к «тону»,
К запятой, кавычке...
Не прихлопнут «по закону»,
Трахнут — «по привычке»!

Чем ближе к утру, тем больше разговоров о цензурных соображениях. Эта своя, домашняя цензура бывает построже комитетской и уж, конечно, много умнее.

Наконец, на большой, пропитанный типографской краской стол ложится газетная полоса. Голова к голове перечитывают первый оттиск: не напороться бы на статью уголовного уложения? Короткое совещание. Иногда небольшой спор. И в уже сверстанном материале опять вытравляют слова, фразы. Из-за более серьезных вопросов споры в типографии не ведутся. Это происходит в редакции, днем. А расхождения есть немалые. Ленин пишет, убеждая действовать резче и определеннее в борьбе с ликвидаторами. Ольминский утверждает, что «Прав-

да» должна быть «до крайности осторожной» вообще. Есть и сторонники крайнего риска. Чем больше конфискаций, тем больше растет революционное настроение!

Но все это в узком редакционном кругу. А пока газета делается и сделана. Полемика не касается обязательных разделов: Рабочей хроники, На фабриках и заводах, Стачки, того же Петита. Они идут с бесспорной необходимостью. Очередной номер готов... Теперь остается только ждать полицию.

Дядя Костя спускается во двор «посмотреть обстановочку». Путиловцы, лесснеровцы, айвазовцы да все фабрично-заводские на месте. Мальчишки тоже. Порядок. Можно начать раздачу первых экземпляров.

Если же «обстановочка» скверная и полиция уже на подходе, дядя Костя только буркнет себе в усы: «Вот те клюква!» И, поднявшись наверх, даст команду растаскивать номера по укромным местам, по всем «соседкам», на чердак, под лестницу, прятать в макулатуру — как придется...

Так проходит на Ивановской еще одна ночь.

Глава II

ЗАДОЛГО ДО ВСТРЕЧИ

Демьян Бедный стал богат друзьями. Холодный, еще недавно чужой город изменился для него. Ведь «петербургскими» были только господа, а большевики, рабочие — просто «питерскими»... Мало, что днем и ночью Демьян был нужен в редакции и типографии. Мало, что он многих там полюбил и сошелся на всю жизнь, как с дядей Костей или Полетаевым. Нет, став Бедным, он решительно сделался много богаче; круг людей, которых он узнал у Полетаева, Бонч-Бруевичей, был для него поистине открытием земли обетованной.

Здесь он встретился впервые со Свердловым, Воровским, Ногиным, Эссен... Они собирались обычно по воскресеньям. Правдисты: Ольминский, Петровский, Савельев, Батурин — тоже постоянно бывали здесь. Если же являлись непрошеные «гости», немедленно ставилась хорошо отработанная сцена невинного любительского музицирования: разыгрывать непринужденное веселье им было не нужно, а музыка являлась отличной рамкой. Лидия Александровна Фотиева садилась к роялю, ее муж брался за скрипку. Ни крамолой, ни подпольной литературой здесь и не пахло. Но полиция все же жаловала сюда часто. Обыски в квартире Бонч-Бруевичей были нормой жизни.

Квартиру на Херсонской, 5 можно увидеть и сейчас такой же, какой она была более пятидесяти лет назад. Точность обстановки помогла сохранить и восстановить дочь Веры Михайловны и Владимира Дмитриевича — Елена Владимировна Бонч-Бруевич. Сейчас здесь музей.

А в двенадцатом году, когда на столе шумел самовар и вокруг него сидели друзья, разгорались споры, вспыхивал хохот, это был один из центров большой, настоящей жизни, неведомой царскому, чиновному Петербургу.

Демьян Бедный не чувствовал себя новичком рядом с новыми друзьями, хотя все они превосходили его опытом. Был равным среди равных. Но он был единственным теперь уже в своей среде человеком, который не только не знал, но даже ни разу не видел Ленина.

Каждый где-то, когда-то успел познакомиться, поработать с ним. Бонч-Бруевич его помнил еще на первом выступлении против народников в Москве, в 1894 году. А после, в Женеве, у них было даже совместное издательство. И Вера Михайловна хорошо знала его с того же времени. Мария Моисеевна Эссен (та самая, о которой Демьян узнал от Бонч-Бруевичей еще в первый свой визит, в связи с ее работой на тифе и холере) набирала «Искру». Услышав когда-то об этой женщине, он представил себе сильную, мощную, этакую бабу, которая все может. Но это оказалась никакая не «баба», а прелестная женщина с крупными кудрями русых волос, веселыми глазами, ямочками на щеках. И теперь он знал ее, и знал довольно много о ней. Его, не склонного удивляться мужеству, потрясала сила воли этой подпольщицы. Вынужденная быть элегантной по условиям конспирации, она могла получить на воле «почтительное» прозвище полиции Шикарная, а в тюремном карцере виснуть долгую ночь на оконной решетке, отбиваясь ногами от крыс да еще приговаривая: «Нет, крысам я себя на съедение не отдам!»

Она перенесла дорогу в ссылку бок о бок с уголовниками, прошла осенний пеший путь этапом; могла бежать в санях с двойным дном, пролежала в них целые сутки так тихо — это при сибирском-то морозе! — что ничего не приметил даже ямщик.

Такими путями она добиралась за границу. К Ленину. Получала задание, исполняла его, иногда «проваливалась» снова. За границей тревога, запросы от Крупской: в Московский комитет: «ЗВЕРЬ ПРОВАЛИЛАСЬ. Сообщите положение дел... ЕСТЬ ЛИ СВЯЗИ С ТЮРЬМОЙ. Не знаете ли чего о ЗВЕРЕ?» Марии Ильиничне Ульяновой: «Сообщите самым подробным



В. М. Величкина (Бонч-Бруевич).

В. Д. Бонч-Бруевич.



К. Н. Самойлова.



М. М. Эссен.

образом все, что знаете О СОКОЛЕ, ЕСТЬ ЛИ С НИМ ПЕРЕПИСКА?» И наконец, от Ленина: «Комитеты большинства объединяются, выбрали уже бюро, и теперь орган объединит их вполне. Ура! Не падайте духом, теперь мы все оживаем и оживем. Так или иначе, немножко раньше или немножко позже надеемся непременно и вас увидеть... помните, что мы с Вами еще не так стары, — все еще впереди...

Ваш *Ленин*»[1].

Конечно, «Зверь», она же «Сокол» бежала снова.

И вот — извольте! — сидит у Бонч-Бруевича за столом с традиционным няниным винегретом да хохочет-заливается шуткам, наспех рифмованным экспромтам Демьяна Бедного. Он же, глядя на нее, думал, что никогда раньше таких женщин не видал. То, что мужчина может снести многое, ему было хорошо известно. Ну, вот Свердлов, только что бежал из нарымской ссылки. Это не изумляло. Но такое хрупкое существо, как та же Вера Михайловна? Ведь не раз отсиживала, и не один срок! Но эта ее подруга, со своими локонами и ямочками?

По складу характера Демьян не только не показывал подлинных чувств, но старался скрыть их завесой доброжелательного иронизирования. Посмеивался в редакции и над Конкордией Николаевной Самойловой, узнав, что она ездила на Лондонский партийный съезд под фамилией Большевикова. «Вот опытный конспиратор!» — ахал Демьян, преисполненный уважения к секретарю «Правды», которая, кстати, была лет на шесть-семь старше, а по опыту партийной работы на голову выше.

И Самойлова знала Ленина. Она слушала его лекции в Париже в Высшей русской школе общественных наук. Были знакомы и работали с ним, конечно, и большинство других новых друзей Демьяна. Ну, если старшие, как Ольминский, который ему в отцы годился, то тут уж ничего не сделать... не позавидуешь. Но ровесник Полетаев? Но дядя Костя — неполных десять лет разницы? Да что возраст? Даже маленькая Леля Бонч-Бруевич и та Ленина знала!

Прочитанные работы Ленина, все, что Демьян Бедный слышал о нем от друзей, — мельком и в допросах с пристрастием, — все это вместе не давало ему покоя. Так хотелось хоть разок просто взглянуть на него! Какой он? Сколько ни рассказывали, все было мало. Когда же Демьян увидит его сам?

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 46, стр. 429.

Это чувство разжигалось день ото дня все больше. Да и как могло быть иначе? Стоило узнать, что Ленина интересует такая-то тема, Демьян просто крякал от удовольствия — это было то самое, на что руки чесались. Стоило зайти в редакцию с утра, как дядя Костя, только вошедши, не успев и трубочку раскурить, спрашивал: «От Владимира Ильича что-нибудь есть?» Если Конкордия Николаевна отвечала утвердительно, невозмутимый дядя Костя, пряча расцветшее лицо за облако дыма, говорил — и в голосе звучала улыбка: «Значит, завтра выходим с Ильичем...»

Между тем необходимость знакомства или хотя бы непосредственной связи с Лениным диктовалась уже не одним простым человеческим желанием. Демьян... поругался в редакции «Правды». Ушел оттуда, как случалось с ним, в сердцах, громко бабахнув дверью.

Дома он сел за стол и спросил себя: «Что делать?» Тогда-то он и написал Ленину свое первое письмо.

«С.-Петербург. 15 ноября 1912 г.

Демьян Бедный шлет сердечный привет. Хочу непосредственно списаться с Вами. Жду ответа с указанием этого или иного надежного адреса. Адресуйте: С.-Петербург, Надеждинская, 33, кв. 5. Редакция журнала «Современный мир», Демьяну Бедному. — Но вместе с тем прошу подтверждения через редакцию «Правды», что действительно Вы получили сие письмо и Вы ответили на него. — Пишу Вам первый раз и потому осторожен. Буду рад, если Вы на это письмо ответите более непринужденно, чем поневоле — пишу Вам я.

Примите уверение в величайшем уважении.

Д. Бедный».

Ленин ответил немедленно:

«Уважаемый товарищ! Спешу уведомить Вас, что письмо Ваше от 15 ноября 1912 г. получил. Адрес, очевидно, действует хорошо — писать можно и впредь так же. Мы были очень огорчены Вашим временным уходом из «Правды» и очень обрадованы возвратом. Переписка с сотрудниками «Правды» у нас в последнее время, после печальных происшествий последних дней особенно, совсем плоха. Это тяжко. Были бы очень рады, если бы Вы теперь, проверив адрес, т. е. убедившись, что Ваше письмо дошло, написали поподробнее и о себе, и о теперешней редакции «Правды», и о ведении самой «Правды», и о ее противниках, и о «Луче» и т. д.

Зачем еще подтверждение через редакцию «Правды»? Не понимаю.

Жму руку и шлю привет и за себя и за коллегу.

В. Ильин» [1].

Два этих письма положили начало переписке. Но большинство драгоценных документов погибло. И безвозвратно. О том, как писал Владимир Ильич Демьяну, можно судить только по его ответам, тоже сохранившимся лишь частично. А поэтому причина, из-за которой поэт покинул «Правду», проявляется лишь приблизительно. («Возврат», о котором пишет Ленин, тогда не состоялся.) Ясно только, какие отношения возникли между Лениным и Демьяном Бедным задолго до их встречи. Даже небольшие отрывки показывают, как было сокрушено не очень-то покорное сердце Демьяна:

«...Ильич! Говорят, Вы — «хороший мужик». Это оч-чень хорошо: мужик. И я вот — мужик. И чертовски хотелось бы Вас повидать. Наверное, Вы простой, сердечный, общительный. И я не покажусь Вам тяжелым, грубым. Правда, Вы не икона?

Ваш Д. В.».

«Милый, хороший Ильич! Перечитал я еще раз Ваше письмо: сколько горячности, бодрости, рвения! Разные мы люди с Вами, я уже люблю Вас, как свою противоположность. И мне грустно: в ответ на Ваш фейерверк я посылаю такую холодную жижицу...»

Почему поэт определяет свои письма как «холодную жижицу»? Переписка идет в период разрыва с «Правдой». Демьян говорит о неустроенности, отсутствии элементарных условий для серьезной, вдумчивой работы. Он много, слишком много жалуется:

«Со всех сторон сочувственные охи да ахи, даже опротивело наконец. Я похож на женщину, которая должна родить, не может не родить, а родить приходится чуть ли не под забором...»

«...Я начинаю так часто писать Вам, что получается какая-то «Demianische Zeitung», ей-богу! Что делать?»

Потом спохватывается, что занимает слишком много времени у Ильича, обещает «замолчать на изрядное время»; «впредь я не намерен отвлекать Ваше внимание своими письмами... Главное напишут другие, второстепенное — не интересно».

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 117.

Но он просто не может не писать Ленину и нарушает все обещания тут же:

«...Как и надо было ожидать, я жалею, что послал Вам позавчерашнее неврастеническое письмо. Выбросьте его к черту!»

То он вдруг сообщает, что если уж ему нет места в «Правде» (а какая печать, кроме нее?), то он пойдет в коммивояжеры:

«...Я в самом деле пойду к Зингеру. Швейные машины, швейные машины! Почему швейные машины хуже удачной «строки», «сотни строк»?»

«...Это я сгоряча написал о неприемлемости для меня «корректуры». Нужно будет, и за корректуру сяду...»

А после жалоб на цензурные условия он спохватывается снова: «Какая я скотина, однако! Подумал сейчас о Вас, и мне стыдно стало. Уж кто маринуется жесточайшим образом — это Вы. А я — о строчках плачу...»

Ответы Владимира Ильича, очевидно, продолжают располагать к полной откровенности. Демьян просит: «Голубчик, утешьте меня добрым словом». Иногда просто шутит:

«Голова что-то туго варит. Напишите мне два теплых слова о себе. А мне легче станет. Пришлите мне свой «патрет». Если Вы тоже лысый, то снимитесь, как я: в шапке. У меня, впрочем, спереди еще ничего, а сзади плешь. «Изыдет плешь на голову твою за беззакония твои!..» Не знаете ли Вы хорошего средства? Господи, ну хоть что-нибудь выдумайте для меня хорошее! Хоть мазь для волос! А впрочем, «лыс конь — не увечье, плешивый молодец — не бесчестье». Глупые волосы, вот и все».

С течением времени все чувства в письмах Демьяна оказываются вытесненными одним:

«Пишу Вам, как влюбленный: каждый раз прилагаю «патрет». Ах, дядя! В сем виде я был на днях ввержен в узилище... Ради бога, не сердитесь на меня никогда за раздражительные словеса в письмах. Я перед Вами — как перед собой. Мне было очень приятно узнать... что Вы относитесь ко мне любовно... Будем искренни и больше нам ничего не надо».

Несмотря на обилие сугубо личных тем, по письмам Демьяна видно, какой широкий круг деловых вопросов охватывала эта переписка:

«Ежели отвечать по пунктам, так получится диссертация: 1. Как я отношусь к Богданову и махистам? 2. ...к «впередовцам»? 3. ...к меньшевикам «Луча»? 4. ...к «Просвещенцам»? 5. Что такое «Михальчи»? 6. Полетаев? Ольминский? 7. Мои планы и т. д. и т. д. и т. д.».

Критикуя отдел крестьянской жизни в газете, Демьян пишет:

«...с этой «Жизнью» в «Правде» из рук вон плохо. Говорю, как крестьянин, который только 3 дня назад получил письмо от голодающей в деревне матери о том, что ее поколотил урядник и выбил стекла в избе.

...Что делается теперь в деревне, до какой степени взяло дикую волю всякое «начальство», так это уму непостижимо.

Если извернусь как-либо в том дьявольском положении, в каком нахожусь сейчас, первым делом поеду в деревню, где не был давным-давно...»

Писем Владимира Ильича к поэту нет. Но есть очень важные письма о нем в «Правду»

«Необходимо привлечь Демьяна. Нужно для газеты талантливого юмориста. Он писал сюда очень дружественное письмо. Он хочет работать у вас, но его отталкивали. Он говорит, что не гонится за большими деньгами...»

«Насчет Демьяна Бедного продолжаю *быть за.* Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех (во сто раз больше «грехов» личных разных, буде есть таковые...) перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притянете, *не поможете* ему. Конфликты были мелкие, а дело серьезное. Подумайте об этом!» [1]

Итак, Ленин заботится о поддержке таланта, прощая ему человеческие слабости, а может быть, и чувствуя, что его информаторы соединяют действительное с вымышленным. Благодаря переписке Владимир Ильич имеет уже собственное представление о Демьяне-человеке. Неоднократно и категорически Ленин высказывается «ЗА», добивается его приглашения в «Правду».

Но что же все-таки произошло? И как относился к происходящему в «Правде» Ленин независимо от демьяновского конфликта? Да и не связан ли общий ход дел «Правды» с такой частностью, как работает здесь Демьян или нет? Есть документы, которые укажут на это.

...Надежда Константиновна рассказывала, что в мае двенадцатого года после переезда из Парижа в Краков, предпринятого с тем, чтобы быть ближе к России и к новой газете, все же сношения с редакцией «первое время не налажива-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 182.

лись». «Правда» не сразу самоопределилась, — заметила она. — Она была рабочей газетой. Как выбирать для легальной ежедневной газеты, тесно связанной с рабочими массами, темы, как их разрабатывать? Масса была уже не та, что в 1905 году, но можно ли в ней обсуждать все сложные, чисто партийные вопросы? Поймет ли она?.. Вопрос оставался открытым, редакция еще его не решала, а между тем время не ждало...» Владимир Ильич «считал, что с рабочей массой надо обсуждать все интересующие ее партийные вопросы».

Ленин же писал:

«Обходя «больные вопросы», «Звезда» и *«Правда» делают себя* сухими и «однотонными», неинтересными, небоевыми органами. Социалистический орган *должен* вести полемику... Вопрос, вести ее живо, нападая, выдвигая вопросы самостоятельно или только обороняясь, сухо, скучно... От рабочих нельзя, вредно, губительно, смешно скрывать разногласия... «Правда» *погибнет* как только «популярный», «положительный» орган, это несомненно» [1]. Ленин писал это в связи с тем, что некоторые редакторы не хотели касаться вопросов фракционной борьбы в своей газете: они считали, что это может оттолкнуть от нее рабочего читателя.

...А кто мог отказать Демьяну Бедному в том, что он умеет ориентировать даже малограмотных читателей в острых политических спорах?

Опуская другие причины недовольства Ленина, которые еще, очевидно, были, Надежда Константиновна вполне определенно заявляет: «Вскоре опять стали выходить с «Правдой» всякие неполадки. Трудно было выяснить даже, в чем дело, но у Ильича создалось впечатление, что редакция относится к загранице «глухо-враждебно». В совместном письме Ленина и Крупской тоже есть строки: «Вы себе не можете вообразить, до какой степени мы истомились, работая с глухо-враждебной редакцией!..»

Это написано 19 февраля 1913 года, то есть на девятый день после ареста Свердлова, который должен был провести реорганизацию «тамошней коллегии редакторов», как выражался в письме к нему Ленин.

Беда заключалась в том, что «тамошняя» коллегия была неоднородна. Здесь работали люди, которые, упорствуя в неверной позиции, вредили делу невольно; но были и такие, что вредили умышленно. Вот кому был Демьян обязан своим уходом и кто известил Ленина, будто поэт ушел из-за корыстных

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 70—71.

побуждений. О сложной обстановке говорилось и в одном из писем Демьяна за границу:

...«Кто-то мешает... Положение прямо прескверное... У меня такое чувство, что я скачу по тропинке бедствий, как и всякий другой, кто будет способствовать обновлению редакции. «Кто-то» мешает, и «кто-то» сидит крепко».

А после еще раз: «Кто-то» сидит крепко».

Быть может, Демьян писал что-нибудь более определенное? Этого теперь уже не скажет никто. Но ясно, что речь идет о лицах, вызывавших недоверие поэта, а он обладал незаурядным чутьем. Весьма вероятно, что Демьян не проявил и минимальной лояльности. Характер был трудный, часто просто бесцеремонный. Без церемоний он «покусывал» и друзей. Эта природная склонность к высмеиванию получила, кстати, свое развитие в той же «Правде». Он здесь хорошенько наточил «сатирические зубы». Друзья привыкли к его шуткам, издевкам, полюбили его в числе прочих качеств и за это свойство. Они знали, что он принадлежит к тем людям, что для красного словца не пожалеют и отца. Умные не обижались. Да и шутил он над ними не зло. «Я не сержусь на людей, которым верю», — утверждал Демьян, полагая, что они поступают так же. Но вот если острословил без симпатии, без любви, в принципиальном споре — выходило уж очень крепко. Так мог припечатать! — ничем не отклеить, не отмыть. И было не только чувствительно, но даже опасно. «Пострадавшим» имело смысл поработать, чтобы избавиться от его острого глаза и слова. Что ж? Это удалось.

«Правда» и после ухода Демьяна оставалась богатой множеством интересных, боевых материалов, которые делали свое большое дело. Но с осени, всю долгую зиму на этих страницах нет Демьяна Бедного. А ведь как лупил он тех же ликвидаторов, борьба с которыми волновала Ленина! Они добивались ликвидации нелегальной революционной работы? А Демьян в басне «Рыболовы» не только разделывал этих врагов своей партии, но и давал добрый совет друзьям: «Себе, а не врагу в угоду нырни поглубже в воду!» — открыто рекомендовал поэт подполье.

Он продолжал печататься, и немало: в большевистском журнале «Просвещение», в московской большевистской газете «Наш путь», в большом петербургском журнале «Современный мир», с руководителями которого тоже бывал временами резок (Ленин определял политическое направление этого журнала как «зачастую меньшевистски-кадетское»). Однако на безрыбье и рак — рыба. Что уж там говорить о симпатиях! Выбирать

особенно не из чего, да и не брезгали «Современным миром» ни Горький, ни Серафимович. Охотно Демьян Бедный сотрудничал в кооперативных, профсоюзных и страховых журналах, вроде «Вопросов страхования» или «Вестника приказчика»...

Уход Демьяна из «Правды» вызвал живейший интерес меньшевистской прессы. Враги пустились на измышления. Публиковали догадки, убежденные «прогнозы», что Демьян Бедный переходит в ликвидаторскую печать, что его полный разрыв с большевиками неизбежен. С презрением отверг поэт эти инсинуации своей статьей «Мой ответ», адресованной в «Правду». Но от этого ему не стало легче. К тому же, несмотря на то, что враги считали его уже почти «своим», он не был избавлен от преследований полиции: «Пред тем как из дому мне выйти, непременно я осторожненько выглядывал в окно: не видно ль у ворот какого «следопыта»?» А строки в письме к Ленину насчет «узилища» говорят о том, что поэт был арестован и препровожден в участок, где подозреваемый во всех смертных грехах Придворов невольно вызвал сильный переполох. Об этом он рассказал в стихотворении «Будильник».

Арест вообще дело немудреное: следили, искали повод придраться. Но в участке при обыске у Придворова обнаружили будильник, который он таскал из-за отсутствия карманных часов, и с перепугу решили: бомба!

...Смеясь, рассказывал Демьян Бедный о том, как «попался» с будильником.

Плохо же поэту было не оттого, что каждую минуту грозила «предварилка», а вслед за ней и что-либо похуже. Это раз навсегда входило в принятые им условия жизни и лишний раз давало повод пошутить. Только шутки становились все злее, ядовитее. Как он набросился на газету и писателя, осмелившихся опубликовать пасквиль на Горького! Автор пасквиля — декадент Ф. Сологуб и ахнуть не успел, как на него Демьян насел:

. . . .
Что у навозного жука
Столь пошлость вкуса велика —
Не мудрено: у Сологуба
Она — сугуба.

Но напечатана эта басня не в «Правде»... Газета лишилась многих других стихотворно-политических удач зимней поры двенадцатого-тринадцатого года. Басня «Свеча», например, напечатанная в «Просвещении», удостоилась особого донесения цензуры: «так как в отрывке этом идет речь несомненно о Высочайшем манифесте 17 октября 1905 года, то относимое

к нему выражение «копеечный огарок» должно быть рассмотрено как несомненное нарушение ст. 123 Уголовного уложения».

Об этой басне Демьян писал Ленину: «Вот Вы, вероятно, уже прочли мою басню «Свеча»?.. Басня ли это, наконец? Я же знаю, *как* ее стали все читать! Как призыв». И именно поэтому в другом письме сказано: «Мой символ веры — в моих баснях».

Жестокой характеристикой времени звучали и «Ослы», хотя поэт предупредил Владимира Ильича: «Вот и «Ослы» выйдут без самых гвоздевых строк»:

Ослы прошли везде, куда ни посмотри.
Ослы теперь — предмет и зависти и злобы.
Кого и чествуют и жалуют цари?
   Кто нынче — первые особы?
Кто — все великие и малые послы?
Кто — все приказные чины и воеводы?
   Все, — если не ослы,
   То близкой к ним породы!

Однако не злоключения с «копеечным огарком», не ослиные «первые особы», не преследования полиции угнетали поэта. Он просто не мог дышать без «Правды». Не находил себе места ни в одной редакции. Всюду был не в своей тарелке, все ему было не так. Везде ему не хватало дяди Кости, Анны Ильиничны, Стакан Стаканыча, дневных хлопот и споров, дыма коромыслом в ночной. Не хватало сутолоки на Ивановской — во дворе, на лестнице, в тесной секретарской комнате, где ему необходимо было поговорить с возбужденными, борющимися читателями и авторами.

Что говорить — он понял, что был не прав. Уйти — не значит бороться. А бороться надо. Газета, как писала Ильичу Конкордия Самойлова, «что называется, на ладан дышит и переживает какую-то агонию, но духом мы все же не падаем и сдаваться не думаем...».

Где было находиться Демьяну Бедному, как не с теми, кто не падает духом и не думает сдаваться? Чтобы вернуться туда, надо было только... сдаться самому. Перед «кое-кем».

Когда ленинское «за», наконец, достигло цели и Демьяна пригласили в «Правду», он уже был готов на всяческое смирение. А ведь здесь все еще сидел «кое-кто»... Кто же все-таки это мог быть?

Вряд ли, например, Демьян Бедный хорошо относился к рабочему депутату Думы Роману Малиновскому. Другой депутат, с которым Демьян был дружен — Григорий Ивано-

вич Петровский, — утверждал, что Малиновский... «был антипатичен для всех нас». При этом заметил по справедливости, что он «в понимании практического и профессионального движения стоял выше всех», но «в области теории был полный болван»!..

Другой хороший приятель Демьяна, в то время рабочий завода «Айваз», постоянный автор «Правды», Алексей Капитонович Гастев рассказывал:

«С Малиновским — одним из членов редакции — я был «на ножах» по союзной работе; помню, что он пытался отстранить меня от «Правды», но при встречах был любезен до объятий и поцелуев...»

Сказано тут мало, но разве не довольно? Эта попытка отстранить человека от редакции, совмещенная с объятиями и поцелуями? Что могла вызвать подобная «тактика» у резкого, не терпевшего миндальничанья Демьяна?

Да, может быть, ему просто не нравились желтые, какие-то кошачьи глаза Малиновского, его тихая — тоже кошачья — походка? А может быть, до Демьяна дошел слух, что на январской конференции Ленин противился избранию Малиновского в ЦК?

Так или иначе, не всегда в распоряжении Демьяна находился такой компас, как мнение Ильича. Известно, что поэт терпеть не мог Мирона Черномазова — горячего сторонника конфискаций. И не только потому, что не видел проку в таком способе «повышения революционного настроения». Не нравился ему Черномазов вообще... черт знает почему! А уж когда однажды Демьяну пришлось зайти к нему и тот с несвойственной поспешностью захлопнул ящик письменного стола... все! Это движение начисто лишило Демьяна всякого доверия к Черномазову. Но как объяснить это чувство другим? Что оно доказывало? Мало ли что! И Демьян «не трогал» Мирона, даже злые свои эпиграммы держал про себя. А то опять заварится каша.

Но вот дядю Костю и Конкордию Николаевну Черномазов как будто в пользу конфискаций убедил. Демьяну пришлось поцапаться даже с ними.

После этого он решил твердо: «Не буду я лезть не в свое дело. И так повоевал тут. Довольно. Вот тресну, а никого из них трогать не стану. Милостив бог — мне есть куда злость девать!»

Если уж Демьян прикусил язык и запечатал семью печатями свое недоверие к Малиновскому и Черномазову, то на деятелей помельче и вовсе рукой махнул. Это были сотрудничав-

шие в «Правде» и демонстративно покинувшие редакцию при его возвращении журналисты меньшевистского толка да еще издательский работник Шурканов, на которого у Демьяна тоже «ноздря дрожала».

А о том, что Малиновский, Черномазов и Шурканов были провокаторами, стало известно много позже.

Глава III

«ВНУК ДЕДУШКИ КРЫЛОВА»

Демьян вернулся в «Правду» не совсем таким, каким покидал ее. Теперь его имя получило столь широкое признание критики, на какое он и сам не рассчитывал.

Он хорошо запомнил тот день, когда шел из типографии Вольфа с первой пачкой экземпляров своей книги. Крепкий мороз одевал тогда инеем равно граниты домов, извозчичьих лошадок да и воротник его демисезонного пальтишка. Шел и довольный и немного огорченный.

Огорчался потому, что уж очень напакостила цензура: в басне «Лапоть и сапог» сапога-то вообще не оказалось.

Удар по столыпинской земельной реформе повис в воздухе. А Демьян не любил промахиваться. Однако к цензурным усекновениям не привыкать стать. «Свечу» вот совсем не пропустили. Ни в целом виде, ни огарочка...

Радовался, оттого что вот они, шестьдесят басен, впервые соединенные вместе под скромной обложкой! Теперь они начнут свою не газетно-однодневную, а более длительную книжную жизнь.

Он шел, посмеиваясь, мимо сверкающих витрин: «По усам текло, а в рот не попало».

Придя домой, положил тяжелые пачки на середину стола.

— Полюбуйся! — сказал он жене. — Вот куда ушли твоя шуба, мой костюм, малышкина кукла... Да тут и дача в Мустамяках... Ты не гляди, что книжка с виду скромная. Шика нам и не требуется. — Он взял в руки книгу. — Посмотри!

Обложка четко делилась на три части. В центре — имя автора и крупно — «БАСНИ». Наверху — зимний деревенский пейзаж. Поле. Занесенные снегом избенки. Голые деревья. На дороге — фигура одинокого путника с палкой. Внизу — черным четким силуэтом — заводские корпуса. Серые столбы дыма из труб сливаются в одну тучу на бесцветном небе.

Поэт долго пытался найти издателя этих басен. Но любителя рискнуть не нашлось. «Уж очень кусачий товар!» — поеживались даже благожелательные. Тогда, махнув на все рукой, он издал книгу на свой счет в типографии Вольфа. Ахнул туда все деньги, что удалось наскрести и одолжить.

Демьян не знал, как встретят его первую книгу. Но выход ее был для него настоящим праздником.

— Эх, гори все огнем! — сказал он жене. — Вот есть еще шесть рублей...

И, накинув пальто, выскочил на минутку за угол, на Невский. Вернулся с большим пакетом.

— Веруня, давай парадный стол!

— Послушай, у нас даже рюмок нету!

— Тем лучше. Будем пить стаканами.

Он попросил жену надеть лучшее платье и велел нарядить дочку в то красное, бархатное, «для гостей», в котором ее водили на елку к Бонч-Бруевичам.

Сели за стол втроем. Такого обеда с закусками и сладким у них не бывало. Плевать, что ушли последние деньги!

Славно посидели они после у раскрытой дверцы печки. В этот день он не желал знать никакой экономии. Все подбрасывал и подбрасывал сухие поленья: «Люблю, весело пылает!»

Они разговорились, даже размечтались.

— Ничего, Веруня, мы еще с тобой поживем! Может, у нас даже няня будет...

— Ах, если бы нам такую няню, как у Бончей!

— Ишь, чего захотела! Ты сперва дочку по-французски выучи, тогда я такую няню сыщу! — посмеивался он.

Няня Бончей давно была предметом зависти.

После возвращения из Женевы Веру Михайловну арестовали сразу. Она лишь успела договориться с первой встречной няней. Маленькая Леля, не говорившая ни слова по-русски, осталась на руках только что нанятой Ульяши. А эта первая встречная сумела столковаться с девочкой, сберегла ее до освобождения матери и за минувшие годы стала не только значительным лицом в семье Бонч-Бруевичей, но и в кругу их друзей.

— Да-а-а... — протянул Демьян. — Насчет няни не обещаю, — задумчиво говорил он, глядя на огонь. — А вот что летом снимем дачу в Мустамяках, по соседству с Бончами, — это, пожалуй, могу пообещать! — неожиданно закончил он. — А пока... пойду-ка я разберусь. — И он, взяв пачку, прошел к себе. Здесь он, плотно усевшись за стол, начал со вкусом раскладывать книги. Удивился, как много надо дарить!



Иллюстрация к басне «Свеча».
Художники Кукрыниксы.

Особняком отложил один экземпляр Ильичу за границу. Потом в стороны то, что отнесет сам, что пошлет почтой. И начал подписывать. Много писал он в тот вечер, но сохранилось только несколько автографов. Один — критику Горнфельду, возглавляющему теперь отдел поэзии «Русского богатства»:

«Верьте мне, что я не склонен к самообольщению и рад буду тому, если Вы признаете во мне единственное качество, мое искреннее, горячее желание посильно служить скорейшему пробуждению и проявлению самосознания того простого рабочего народа, из недр которого я вышел».

Другой — книгоиздателю Аверьянову, который все собирался рискнуть его «Баснями», да так и не рискнул:

«Осторожнейшему издателю, милому, очень милому, бесконечно милому, сладчайшему Михаилу Васильевичу Аверьянову на добрую память от новоявленного... издателя».

Прошло немного времени, и «кусачий товар» привлек внимание критики. Менее всего к нему проявила интерес столичная печать. Не зря автор предпослал сборнику эпиграф из Крылова: «Таких примеров много в мире, никто не любит узнавать себя в сатире». Но не ожидал поэт и того, что слу-

чилось весной, когда из разных городов России посыпались рецензии, просто возводящие его на Парнас:

«Новый талант. Новое, значительное приобретение литературы. Не просто «подающий надежды», каких теперь много, а действительно прочное достояние искусства», «Демьян Бедный является четвертым баснописцем во всей мировой литературе, после Эзопа, Лафонтена, Крылова», — писала газета «Утро Юга».

Газета «Донская жизнь» озаглавила большую, даже не уместившуюся в одном номере статью — «Внук дедушки Крылова». Редакция поздравляла своих читателей с тем, что «наконец этот внук нашелся, вынырнул он с самого дна русской жизни, нежданно-негаданно, как раньше Максим Горький, и сразу же смело и дерзко, точно по прирожденному праву, уселся на вершине современного Парнаса в ряду лучших наших поэтов».

«Киевская мысль»: «Демьян Бедный отлично знает изображаемую среду, говорит ее языком, живет ее буднями и всей душой предан ее целям, мыслям, движениям. Оттого в его баснях нет бессодержательных фраз. Иногда они бывают чересчур злободневны, и автор из баснописца превращается в хроникера... Но есть много басен, которые должны быть отнесены к настоящей литературе этого сорта», «Такие басни, как «Лапоть и сапог», «Кларнет и рожок», «Дом», не только заслуживают признания, но и могут рассчитывать на долгую родословную в литературе». Признавая «остроумие, знание жизни и проницательность», один из критиков советовал поэту лишь «избавиться от излишне грубоватого тона».

Да, тон был временами очень груб, ничего не скажешь. Когда меньшевистский «Луч» заявил, что в басне вообще нашел себе приют грубый лубок, наследник Крылова не постеснялся: «О меньшевистские кретины! — начал свой ответ Демьян Бедный. — Мой пророческий, такой простой лубок... не зря на фабриках все знают назубок», и закончил вовсе вызывающими строками:

Пройдет ли год иль долгие года,
Но не уйдете вы, лакейские вы души,
Как не уйдут и ваши господа,
От беспощадного рабочего суда.

С презрением отметая все сказанное о нем врагами, он особенно внимательно прислушивался к откликам из провинции. Не оттого, что хвалили. Отвечая редактору «Донской жизни» Мирецкому, он объяснял: «...рад, что мог вызвать



Иллюстрация к басне «Муравьи».

Художники Кукрыниксы.

именно такие горячие отклики и именно из провинции. Пусть я переоценен, но важно то, что такая встреча внушает мне некоторую веру в себя и свою скромную работу. Право же, мне приходилось выслушивать дружеские советы — перестать возиться с басней и от пустяков перейти к «настоящей» литературе, к чему, дескать, у меня есть некоторые данные — язык, например...»

Мы сейчас не знаем, кто давал такие «дружеские советы». Ясно одно: в большом кругу литературных знакомых было немало лиц, которые прочили ему иную — «блестящую» карьеру.

По-видимому, после выхода книжки атаки «соблазнителей» были очень активны. Об этом говорили и позже, даже в советский период. К десятилетнему юбилею «Правда» печатала воспоминания старых сотрудников. Вот что писал один из них о дореволюционном Демьяне Бедном: «...На одном берегу — полусказочная роскошь, лестное внимание сильных мира сего, культура и блеск, материальная поддержка начинающему поэту. На другом берегу — угрюмые хижины рабочих кварталов и нищета мужицкой хаты, мрак и невежество, участь певца бедноты, жизнь, полная лишения и риска».

Может быть, и даже наверное, сам Демьян так никогда не думал и, во всяком случае, не одевал свои мысли в столь нарядные формы.

А что именно он думал и как рассматривал свою работу в пору широкого признания, видно из его писем и поступков.

Во-первых, именно тогда он вернулся в «Правду». Во-вторых, именно в те дни он написал немало откровенных писем редактору «Донской жизни» Мирецкому, с которым у него возникли дружеские связи. Одно из них рисует обстановку в «Правде», как она видится Демьяну. В других высказан ход мыслей, какой всегда был ему свойствен, хотя позднее он уже не излагал их в письменной форме.

Вот отрывки из этих писем:

«Посылаю Вам... басню из вчерашнего номера «Правды» — «Муравьи». Басня — в силу тяжелой темы, широкого захвата — велика... Это почти уже и не басня. Просто — аллегорический призыв рабочих поддержать в тяжелое время свою газету.

Прекратив работу в «Правде»... я вернулся в нее в нынешнем июне, будучи позван на предмет, так сказать, поддержки. Я ушел было из «Правды» потому, что состав редакции «муравьиной» газеты получился из одних мух. Эти мухи много мне крови испортили. Вся «заграница» наша ничего не могла с ними поделать, как ни настаивала на необходимости моего возврата. У меня самого сколько было переписки! Пришлось под конец прибегнуть к крайнему средству: принести в жертву всех «мух». Я вернулся в «Правду». Мухи улетели. Пишут в газеты письма (см. «Луч» № 140)... Я решил пока не возражать. «Мухи» этому были бы только рады, чтобы завязать перебранку.

А дела «Правды» доведены до крайности. Не знаю, как откликнутся «Муравьи» на мою басню. Ее бы следовало перепечатать и у Вас: все бы маленькая польза, кто-нибудь пришлет в «Правду» лишний грош».

Дальше, как пишет поэт, «вышла чертова перечница. Я призывал «Муравьев» поработать один день с отчислением заработка в пользу своей газеты, а «Муравьи» взяли да... стали... бастовать, выражая этим протест против угнетения рабочей печати. Результат получился блестящий: «Правда» и «Луч» прекратили свое существование, а на заборах появились плакаты градоначальника о карах за забастовки. «Вышло дело — аромат», как поется в одной частушке. Прошла неделя. Вместо «Луча» родилась «Новая жизнь». «Правда» стала «Рабочей Правдой». Последняя на третьем номере успела уже конфиско-

ваться. Рабочие газеты — газеты четвертого измерения: будто бы существуют, а найти их порою невозможно: где они?! Что будет дальше — увидим».

...А дальше было то, что, помимо «Правды», «Просвещения», «Современного мира» и других изданий, Демьян принял еще предложение работать в харьковском «Утре».

Он впрягся в новое обязательство не ради дачи и не ради лишней публикации в провинции, — после выхода книги он был связан со многими газетами. На сей раз он проявлял предусмотрительность, как говорил, «на случай вынужденного отрясения столичного праха от ног моих».

Поэт сообщает Мирецкому, что «Днем у арестованного на улице Ефима А. Придворова был произведен (в д. 3, Пушкинская ул.) обыск. Придворов препровожден в охранку. Взята переписка, книги».

«Начинаю побаиваться: дошло ли до Вас мое письмо и бандероль? Неприятно, если письмо перехвачено тем «местом», которым я сам недавно был перехвачен. Успокойте меня, пожалуйста. (Не о себе думаю, мне что?) О Вас». Поэт тут же просит прислать несколько экземпляров статьи о своих баснях: «Хочу под нее заем учинить, то бишь аванс получить в одном издательстве. Мы — коммерсанты»,— делает неожиданное признание Демьян. А и впрямь, чем он не «коммерсант»? Умудрился извлечь какой-то толк даже из своего ареста. Кроме басни «Будильник», написал стихи «Моя молитва», тоже вызванные к жизни самой охранкой:

Благодарю тебя, создатель,
Что я не плут и не предатель,
Не душегуб, не идиот,
Не заскорузлый патриот.
Благодарю тебя, спаситель,
Что дан мне верный «охранитель»
На всех путях, во всех местах,
Что для меня всегда в Крестах
Готова тихая обитель.

Ему удалось сдержать слово, данное жене, — вывез на дачу в Мустамяки, поселил неподалеку от Бонч-Бруевичей и Горького. По крайности тыл был обеспечен. Но Мирецкому он пишет:

«...А пока хорошего мало, — исключая удовольствие вылететь с «Пушкинской, 3» за неплатеж. Хорошо тому, у кого «соб. дом», особливо в Петербурге...»

Надо платить за дачу, за квартиру, за... Университет! Ведь он все еще был студентом. Последнее продление вида на жи-

тельство было отмечено участком в марте. А как добывать другие «виды»? Надо держаться за Университет руками и ногами! Полиция не дремлет. И Александрийское воинское присутствие вкупе с Херсонской губернской управой тож. Запросы, запросы...

Студент Придворов отлично знал, что с получением выпускного свидетельства кончится его право жительства в Питере. И он оттягивал этот момент как мог. Сдал десять экзаменов, а два — самых неинтересных для себя предмета — «придержал». На ту беду вышло распоряжение министра просвещения «О предельных сроках». Пришлось идти на экзамен по психологии и методологии истории.

Каково было ему, образованному марксисту, возиться с их «методологией»! Он теперь уже знал — и неплохо — другую, настоящую.

Каково было «мужику вредному», которого побаивались не в одной буржуазной партии и редакции, смиренно писать декану прошение, выражая, как полагалось для убедительности, «слезную» просьбу о новом продлении срока? Ничего, написал...

Ну и денек тогда выдался у него! 5 июня, когда в «Правде» верстали его «Азбуку» (некий Медведь объявил своим подданным, «чтоб следствий не было опасных, не разрешаю звуков... гласных!»). В этот самый день поэту пришлось сломя голову мчаться на Васильевский остров. Там, в канцелярии Университета, он домогался принятия платы за право учения. Квитанция, на которую он потом ссылался, апеллируя к декану, помечена: «5/VI 1913 года». Только и отвел душу ночью, в типографии, нырнув в стихию газетной торопливости, вдыхая запах бумаги и краски, слушая знакомые голоса и мерный грохот машин.

Хорошо! Борьба идет, просто всеми фибрами чувствуешь!

Но вообще-то не все шло гладко.

Бывали минуты уныния и у Демьяна. Однажды он с горечью писал Мирецкому: «Тяжело выносить конфискацию за конфискацией»; сознавался, что иногда делается тошно, что мечтает о «южном воздухе, которого седьмой год не нюхал, застрявши в питерском болоте. Читаю на Вашем письме: «Новочеркасск», и зависть берет. Живут же где-то люди... У Вас там вишни давно отцвели. Не за горами — ягоды. И ставок, и млынок, и вишневенький садок, — и выпьемо, куме, добра горилка! Рай, и больше ничего. А мы здесь пробавляемся уксусной эссенцией и «Новым временем».

По-Вашему, я — трибун, который зорко следит и т. д.

А трибуну хочется в траве поваляться, опьянеть от степного воздуха, слушать трескотню кузнечиков и фырканье стреноженных лошадок...

Измытарился и устал. Говорю откровенно. Но буду писать, и никто этой усталости не заметит. Надо быть бодрым». В это время из-за новой басни «Честь» вспыхнули такие споры, что стихи послали на окончательное решение Ленину. Владимир Ильич высказался против: высмеивалась Вера Засулич, с которой Ленин много и горячо спорил, но не считал возможным насмехаться над ней. И Демьян впоследствии не включил басню ни в один из своих сборников. Умел понимать свою неправоту: «Своих промахов я не скрываю... Но — что делать? Выдержка и опыт приобретаются ошибками...»

Ошибки были. Но бывали и минуты ничем не омраченной радости. Вот, казалось бы, уж давно его «Басни» вышли, и пресса прошла — и вдруг! Харьковское «Утро» печатает статью Бонч-Бруевича, который давно уж на Украине из-за процесса Бейлиса: вызван в качестве эксперта по вопросам религии. Статья была подарком необыкновенным, и Демьян откликнулся горячо:

«Дорогой Владимир Дмитриевич!

Пишу Вам под свежим впечатлением от чтения Вашей статьи обо мне... я почувствовал себя взволнованным. Передо мною первый случай общественного мнения обо мне, высказанного человеком, лично меня знающим. Я получил громаднейшую нравственную поддержку не как «автор», а как человек «сам по себе». Стало быть, можно сказать обо мне доброе слово, даже зная шероховатости моего характера и те особенности, которые делают его тяжелым для многих, но не для Вас. Я чувствую, что Вам даже не пришлось ничего «преодолевать», а я люб Вам, каков есть.

Что касается «критики», то в ней я нашел также одну особенность, разрешающую большое недоумение, в каком я обретался последнее время, наблюдая какую-то, не поддававшуюся моей воле и внутреннему истолкованию, перемену в моем творчестве. Я со страхом стал замечать, что от меня уходит «смех», «добродушный смех»... заменяясь «гневом». Я подумывал: не падаю ли я? Органическое ли для меня, стихотворца, явление — гнев? Читая Вашу статью, я был поражен: почему никто не заметил того, что замечено Вами, а именно: гнева-то... гораздо больше, чем смеха. И именно гнев-то и есть главное, нужное... Я начинаю еще больше верить в важность и необходимость той работы, которую посильно делаю, идя по тому

пути, на который я — после долгих мытарств — бесповоротно вышел...

Я не жду никаких испытаний для нашей дружбы, так как верю в ее искреннюю, глубокую прочность».

Поэт писал все это в том счастливом состоянии, когда человек верит «в важность и необходимость той работы», которую посильно делает. Владимир Дмитриевич растрогал его, и Демьян был готов захлопнуть книгу отзывов о своих баснях, если бы такая имелась. Но он еще не знал того, что стало известно через несколько дней: одобрительного отзыва Ильича.

Ленин, оказывается, даже Горькому написал, спрашивая: «Видали ли «Басни» Демьяна Бедного? Вышлю, если не видали. А если видали, черкните, как находите?» [1]

Пусть не «большая» литература! Маленькая? А он ею в меру сил большой правде послужит.

Глава IV

СНОВА ФЕЛЬДШЕР

Июль 1914 года.

Третьего — разгон митинга на Путиловском. Демонстрации в городе. Одиннадцатого разгромлена «Правда». Сотрудники арестованы. Двести тысяч бастующих питерцев. Четырнадцатого — всеобщая мобилизация. Девятнадцатого — война.

Ефим Придворов в призывном участке мгновенно приведен в «первобытное состояние»: оформлен согласно воинской специальности. Обмундирован. Снабжен документом с указанием станции отправления и станции назначения. И, снова став военным фельдшером, он катит в переполненном новобранцами вагоне.

Все совершилось с такой ошеломляющей быстротой и неотвратимостью, что он и удивиться не успел. В дороге он, так любивший поговорить со случайными собеседниками, поспрошать, о чем думают люди, был молчалив, хмур, даже злобен.

Как все это произошло? И что произошло? Самое страшное — арест Ильича. От сознания бессилия, оторванности от всего, что дороже самой жизни, мутилось в голове. То виднелся ему знакомый подъезд на Ивановской — будто ничего не случилось. Даже швейцар стоит. А наверху? Полный разгром. Нагромождение разломанной мебели. Пустые ящики из-под

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 48, стр. 180.

бумаг. Захвачена вся правдинская почта. Но растерянный Эммануил Иванович Квиринг все-таки что-то ищет. Перебирает пустые папки. Зачем? Все вынесено подчистую... А Квиринг находит! Находит среди мусора каким-то чудом прозеванную полицией новую статью Ленина. Может, ее кто-нибудь из своих нарочно сюда сунул? Черт знает, с ума сойти можно!

Бонч-Бруевич опять арестован. Вера Михайловна надеется, что скоро выпустят. Тогда она немедленно на фронт... Из всего, что говорено между ними на прощанье, в башке стучит одна фраза: «Не забыть бы запасное пенсне». А вот последний рассказ Бадаева запомнился в точности, будто сам все видел. Вот Бадаич жжет у себя на квартире бумаги. Вот примчался в «Правду» — еще сдуру назначил там свидание вернувшейся от Ильича нелегальной Анне Никифоровой: на людях не так опасно, а то за ним-де шпики ходят. Сообразил. Но в «Правде» все сотрудники уже загнаны в одну комнату. Недурной у полиции «улов»: человек двадцать разом. «Марксиста» поневоле и того в суматохе взяли. Бадаич орет, что он «неприкосновенный».

Депутат Думы! «Имеет право!»

А им наплевать. Кто и на что имеет право в Российской — пропади она пропадом! — империи? Поглядите, господин депутат на обыкновенную дулю.

Бадаев так и не узнал, с чем приехала от Ильича Анна Никифорова...

Последние стихи Демьяна Бедного «Правда» напечатать не успела. Они были всего лишь откликом на предстоящий визит западноевропейских ученых. Те собирались наблюдать здесь в начале августа полное солнечное затмение.

В чем тут может быть сомнение?
Хоть весь свет ты опроси:
Видеть п о л н о е затмение
Можно только на Руси!

Не знал он тогда, в какую полосу затмения придется войти, какие песни петь. Вот она, солдатская «Соловей, соловей, пташечка!..», заливаются в одном конце вагона. В другом гремит: «Ах вы, сени, мои сени!..» Эти звуки доносились до него, как сквозь сон. А в действительности он слышал голоса Квиринга, дочки, жены, Бадаева, Веры Михайловны и все, что было говорено там, в Питере. Ему приходила на ум странная мысль, что он, по существу, сам остался в Питере.

Разве фельдшер санитарно-гигиенического отряда Западного фронта — Демьян Бедный? Черт возьми, он про фельд-

шера Придворова и думать забыл! И вдруг пришлось лезть в старую шкуру. Тесно. Аж дух спирает. Ну-с, интересно, какую шутку сыграет теперь судьба с младшим медицинским чином? А может, ему просто повезло? Сколько перехватали большевиков? Даже «неприкосновенным» депутатам, пожалуй, не уцелеть. Демьян же Бедный оказался в погонах, служит царю-отечеству и летит «соловьем-пташечкой» навстречу австро-венгерскому войску. Впереди Польша. К Ильичу туда съездить не удалось, а теперь, когда не надо, — на тебе и Варшаву и Краков; как в детской считалке — «что угодно выбирай»... Только получается точно, как в Демьяновой же басне: «Когда бы довелось нам выбирать свободно...»

И еще вспомнились собственные стихи, напечатанные в «Правде» весной этого года, когда демонстрация рабочих свинцовобелилыных фабрик, вызванная отравлениями свинцом, была встречена пулями. Всего четыре строчки, озаглавленные «И там и тут», поэт считал удачей. Ни одного лишнего слова — и все ясно. Цензурного «криминала» нет, а призыв к сопротивлению есть:

На фабрике — отрава,
На улице — расправа.
И там свинец и тут свинец...
Один конец!

Так вот, значит, теперь самому придется «познакомиться» со свинцом...

Спастись от фронта возможность была. Знакомый букинист прямо сказал, как это просто; он знал, что когда-то Придворов поступил в Университет по протекции великого князя Константина. Сейчас Константин «пристроил» писарем к себе в Измайловский полк букиниста Базыкина: «Их высочество и дочь у Базыкина крестили. Сходить бы вам к их высочеству — устроит!..»

Ничего Демьян не ответил доброжелательному советчику. Чувство отвращения поднялось до степени, которую он после называл «моральной тошнотой».

Не этот ли разговор пришел ему на ум много позже, когда он писал: «От блеска почестей, от сонмища князей, как от греховного бежал я наважденья»?.. «Сонмища-то», конечно, никакого не было. Верно, один К. Р. стоил многих, но разве поэт не имел права на гиперболу?

Замелькали Ломжа, Рейовец, Красностав, города, села и местечки, забитые войсками, пыльные проселки, обгорелые опушки лесов, брошенные пашни. И где-нибудь на привале

после ночного налета «ерапланов» — неспешный разговор уже окрещенных огнем солдат. Фельдшер сидит в кругу своих однополчан, потягивает с ними махорочку. Каждый докладывает, что повидал да пережил. Один рассказывает про себя, что он большой умелец сады разводить — у них в роду все с малолетства к этому делу привязаны. Другой чуть не слезами сирот жалеет — эвон беженцев сколько на дорогах!.. Третий говорит, что хотел бы чужие страны посетить не войной, а на мирном ходу: поглядеть бы, как другие люди живут. Пятый тужит: на глазах убили товарища... Шестой проклинает «ерапланы». Седьмой — господ офицеров. Говорят и о жизни, смерти, храбрости, трусости, тяжести боев и маршей.

А фельдшер потолкует с людьми на привале и после пишет домой... то же самое. Послушать бы общий разговор у костра — не отличить сказанного любым мужиком в солдатской шинели от того, что сказано тем, кто' долгие годы проносил студенческую и окончил Императорский. Иной раз даже звучит простонародная интонация:

«И-и, родненькая! — пишет домой Придворов. — Что за ад кромешный был минувшей ночью!.. Наши шли в атаку. Утром подвод недоставало для раненых».

«Сидишь, как куропатка в ямке, боишься поднять голову вверх, где парит ястреб. Сидишь и ждешь: вот схватит! Вот-вот схватит!»

«Сплошное горе кругом. Особо жутко глядеть на нищих, разоренных беженцев... Не дай бог никому видеть!»

«Переход в пятьдесят верст должны сделать в один день. Тогда стоянка будет. А нога что-то болит, растянул сухожилия», «Дело не в трусости, а в том, что одному приятно помереть за веру — царя — отечество, а другому приятно пожить так, как он готовился принести пользу на ниве жизни, а не на поле брани».

«Ночь сегодня не спал всю. Перемерзли крепко. Такой холод ударил! И сейчас руки коченеют. Ноги мерзнут, нельзя сидеть. Сильно захандрил. Ничего не хочется. Замерзло сердце, и мысли замерзли».

«Помнишь фельдшера нашего Воскресенского? Ему было 19 лет, и мы звали его Малюткой. Вчера утром Малютка смертельно ранен шрапнелью. Ран — 3. В пах, грудь и живот».

«Если умно, содержательно прожить жизнь, я думаю, умирать будет не страшно: пожил, мол, сколько надо, и сделал, сколько мог...» — делится раздумьями Придворов, не за-

бывая поинтересоваться: «дали ли ростки посаженные мною дубки и сосны?»

Чем дальше, тем меньше строк о том, что доставалось на его долю. Наблюдений, записей солдатских бесед совсем нет. С первого дня, когда взялся за карандаш, была извлечена припасенная заранее записная книжка. К зиме заполнилось уже несколько.

С книжками он не расставался никогда. По примеру Тараса Шевченко носил в голенищах сапог. Великий Тарас так и называл их «захалявны кныжки». И Придворов знал, что потеряет их разве лишь вместе с ногами. Он дорожил тем, что было занесено сюда при свете костра и коптилки; в промежутках между переходами, бомбежками и боями; в грязных окопах, на забитых вокзалах, в поле. Он пополнял их все лето, долгую осень, наконец — половину зимы.

...Какое богатство метких наблюдений, точных характеристик, солдатских разговоров остались бы нам, если бы сохранились фронтовые записи фельдшера Придворова! Но их уничтожил Демьян Бедный. Как это случилось?

Через положенный срок, получив двухнедельный отпуск, Придворов помчался в Питер — вернее, сквозь Питер в тот пригород, где были семья и друзья. Но от станции Мустамяки до деревни Нейвола несколько верст. Вот картинка: точный

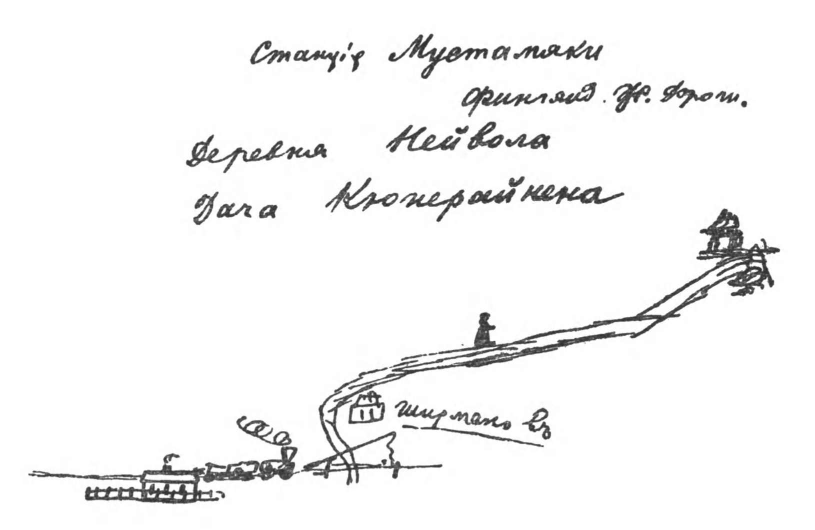


Рисунок Д. Бедного.

план, как добраться от станции. Она была дана одному из тех, кто доставлял письма «с оказией». Теперь Придворов готовился промчать знакомый путь единым духом. Гнало нетерпение повидать своих, да и мороз стоял лютый.

Неожиданно на станции повезло. Здесь оказался однорукий Давид — возница и друг всех питерских литераторов, которых приютила Нейвола. Демьян обрадовался Давиду, как родному. И тот, как родного, обнял старого знакомца своей единственной рукой.

Сани помчались с особенной даже для лихого Давида лихостью. Но на пути он стал нервничать, оглядываться и уверять своего седока, что позади слышит фырканье лошадей: не иначе как нагоняют шпионы! Нельзя было пропустить мимо ушей опасения Давида. Что делать? Если полиция, обыск — попался с поличным. В записных книжках такие тексты, что головы не сносить — сам ли сочинил, со слов других ли записал. Там могло быть обнаружено что-либо вроде:

Втапоры не без причины
Царь извелся от кручины
И, дрожа за ход войны,
Каждый час менял штаны.

Со штанами — мысли тоже.
Драл царя мороз по коже,
Затрещал пустой чердак:
«Заварил я кавардак».

Да мало ли что еще почище там могло быть! И прозой и стихами, да и письма тут же...

Уже завиднелись первые дома Нейволы, и Демьян мгновенно принял решение: вместо того чтобы ехать вдоль улицы, к себе, он велел Давиду свернуть в первые же ворота. Тут, ворвавшись к редактору «Современного мира» Николаю Ивановичу Иорданскому, сразу кинулся к печке...

По тому времени сделал верно. Не подвел ни себя, ни других. Полиция во главе с жандармским полковником действительно нагрянула к Придворову на дом. Было перевернуто все. Забрали книги, рукописи, даже детские письма — от старшей дочери, что жила на Украине.

Демьян глядел на усилия доброго десятка охранников со жгучей ненавистью, но не без злорадства. «Накося, выкуси!..» — прочли бы охранники в его глазах, если бы умели перехватывать и читать взгляды таких хитрых мужиков, как Демьян.

Тем не менее он очень потом сокрушался, что спалил все.

Говорил, что «восстановить невозможно». Но как же заглянуть в его военное прошлое? Для этого остается только один путь. Все те же частично сохранившиеся в семье Придворовых письма к жене. Он сам не мог считать их сколько-нибудь стоящим внимания документом, да и вообще, наверное, забыл, что они существуют. В них много ласки, строк, предназначенных только одному человеку. И все же среди них оказывается немало значительного и проливающего свет на фронтового Демьяна.

Дело в том, что после побывки он вернулся в часть немного иным. Появилась осведомленность, а с нею и лучшее понимание происходящего. Новостей было много. Хороших. Плохих. Да и таких, в которых еще следовало разобраться.

Новость номер один была очень радостной: Ильич на свободе. В Швейцарии. Связь с ним налажена. Дальше шли средние новости, о тех, кто жив-здоров, но в ссылке или на фронте. Бонча выпустили, Вера Михайловна — на Южном, в Галиции; но большевистские делегаты, как после скажет Демьян:

...Что там в Питере творится.
Молвить истину: содом!
Очутились пред судом
От рабочих депутаты:
Очень, дескать, виноваты.
Что ж вменили им в вину?
Их призыв — долой войну!
. . . .
Всех, конечно, закатали
В те погиблые места,
Где равнинушка чиста,
В снеговом весь год в уборе,
Ледовитое где море,
Где полгода — ночь и мгла.
Вот какие, брат, дела!

Только не сразу Демьян сумеет найти нужные слова и тон, чтобы снова обратиться к читателю. Пока что в «питерском содоме» его потрясли, даже лишили равновесия те новости, которых он никак не ожидал. Многие вчерашние единомышленники перешли на оборонные позиции.

Ум был взбудоражен вопросами, надеждами, огорчениями. Душу бередило желание активно вмешаться. Писать. К тому же прояснились связи — стало известно, где что удастся напечатать.

Он сел за работу. И что же? В отчаянии он пишет жене:

«Немного я освоился с обстановкой и попробовал было

засесть за писание. Ничего, ничего не выходит! И это может быть после войны. Что я тогда? Инвалид? Писатель, отцветший, не успевший расцвести? Такие примеры бывали: блеснул талант и погас. Вспыхнул я с рабочим подъемом и исчез вместе с ним. Возродиться смогу, быть может, при возрождении того класса, за который боролся пером. А когда это будет?»

Тяжко ему было не только оттого, что, сев работать, он, как говорится, «приложился». Мучил еще все тот же проклятый вопрос, который зацепил, как крючок, — сколько ни бейся, что себе ни говори, а не мог Демьян понять одного: как это там, в тылу, не то чтобы какая-нибудь сволочь, а вроде бы порядочные литераторы кричат и печатают, что «русские люди любят воевать», и тому подобную оборонческую ересь!

Николай Иванович — тот самый, в дом которого Демьян ворвался, как к своему, чтобы сжечь записки, — этот Николай Иванович такое начал нести, что вся кровь в голову бросилась. Прямо заявил: не время держаться за «староверские» позиции — пораженчество! Откуда взялся этот трижды проклятый, «заскорузлый патриотизм»?

Потрясло не только ренегатство вчера еще близких. Вот чужой, но умница, талант — Саша Черный. Совсем недавно Демьян считал, что в России, по существу, толком работают два поэта-сатирика: Саша Черный и он сам. Как «раздевал» этот великолепный сатириконовец мещан, обывателей! И не только их! Ведь он вообще причислял себя к «безнадежным пессимистам» и... ушел на фронт добровольцем! Ему-то зачем понадобилось воевать за царя? За этого, как он сам писал, «высокого господина маленького роста»? За это отечество? Уму непостижимо!..

И в одном из писем Демьян признается жене, что, если бы не Горький, который, видно, поддержал и подбодрил его, он вернулся бы из отпуска «совершенно убитым: такую перемену нашел в людях, которых считал более-менее стойкими. Ну да черт с ними!»

А все же, чертыхнувшись, он не может успокоиться. Не хочет произносить окончательного приговора: «С Николаем Ивановичем неизбежно придется поговорить. Возможно, что его точка зрения им как-то обосновывается и он не лицемерит, ведя ту линию, которая мне так противна... Я разнервничался главным образом потому, что совершенно не допускал, чтобы искренне и серьезно можно было отстаивать ту точку зрения, на которую стал Николай Иванович, нашедший незазорным для себя выступать даже в «Русском слове». Но чем черт не

шутит! И на старуху бывает проруха. Затуманились мозги у многих. Я не хочу сказать, что, например, у меня пресветлые мозги, но я знаю твердо, что они по меньшей мере если не улучшились, то и не ухудшились и массовому помутнению не подверглись. Мало того, у меня есть достаточно оснований считать мое «староверство» правильным. Мне изворачиваться впоследствии не придется, это как свят бог».

Расстроенный поэт в сердцах написал Бонч-Бруевичу. Но спохватился, что слишком разошелся, и вдогонку первому письму отправил другое: просил не ставить всякое лыко в строку. Страхуясь и дальше от своей горячности, послал письмо Горькому не прямо, но в адрес Бонч-Бруевича. Оставил конверт незаклеенным: «Если я в подавленном настроении наплел там чего, то и не передавайте Алексею Максимовичу».

Вот и все свидетельства того, как было тяжко.

Демьяну было немногим более тридцати, а он уже опасался, что «отцвел», и сомневался, сумеет ли «возродиться». Условия для этого возрождения называл абсолютно точно. И ценность этого признания еще выше оттого, что оно высказано в интимном письме к жене.

Вообще-то рассказывать о тяжелых думах, авторских мучениях он никогда не любил. Считал, что важен результат. Кому дело до поисков, если ты ничего не нашел? А нашел — показывай! Зачем людям исповеди о блуждании в творческих лабиринтах? Нужно дело. «Бесполезное не имеет права на уважение», — говорил Чернышевский. Признаний насчет того, какие Демьян претерпевал неудачи, больше так и не последовало.

Зато через небольшой срок Демьян завалил Питер письмами, да не просто письмами, а пакетами. Многое шло с оказией в двойных конвертах, на подставные адреса. Количество отправленных поэтом материалов для печати становится таким, что жена, которой пришлось взять на себя обязанности курьера и связного, начинает запутываться. Демьян сердится:

«...Я досадовал на тебя, получив письмо твое, где ты сообщаешь, что пойдешь к Алексею Максимовичу сказать о том, что «Баталисты» и «Волк и Лев» уже напечатаны в «Утре». Да разве же я давал эти вещи Алексею Максимовичу? И не думал! И тебе не велел передавать их. Что же начнет думать обо мне Алексей Максимович? Что я рассылаю свои вещи одновременно во все места? Это же черт знает что такое! Зачем ты завариваешь такую гадкую кашу? Я вчера приводил список вещей, сданных Алексею Максимовичу. Это:

1. Барабан (басня).

Скупой чорт

Рукопись басни «Скупой черт».

2. Война (Мышь и воробей. Сказки).

3. Разоренные воробьи (стихотв.).

4. Боги }(басни Эзопа).
5. Помощь }

6. Дело хозяйское (басня).

7. Черт-заимодавец (басня-сказка) и

8. Конь и всадник — басня Эзопа, посланная вчера и посылаемая вторично сегодня.

Прошу тебя тщательно вести запись сдаваемых в «Современник» вещам (снимать для себя копии) и, как только тебе точно станет известно, что та или другая вещь по той или иной причине не пошла, ты немедленно такую вещь, аккуратно ее переписав, отсылай в «Утро», а мне об этом сообщай. Тогда никакой неприятной путаницы не будет. В «Современник» я буду посылать только то, что мне покажется наиболее удачным.

Ради бога объясни Алексею Максимовичу, что ты, а не я, путаешь там безбожно, и чтобы Алексей Максимович не подумал обо мне черт знает чего.

Я просил тебя не надоедать Алексею Максимовичу своими визитами: без нас у него дел куча. А ты еще будешь соваться к нему с вещами, которых я ему не сдавал, а ты будешь извиняться: «Они уже напечатаны». Алексей Максимович после этого плюнет и вернет тебе все рукописи. Разберитесь, мол, вперед, что у вас куда послано, и не морочьте мне головы.

Ах, Вера, Вера!

Сегодня только ты мне снилась. Люблю тебя очень, а ты плохо работаешь потолком.

Если еще раз напутаешь с рукописями, я ни одной вещи не стану высылать тебе, а уж буду как-нибудь сам».

Работа над сказками и баснями, в которых легче было обходить цензурные рогатки, настолько поглотила его, что иной раз письма становятся просто непохожими на фронтовые. Если бы не одна-другая строка, вроде как «случайно» попадающаяся здесь, можно было бы подумать, что сидит где-то человек в тыловом городе, пописывает да шлет в столицу. Строки, однако, попадаются, не требующие никаких комментариев: «Убит корпусной врач. Мы все при винтовках. Ждать можно всего», «Я вспоминаю шутливый совет Алексея Максимовича «остаться без руки»... Боже, не остаться бы тут без головы...», «Сегодня похоронили двух наших офицеров...», «Вечером работать трудно — запрещают жечь свет...» И однако, тут же, в строку, он грозит превзойти Владимира Дмит-

риевича по части работоспособности, которая всегда казалась ему у Бонч-Бруевича удивительной. («Шут его знает, — спрашивает поэт жену, — когда он не работает?») Затем замечает: «Питаю надежду на то, что если не задохнусь от немецких газов или жары, то успею написать две-три сказки».

Но самое важное, что высказано поэтом насчет войны, заключено в немногих строках: «Если вернусь, то всю жизнь буду вести войну против войны. Это нечто издали непредставляемое. Ценность жизни сведена к нулю. Все — нуль. Убийство — все».

Эта же мысль отразится после в стихах:

Смерть бойцам сказала: «Вольно!»
Им не страшно и не больно,
Тьма — не тьма, и свет — не свет,
Кто убит, того уж нет, —
Нет и ровно не бывало.
Человек так стоит мало!
Три убито, новых пять
Место их спешат занять.
Через день, купив газетку,
Будут все читать заметку:
Где и сколько взято в плен.
Что «у нас без перемен».

С переменами или «без перемен», но желание участвовать в тыловых схватках так велико, что нет тяжелого дня, который остановил бы работу поэта, будь то похороны однополчан, налет авиации, трудный переход. Настроение делается все лучше: дело пошло! Будучи ежечасно в армейской гуще, в боях, он вполне убедился, что «нюх» не подвел; наблюдает настроение солдатской массы. Все более иронически рассматривает казавшуюся ему недавно едва ли не трагичной измену вчерашних единомышленников. На смену недоумению, сомнениям, злобе приходит новое чувство. Прочитав статью Николая Ивановича «Хозяева земли», он пишет: «У меня веревки на походной кровати порвались, до того я смеялся, читая об этих «хозяевах»!..» Позднее поэт высмеял «патриотических писак»:

Были дни: возьмешь газету,
Дочитать терпенья нету.
Не узнать совсем писак:
Не перо у них — тесак.
Так и рубят, душегубы.
. . . .
Про высокие примеры
Дисциплины боевой...
. . . .
«Что строчат, лихие гады!»,
«Ну, чему они так рады?»,

«Мало радости, кажись:
Ведь дела — хоть в гроб ложись».
«Аль они там все ослепли?»
Средь окопов слухи крепли,
Что газеты — не тае:
Подрядились на вранье!
Может, Правда где и бродит,
Да к окопам не доходит,
В письмах тож ей не пройти:
Гибнут письма по пути
От цензуры постоянной, —
Чтоб ей лопнуть, окаянной!

Насмеявшись вдосталь, Демьян перед Бонч-Бруевичем изливает душу:

«...На нашем веку и попадались уже и еще больше будут нам попадаться приказчики от литературы. Было бы смешно огорчаться отливом симпатий со стороны господ, живущих приливами и отливами, ничего общего с чисто идейной стороной литературы не имеющими. Я живо представляю, как этот же самый г. приказчик забежит к Вам, ко мне (!) с черного хода, когда будет на нашей улице праздник, в чем я не сомневаюсь, так как, собственно, только и живу единственной этой уверенностью. Меня выносили и вынесут иные «приливы». Сейчас отлив. Золотая и иная вся достойная рыба ушла вглубь, а на сухом бережку среди гнилья и водорослей выделяются всякие слизни морские и ракушки. «Приливом» всю эту гадость к черту захлестнет».

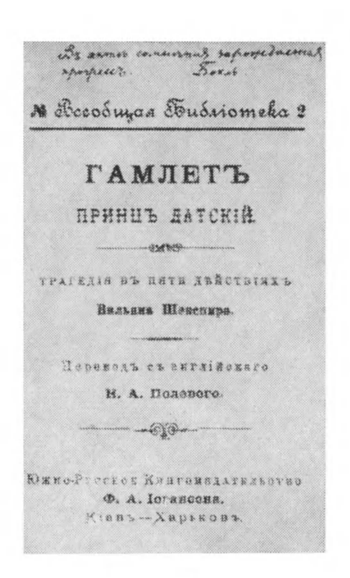
Жалуясь только на то, что сейчас приходится быть «в зависимости от всяких, в большинстве темных, рыболовов, чья добрая воля показывать нас или не показывать в своих «аквариумах», Демьян все же сознается, что от этого «щемит сердце. И досада берет. И придумать ничего не могу. Да и думать не время. Вернусь с войны — тогда другое дело...», «Так свистну, что чертям тошно станет... А я свой «момент» уловлю, не сомневайтесь».

Как всегда, немного стесняясь своих искренних порывов, но желая выговориться до конца, он делает постскриптум, иронизируя над самим собой, но тут же снова возвращается к своей страстной исповеди:

«Расписался-разболтался, как обиженная баба. Не в том суть. Суть в том, что я — дышу литературой, весь, до кончика последнего волоска отдан только одному: служению честному и стойкому: только тому, во что я вложил душу. Внутри я — фанатик. Отсюда и мой внешний признак — самодовольство и самоуверенность, которые неприятны, когда беспочвенны. А подо мной твердая почва, с которой меня ничто (даже война,



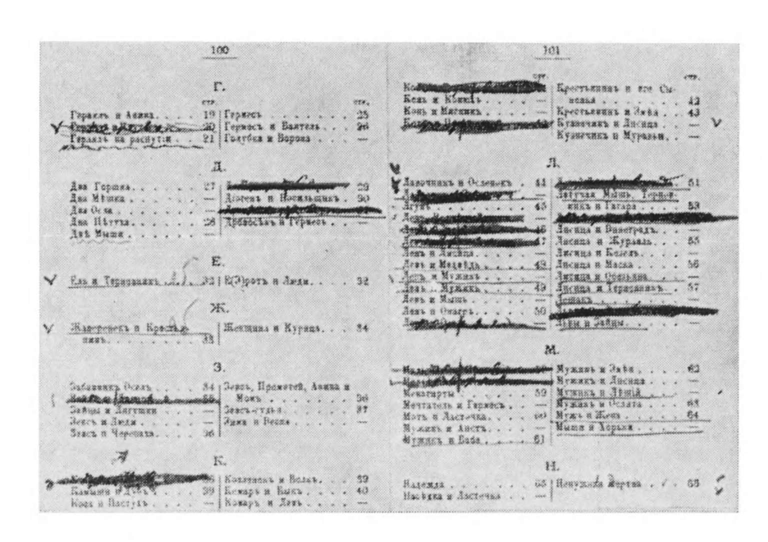
В. Д. Бонч-Бруевич и Д. Бедный на даче в Мустамяках.



Обложка книги, привезенной Придворовым в Петербург с его выпиской из Бокля.



Обложка книги, взятой на фронт. 1914 г.



100

Г.

	стр.		стр.
Геракл и Афина	19	Гермесъ	25
[redacted]	20	Гермесъ и Ваятель	26
Геракл на распутіи	21	Голубка и Ворона	—

Д.

Два Горшка	27	[redacted]	29
Два Мѣшка	—	Дитя и Носильщикъ	30
Два Осла	—	[redacted]	
Два Пѣтуха	28	Дровосѣкъ и Гермесъ	—
Двѣ Мыши	—		

Е.

Ель и Терновникъ	32	Е(Э)ротъ и Люди	32

Ж.

Жаворонокъ и Крестьянинъ	33	Женщина и Курица	34

З.

Забавникъ Оселъ	34	Зевсъ, Прометей, Афина и Момъ	36
[redacted]	35	Зевсъ-судья	37
Зайцы и Лягушки	—	Зима и Весна	—
Зевсъ и Люди	—		
Зевсъ и Черепаха	36		

К.

[redacted]		Козленокъ и Волкъ	39
Камышъ и Дубъ	39	Комаръ и Быкъ	40
Коза и Пастухъ	—	Комаръ и Левъ	—

101

	стр.		стр.
[redacted]		Крестьянинъ и его Сыновья	42
Конь и Кабанъ	—	Крестьянинъ и Змѣя	43
Конь и Мельникъ	—	Кузнечикъ и Лисица	—
[redacted]		Кузнечикъ и Муравьи	—

Л.

Ласточка и Соловей	44	[redacted]	51
[redacted]	—	Летучая Мышь, Терновникъ и Гагара	53
Лгунъ	45	[redacted]	
[redacted]		Лисица и Виноградъ	—
Левъ и Лисица	—	Лисица и Журавль	55
Левъ и Медвѣдь	48	Лисица и Козелъ	—
Левъ и Мужикъ	—	Лисица и Маска	56
Левъ и Мужикъ	49	Лисица и Обезьяна	—
Левъ и Мышь	—	Лисица и Терновникъ	57
Левъ и Овцы	50	Лошадь	—
[redacted]	—	[redacted]	
		Львы и Зайцы	—

М.

[redacted]		Мужикъ и Змѣя	62
Менагирты	59	Мужикъ и Лисица	—
Мечтатель и Гермесъ	—	Мужикъ и Змѣй	—
Мать и Ласточка	60	Мужикъ и Осьата	63
Мужикъ и Аистъ	—	Мужъ и Жена	64
Мужикъ и Баба	61	Мыши и Хорьки	—

Н.

Надежда	65	Ненужная Жертва	65
Наседка и Ласточка	—		

Оглавление книги басен Эзопа. Зачеркнуты названия басен, которые Е. Придворов перевел на фронте.

сбившая многих) не сбило и не собьет. И ни перед кем я, действительно, «дураком быть не хочу» (Ломоносов). «Своим разумом» я до всего, так сказать, дошел, и разбираюсь, слава тебе господи, весьма недурно...

...Я, как Вам известно, весьма «внимателен» к авторитетному для меня мнению того или иного лица. Но возводил я когда дурака в авторитеты? И не веду ли я «художественно» свою линию?..»

И в ответ на успокаивающее письмо Владимира Дмитриевича Демьян откликается, не сдавая позиций:

«...Если я, рассерженный «Современным миром», затараторил, что баба, значит — затараторил, и все тут. Осерчал и потерял голову.

...если кто-либо приобрел свойства, дающие мне материал для сатиры, то ясно, какие это печальные свойства. ...Я в высшей степени сознаю ограниченность моего дарования и совершенно не склонен к самообману. Называя себя не уличным, мелким фельетонистом, а серьезным сатириком, я говорю о серьезности моей работы, которую я выполнял ответственно по мере моих малых сил. Я никогда не зубоскалил, Вы это знаете, и не думал о дешевом успехе. Наоборот, я видел свой путь усыпанным отнюдь не розами, а шипами, и меня это не пугало и не пугает. Как-никак, а я все-таки работник и, как таковой, требую к себе уважения. От своих. А на чужих... мне наплевать. Кажется, это ясно, и я не знаю, что Вас заставило меня непременно прихорашивать. Я — корявый, нескладный, и пусть! Зато я не фальшивил. И тянулся всегда к тем, кто... неспособен к фальши, например, Вы. Если я в ком ошибся, то с кем ошибок не бывает?»

Он настолько справился с собой, что теперь не только не пишет горьких признаний жене, а, напротив, успокаивает и учит ее:

«Голубчик, Вера, не надрывай своей души желанием объять необъятное. И не делай вида, что ты понимаешь все, чего ты часто не понимаешь. Легко стать смешной. Конечно, пройдет год, два, три, мы с тобой будем работать вместе, и ты научишься разбираться хорошо в том, в чем я сам теперь с большим трудом разбираюсь. Меня спасает сметка, нюх и упорное, непоколебимое стремление к честному решению вопросов, которые — увы! — многими толковыми людьми решаются нечестно».

Демьян настоятельно просит жену быть осторожнее в поведении и в письмах. Ему хорошо известен «тыловой фронт». Он опасен для жены Демьяна Бедного.

Вот он узнал из газетного отчета, что жена была на судебном процессе, где показываться ей было вовсе не след. Делает язвительный вывод: «Отныне ты личность, так сказать, историческая...» И всячески внушает необходимость быть осторожнее. Но хлопот не оберешься!

«...В газетах прошу не делать никаких надписей. Ты пишешь ужасные вещи. Не до жиру, быть бы живу. Попали в кашу».

Сам он очень осторожен. Ни на минуту не забывает не только про обычную цензуру, но и ту, что называет «известным сволочным учреждением». Именно там застряли, по его утверждению, многие письма жены, которая пренебрегала необходимыми предосторожностями. Он сокрушается: «В результате все твои письма застряли там, откуда их выкопает какой-либо наш потомок через сотню лет и будет читать все что надо и что не надо. А ты там, я знаю, написала всего столько, что и охранники спасибо скажут и потомку не насмеяться. Охранник вычитает между строк больше, чем написано, и потомок узнает из семейной жизни то, что никому никогда не должно быть известно. Это мне урок!»

В «уроках» недостатка не было.

«Строгости насчет писем крайние, и я положительно не знаю, что и как писать. А впечатлений гораздо больше, чем на прежнем фронте», «Отныне письма к тебе и всем, всем будут короче воробьиного носа».

«Сегодня у нас приговорили в суде на 3 года — за письмо, где человек разболтался! Вот почему я мало, почти ничего о войне не пишу. Мало того, прошу тебя, если сказки где пойдут, не печатать, боже сохрани, «Действ. армия».

И автор антивоенных басен ограничивается в письмах лаконичными ироническими вопросами: «...а дела-то наши на поле брани?..», или: «...Что там с Верой Михайловной! Отступает? Сосредоточивается? Н-да-с!..» Все явственнее он предвидит, к чему это может привести: «Одного мира, пожалуй, долго ждать». И, имея в виду свою цель (не ждать — работать надо!), долбит, как любил говаривать, «в одну точку, в одну точку» Бонч-Бруевичу: «Н а м н у ж е н с в о й ж у р н а л!.. При строго умелом подборе сил можно ба-а-альшое дело сделать». Этого ему показалось мало. И он тут же уполномочивает жену вместе с приветом Бонч-Бруевичу, «которого я как будто вижу перед собою с хитрыми и добрыми глазами», передать: «А Владимиру Дмитриевичу скажи: у нас должен быть свой журнал. Мы еще молоды. Мы должны поработать...» И поскольку он работает, ему, конечно, нужна тьма газет, книги.

В части он и так на подозрении, особенно после зимней побывки, с которой пришлось сбежать до срока. Непосредственное начальство — исключительно гнусный тип, доктор Трилев, которого солдаты презрительно окрестили Трилька-Брилька, рад придраться. Демьян после рассказывал о такой сцене:

« — Опять у вас ворох газет. Почему у вас такая страсть к газетам?

— Интересно знать, что пишут!

— Вы сами не писачка ли?

— В душе.

— Может, вы и с Максимом Горьким знакомы?

— Не прочь бы познакомиться.

— Вот когда познакомитесь, скажите ему, что, мол, надворный советник Владимир Тимофеевич Трилев желает осчастливить его и познакомиться с ним. Вы приведете его ко мне.

— Зачем это?

— Он представится: «Максим Горький». А я ему: «Пш-шшел вон, босяк!»

— И коленом под эту... Ф-фить! — подсказал ему кто-то из офицеров.

Общее ржанье».

Подобные сцены приходилось сносить молча. Помалкивать приходилось даже с солдатами: позволить себе агитировать против войны он не мог. Делал это своими баснями. Но не лишал себя удовольствия спровоцировать на откровенный разговор; это была «разведка чтением» тех же газет.

«Где-то под Краковом читаю я солдату, Николаю Головкину, газету — кадетскую «Речь». Газета, захлебываясь от восторга, описывает патриотическую манифестацию интеллигенции и студентов: с иконами и трехцветными флагами чуть ли не стояли на коленях у Зимнего дворца.

Головкин слушал, слушал, а потом сплюнул и изрек:

— По-орож-ж-жняки!

Более метко охарактеризовать русскую интеллигенцию нельзя было!» — пришел в восторг Демьян, которому только этого и надо было.

Вот в таком-то тесном контакте со своим читателем он работал свои басни. Часть того, что было написано за первый год пребывания на передовых, пропала бесследно. Вместо стихов на страницах журналов и газет появлялись лишь белые прямоугольники. Это были «лысины цензуры».

Кое-что проскакивало буквально чудом: написанная еще

в августе 1914 года басня «Пушка и Соха» напечатана в журнале «Объединение». И всюду, куда только мог, Демьян пристраивал своих Львов, Волков, Оленей, Лис, Котов и Пескарей, которые из-под сверхэзоповского покрова утверждали одну и ту же большевистскую, ленинскую — противовоенную истину. А сам утверждал, что «живет во всех смыслах сказками», и требовал присылки на фронт все новых и новых.

«Милостивая государыня! — писал он жене. — Когда Вам случится быть в Питере, то закажите моей поставщице и разорительнице Серафиме Константиновне приобрести для Вашего вековечного слуги нижеследующие книжечки:

1) Когутов И., Сказочные материалы и их исследование. Цена 65 коп. 1915 год.

2) П. Соловьев (Аллегро), Чудесное кольцо. Народные сказки. Изд. И. Сытина. М., 1915 год. В папке — 90 коп.

Обе книжечки можно мне прислать. И вообще, сударыня, следите за свежими сказками (Академия наук)».

Чем дальше, тем заказов больше, и тон их становится все категоричнее:

«Очень меня огорчило, что ты не сумела раздобыть книгу сказок поморских, о которой я писал. Из-под земли выкопайте, а чтобы была. Сходи в академию и спроси, как ее достать, если она не поступала в продажу. Есть же эта книга, и ее надо достать. Я сказками живу во всех смыслах. И ты это знаешь. Чтобы книга мне была!»

«И книгу достать непременно, но не высылай. Владимир Дмитриевич знает, где о ней можно справиться».

«Читаешь ли ты вообще теперь что-либо, кроме газет? Складывай мои отметки, какие книги мне надо будет приобрести после войны».

Оказывается, он серьезно думает о том, что будет «после войны», и его заботят не только те книги, что нужны на фронте. Неукротимый библиофил дает жене задание:

«...В одной из заметок ты спрашиваешь, куда девать книги, если бы Финляндия стала театром военных действий? Сомневаюсь, чтобы дело дошло до Финляндии. А если бы дошло, то в миллион раз для меня важнее тогда, куда тебе деваться? Я сказал бы: в Харьков. Ясно, почему.

Но что касается книг, то вот моя покорнейшая просьба: поработай денек-два и перепиши в особую тетрадку полные заглавия всех, решительно всех книг и книжечек, имеющихся у нас, чтобы мне легче было после возобновить и пополнить, если чего недостанет. Тетрадь хранить в Питере. Записывать надо примерно так:

Куно-Фишер, История философии. Том I. Изд. 1904 года, страниц 812.

Том II. Изд. 1905, стр. — и т. д.

Кареев Н. И., История Западн. Европы. Т I... и т. д.

Кольцов А. В., Полн. собр. стих. Изд. Академии наук, 1910.

Очень недурно бы потом составить алфавитный список».

Не странно ли, что все это писано фронтовиком, пребывающим в постоянной опасности? Человеком, на которого тяжело давят царские погоны? Которого преследует начальство? Нет! Что бы тут ни происходило, у него есть своя дума: «О военных делах писать не хочется. Я ясно предвижу, чем все это кончится». И Демьян Бедный бодр и уверен настолько, что работает впрок: на фронте задуман, а частично набросан цикл басен о толстосуме — «Дерунов 1001-й»; начата повесть «Про землю, про волю, про рабочую долю». Он знает, что сейчас об их публикации нечего и мечтать. Но он ясно предвидит...

А что до фельдшера Придворова, то пусть точку на его фронтовой жизни поставит та георгиевская медаль за доблесть, которую он заслужил и получил, несмотря на козни начальства.

Глава V

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Незадолго до того, как страницы календаря за 1915 год приблизились к концу, ротный фельдшер Придворов уже освободился от военной службы.

Осенью пятнадцатого года мы могли бы его найти в Питере, на Литейном, 30, в качестве... чиновника!

Приехав на побывку, он увидел знакомый город солдатскими глазами:

Как по улице Морской
Шум-движенье день-деньской,
Мчат моторы и кареты...
Пешеходы разодеты, —
Им мороз трескучий люб:
Не проймет он барских шуб,
Дорогих пушных салопов.
То ли дело средь окопов!
Тут морозцу путь наскрозь.
Знай, солдатика морозь!
. . . .

Но как «солдатик» оказался на Литейном, 30 и что там находилось? Созданный во время войны Центральный военно-промышленный комитет.

Царское правительство в ходе войны среди прочих своих оплошек обнаружило еще одну: по мобилизации взяли такое количество квалифицированных рабочих, что это отразилось на состоянии промышленности. Тогда и организовали комитет с его основным Рабочим отделом. Заведующий этим отделом, экономист Яков Самойлович Розенфельд, по представлению промышленников, утверждал в генеральном штабе отсрочки от призыва.

Розенфельд был старым знакомым Придворова и отлично знал, кто он такой. Еще в довоенные времена, встречая поэта, шутя спрашивал, как он не заблудится на Ивановской, где печатают и «Луч» и «Правду»? «Не выйдет ли у вас как-нибудь вроде Молчалина? «Шел в комнату, попал в другую!» — улыбался Розенфельд. А Демьян отвечал Якову Самойловичу: «Не ошибусь, дорогой. И заблудиться мудрено. В «Правде» ребята лучше!»

Когда Демьян встретил Розенфельда теперь и, рассказав о себе, поинтересовался его делами, тот сделал неожиданное предложение: пригласил к себе в отдел, обещая оформить откомандирование с фронта. Начальство охотно избавилось от подозрительного фельдшера.

Не проявил ли Демьян Бедный беспринципности, соглашаясь работать в подобном учреждении? Нет, на такие компромиссы приходилось идти не ему одному. В солидной организации крупной городской буржуазии, ратующей за войну до победного конца, — Союзе городов — служили Еремеев, Подвойский, Савельев, Кедров.

Придворов очень быстро зарекомендовал себя исполнительным и точным работником. Никто из комитетчиков не знал, что новый деятель — Демьян Бедный. До поры ему было суждено вести двойную жизнь. Но он был хорошо натренирован. После такого начальника, как Трилька-Брилька, не так уж трудно иметь дело с промышленниками. Даже интересно наблюдать их «простым глазом в натуральную величину». Нагляделся тут новых «зверей» для своих сказок. Хвалился Горькому, что у него теперь есть собственный капиталист в друзьях, каким у Алексея Максимовича был Савва Морозов. Это московский фабрикант Иван Коновалов, который, узнав, что Придворов когда-то пописывал, даже предложил ему деньги для издания газеты. «Сознательный у меня капиталист! — одобрял

его Демьян. — Гордится, что у него на фабриках не бывает забастовок. Была бы «Правда»! Ее туда бы подкинуть!»

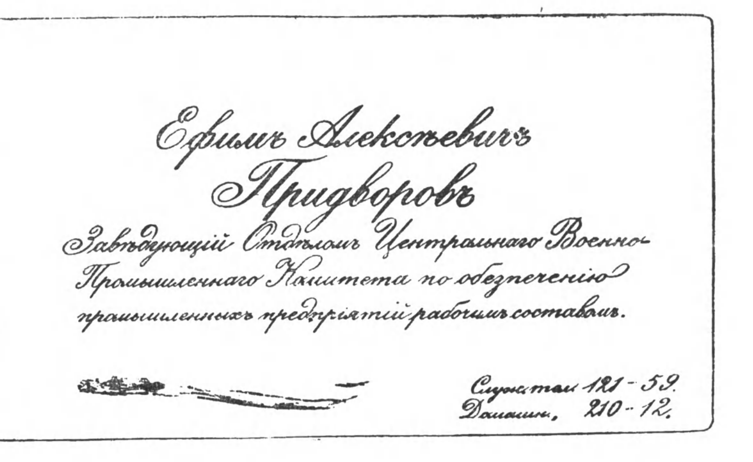
А пока он впрок намечал собирательный портрет тех, кого видел в комитете:

Расторопные тузы,
Русь «спасая» от грозы,
Собирались в комитеты
Да прикидывали сметы.
. . . .
Но случилась тут заминка:
Все, кажись, идет под стать,
Да рабочих не достать;
С фронта брать чертей обратно
Тож не очень-то приятно:
«Очень вредный элемент»,
Замутят народ в момент,
Перепакостят все стадо.
Хоть опять же думать надо:
Из ребяток боевых
Половины нет в живых.
Так и сяк тузы гадали,
. . . .
В комитетах заседали,
. . . .
Где военный есть заказ, —
Там придется поневоле
Уж не брать рабочих боле
В пополнение полков
От вагранок и станков,
А держать их «на учете»,
Не ахти в каком почете:
Стал рабочий призывной
Настоящий крепостной, —
Больше дела, меньше платы,
Забунтуй — сошлют в солдаты.

Вскоре сложилось так, что преуспевающего на новом поприще поэта сам же Розенфельд предложил сделать своим преемником. Кандидат не в пример Розенфельду обладал хорошей русской фамилией, а в ту пору это особенно ценилось.

Демьян Бедный встал на руководящий учрежденческий пост со штатом сотрудников, отдельным кабинетом с солидной мебелью. У него даже появилась визитная карточка.

Работал он, как всегда, аккуратно, исполнительно, но только, по словам Розенфельда, совершенно «забольшевичил» свой отдел. Сюда на службу оказался принят Александр Серафимович Серафимович, его брат Попов, частенько заглядывал Бонч-Бруевич, даже ездивший в командировки от комитета.



Визитная карточка.

Бывали еще какие-то лица, Розенфельду неизвестные, но отлично знакомые Придворову. Приютил он здесь многих.

Не читал ли он им наброски начатой на фронте повести? Уж больно они иногда выходили из его кабинета оживленными...

Наше царство многолюдно.
Все войска как соберем
Да всей силой как напрем, —
Не спасут тут немца пушки,
Не война, сказать — игрушки!
Напирай да напирай,
В день полцарства отбирай! —
А что головы кто сложит,
То царя не так тревожит!
Миллион голов аль два —
Не своя ведь голова!

. . . .

Гибло войско безответно,
Но кой-где уже заметно
Падать стал «военный дух»,
И уже роптали вслух.

Да, может быть, когда-нибудь он что-то и прочел. Но вообще-то «своего» времени не было. Теперь ему иногда казалось, что на фронте он был не так уж занят.

Целые дни в заседаниях, со сводками, за проверкой этих списков. Обязательный прием представителей предприятий со всей России; ведомств — военного, интендантского, морского,

земских союзов. Вместо повести вот какие бумаги лежали у него на столе:

СПИСОК

военнообязанных служащих отдела Центрального военно-промышленного комитета, нуждающихся в отсрочке призыва на военную службу

№ пп	Фамилия	Род призыва и отношение к воинской повинности	Занимаемая должность	Примечание

Торопливо он пишет остающейся в Мустамяках жене, что вряд ли вырвется даже в субботу. Квартира на Пушкинской брошена давно. Он снял себе крохотную на Песках, где они были дешевы и откуда можно было за пять минут дойти до Полетаева, Бонч-Бруевича и других друзей.

Именно этот адрес оказался внесенным Лениным по приезде на родину в записную книжку: «Придворов Ефим Алексеич: 6-з Рождеств[енская], 11, кв. 12 (до ½ 11) 21.0.12; служебный 121.59 (на ура)» [1].

А пока Ильича не было, его единомышленники жили в тревогах, чувствовали приближение событий, которым всемерно содействовали. У Демьяна такое «ожидание» требовало новой работы. Повесть пришлось бросить. Но хотелось издать хотя бы цикл басен — переводов Эзопа, которым столько было отдано сил на фронте. Кроме нескольких опубликованных где попало, басни, нужные именно сегодня, лежали. Как их вывести на свет божий? Где напечатать? Приткнулся было ненадолго к детскому журналу «Маяк», к малозаметному столичному еженедельнику «Новый колос», да его подвел под конфискацию... Все редакторы были напуганы особой — военной — свирепостью цензуры. Демьян же гнул все свое, все «в одну точку», все раздевал и выставлял на посмешище то, что полагалось почитать.

И все же было в Питере одно издательство, куда Демьян Бедный заходил, как к себе домой, где хотели и могли попытаться его напечатать.

Демьян утверждал, что помнит это издательство «с пеленок». Оно родилось на дому Бонч-Бруевича. Известная «Херсонская, 5» официально значилась на обложках книг, выпущенных с маркой «Жизнь и знание».

Демьян помнил, как, потихоньку разворачивая новое легаль-

---

[1] «Ленинский сборник XXI». М., Партиздат, 1933, стр. 85.

ное большевистское издательство, Бонч-Бруевич начал работать со своими чадами и домочадцами в убогом дворе на Фонтанке. Редакционной частью ведала Вера Михайловна. Леле случалось бегать курьером. Няня частенько фигурировала в качестве экспедитора, доставляя грузы к почтовым поездам. Иногда она выступала как финансовый туз.

— Ульяша, не найдется ли у вас тридцати семи рублей? — звонила домой Вера Михайловна. — Через неделю... Так привезите, пожалуйста, в издательство. Да, сейчас. Заодно проедете с тюками на багажную станцию: как раз есть ломовик. Ничего, сегодня можно обойтись без обеда. Найдется что-нибудь вчерашнее...

Если у няни оказывалась меньшая сумма, все присутствующие принимались за кошельки. Копались в сумочках подружки — Оля и Шурочка, упаковщик наскребал что-то за подкладкой шапки; наморщив лоб, отсчитывал свою лепту и Демьян: «И за каким дьяволом меня занесло к вам именно сегодня?!» А такое «сегодня» бывало частенько...

Бывало и похуже. Трубный глас бухгалтерши Анны Ивановны возглашал, что требуется... пять тысяч. И хотя Демьян уверял, что боится строгой Анны Ивановны, ему оставалось только развести руками. Не только денег, но соответствующей шутки не находилось. Мрачнел даже Бонч-Бруевич. На него устремлялись испуганные глаза сотрудников. Однажды при такой сцене присутствовал видавший виды Ольминский. Он испытующе глядел на друга.

Но молчание Бонч-Бруевича длилось недолго. Через минуту вспыхнуло оживление, хохот. И Ольминский со свойственной ему точностью формулировок определил:

— Ведь это что же? Использование для социалистического дела самой капиталистической банковской системы? Ну хитер!.. Как это вы додумались? — смеялся седовласый экономист, которого вообще нелегко было рассмешить. Демьян-то это хорошо знал.

А Бонч-Бруевич вышел из положения очень просто: предложил всем не имеющим ни гроша за душой сотрудникам выдать издательству дружеские векселя: произведя их учет в банке, можно было собрать нужную сумму. Подобной находчивостью дело вытягивали и теперь. Когда Демьян вернулся в Питер, он застал «Жизнь и знание» на роскошном новоселье: десятикомнатная квартира, с большим складом, столовой для сотрудников. Старые знакомцы — Оля и Шурочка — с гордостью повели «слоника», как они между собой окрестили Демьяна, на склад. Тут было чем похвалиться. Девушки так

застрекотали, что ляпнули данное ими прозвище вслух. «Вы не обижаетесь?» — смутились обе. Он только отмахнулся, увлеченный представившимся зрелищем. Вот здесь, среди этих пачек, скоро будет и Эзоп. Реклама уже выпущена. Весьма вероятно, что книга появится еще в этом году.

Подошел канун 1916 года. В издательстве радость: приехала Вера Михайловна Величкина. Кто-то надумал устроить общую встречу Нового года: пригласить авторов, всех сотрудников, близких делу людей.

В тот вечер мощная граммофонная труба разносила «Марш Черномора» по всей лестнице. В передней упаковщики торжественно встречали гостей, помогали раздеваться. Елка, поставленная в самую большую комнату, была от всех закрыта. Молодежь суетилась, караулила дверь, чтобы никто, даже Бонч-Бруевич, не взглянул на елку до срока. Ждали Горького. Он приехал с сыном. Явились и все другие. Наконец дверь распахнули — и перед глазами собравшихся предстала, как сказал Алексей Максимович, «настоящая издательская елка».

Вместо звезды на верхушке был укреплен блокнот с цифрой «1916». Вместо игрушек и сластей на ветках висели перевязанные цветными лентами книги. Поближе к верхушке — «Общедоступная библиотека». Те, что потолще, побольше форматом, пестрым ковром украшали подножие. Тут были едва ли не все книги «Жизни и знания». Но тут не было басен Эзопа. И не потому, что устроители елки были невнимательны. Демьян раньше их знал, что книга не выйдет. Что поделаешь, если титульный лист рукописи оказался размашисто перечеркнутым цензорским красным карандашом: «Знаем мы этого Эзопа!..»

Решительно ничего хорошего Демьян про ушедший год сказать не мог и недоброжелательно провожал его: «Старый год, такой, сякой, отбыл в вечность на покой, и ему, седому хрену, Новый год пришел на смену».

Все в стихах выходит гладко,
А на деле — ой, не сладко!
Не пирог был на меду! —
Жизнь в пятнадцатом году.

...Пока те, кто помоложе, веселились, танцевали и, гадая себе на счастье, лили воск, в кабинете Бонч-Бруевича шла беседа. Демьян расспрашивал Веру Михайловну о фронтовых делах. От них недолго было перейти к положению в стране, которое остро чувствовалось как грозовое. Все сходились на том, что долго так продолжаться не может. Старшие гости

издательства тоже по-своему «гадали». Только без воска. Они располагали полной информацией о том, что пишет Ленин; как настроена солдатская и рабочая масса; каково в деревне.

Собравшиеся здесь были даже в курсе того, что творится в высших военных и придворных кругах. Никто только тогда не знал, что очень скоро источник этой последней информации станет много ближе к большевистской семье. А это случилось довольно скоро.

...В феврале его превосходительство генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич был отстранен от участия в ведении войны.

Старший брат Владимира Дмитриевича — Михаил не разделял взглядов и образа жизни младшего брата, но был привязан к нему. Не только не порывал с ним связи, но едва меньшой попадал в «Кресты», генерал выручал, делал что мог. Не боялся бывать в доме вечно состоящего под надзором полиции брата, даже проведывал его в тюрьме. Но при этом он строго разделял семейные отношения от тех, в которых у него не могло быть контакта: свой путь Михаил Дмитриевич считал предопределенным раз и навсегда. Он дал в юности присягу на верность царю и отечеству. Теперь, в военное время, когда генерал занимал в царской армии командные посты да и вошел в возраст, в котором редко меняют взгляды, он был более чем когда-либо тверд в своих взглядах, делал все во славу русского оружия.

Случалось, однако, что и раньше «хитроумный», как нередко называл его Демьян, меньшой Бонч-Бруевич пробивал эту стену верноподданничества. Брался за дело вроде в шутку. При этом Демьян, сам не зная того, иногда помогал ему. Был случай, когда генерал так откликнулся на экспромт про «старца», заканчивающийся: «Ах, зачем я не распутен, не Распутин, господа?»

— Огромной империей правит безграмотный, пьяный и разгульный мужик! — не выдержал генерал.

Но дальше разговор пресекся, хотя генерал после признался, что серьезно задумывался над тем, чтобы «убрать» старца.

Сейчас генералу было не до того. При дворе активную деятельность Михаила Дмитриевича по разоблачению немецких шпионов (а они кишмя кишели в командовании русской армии вплоть до Главного штаба) сочли «шпиономанией». Императрица вызвала генерала Бонч-Бруевича в Царское Село. Ее величеству угодно было знать, в каком состоянии находятся войска Северного фронта. Услышав, что положение может оказаться тяжелым, но, к прискорбию, не пользуется нужным

вниманием Ставки, царица предложила здесь же написать докладную, обещав отослать ее царю. Бонч-Бруевич вздохнул было свободно — аудиенция обнадеживала. Но дело пошло совершенно иначе.

Недовольная разоблачениями Бонч-Бруевича, злая и мстительная императрица повернула по-своему. Впавший в немилость генерал был отозван с должности начальника штаба фронта, а печально знаменитый сдачей Порт-Артура генерал Куропаткин возглавил этот важнейший для Петрограда фронт. Лишенный всякой власти, Бонч-Бруевич был передан просто в «распоряжение» бездарного семидесятилетнего командующего. И теперь при встречах с младшим братом Михаил Дмитриевич стал откровеннее. Хватаясь за голову, признавался: «При дворе творится нечто такое, что просто похоже на сумасшедший дом!..»

Друзья младшего Бонч-Бруевича слушали не без интереса обо всем, что творится там, наверху. Налицо были все признаки того, что Ленин называл революционной ситуацией, указывая, что для революции требуется не только то, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли жить по-старому». Все шло, как было предугадано Ильичем в его «Нескольких тезисах».

Полторы тысячи стачек. Дезертирство с фронтов. Братание. Поджоги имений. Голод. Восстание в Средней Азии и Казахстане. Декабрь 1916 года увенчался «событием» и в «верхах». Однажды темной декабрьской ночью великий князь Дмитрий, просто князь Юсупов и великий черносотенец Пуришкевич прикончили, наконец, Распутина. Меньше двух недель оставалось до 1917 года.

И этот Новый год Демьян встречал в тесном кругу друзей, у Николая Гурьевича Полетаева, вместе с Горьким. Жена оставалась в Мустамяках — нельзя было оставить новорожденную дочь. Демьян поторопился приехать туда. Хотелось поразмыслить на досуге.

Сел к столу: что сейчас главное? Столько событий!.. Нарастает стачечная волна. Нарастает голод. Все навязчивее слухи о подготовке мира с Германией, об отречении Николая от престола в пользу сына. Надо многое обдумать, перечитать. Дорого бы он дал сейчас за маленькую ленинскую весточку, за ориентир, что то и дело приходил от Ильича в правдинское время! А впрочем: вот его нелегальная брошюра «Социализм и война». Вот решения Циммервальдской левой и Кинтальской конференций. Разве не ясно, куда плыть, по этому листу писчей бумаги? Все против течения в борьбе против войны, за

превращение войны империалистической в гражданскую, в войну против своего правительства, против буржуазии и помещиков.

Сел за работу. Еще неизвестно, басня это или сказка. Набросано только начало. Не найдена форма. Еще неизвестно, когда напишется конец и где это можно будет напечатать. Но уже ясно, что здесь уместится программа действий: против течения! Это Демьян Бедный знает твердо.

И когда в середине февраля начались события, которые привели к восстанию двадцать седьмого; когда в восторженном Петрограде обнимались, целовались и пели «Марсельезу», поэт закончил свою работу. Веселый (выпустили политических заключенных!) он пришел в захваченную Петроградским Советом типографию «Копейки» на Лиговку, где печатались «Известия». Но у Демьяна не кружилась голова, он не поздравлял хмельных от победы читателей. Не было ни «ура», ни «да здравствует!». А был просто лаконичный обзор происшедшего.

«...В далеком-предалеком царстве, в ненашем государстве, за тридевять земель отсель...» — спокойно, неторопливо начинал поэт. Рассказал о ходе борьбы с самодержавием. Двумя-тремя строками изобразил готовую на всякое предательство буржуазию. И немного места понадобилось ему, чтобы подытожить: «Того ль душа хотела? Эх, не доделали мы дела!»

Как всегда, Демьян не оставил своего читателя без дружеского совета: оказывается, в «далеком-далеком царстве» «недоделавшие дела»:

Потолковали,
Погоревали
И богачей смели, как сор.

. . . .

Как это все устроено у них на месте
И с применением каких геройских мер,
Вы этого всего нагляднейший пример
В КОММУНИСТИЧЕСКОМ найдете МАНИФЕСТЕ.

Сказка-басня была напечатана во втором номере «Известий Петроградского Совета рабочих депутатов» 1 марта 1917 года.

В этой газете Демьян Бедный опубликовал всего несколько стихотворений. Не только вредный, но привередливый был этот Демьян. Коммунисты не имели большинства в Петроградском Совете, и газета «Известия» стояла на центристских позициях. Демьян же теперь мог позволить себе привередничать: 5 марта возобновилась «Правда».

Пять лет назад он говорил читателям: «Полна страданий наших чаша». Был серьезен он и сейчас. Но в стихах чувство-

валась глубокая удовлетворенность. Царские министры угодили в ту крепость, где долгие годы томились революционеры:

«Власть» тосковала по «твердыне»,
«Твердыня» плакала по «власти».
К довольству общему, — отныне
В одно слилися обе части.
Всяк справедливостью утешен:
«Власть» в подходящей обстановке.
Какое зрелище: повешен
Палач на собственной веревке!

Стихи без названия, Только в эпиграфе — три слова Пушкина о Петропавловской крепости: «Твердыня власти роковой...»

Глава VI

С АПРЕЛЯ ПО ОКТЯБРЬ

Впервые они встретились в «Правде».

Как провел Ленин первые сутки по возвращении на родину, известно точно: Финляндский вокзал. Особняк Кшесинской. Таврический дворец. Могила матери на Волковом кладбище. Заседание ЦК на квартире Бонч-Бруевича. Снова Таврический. И наконец, оттуда поздно вечером — уже на переходе ко вторым суткам — в «Правду».

Демьян был здесь. В эту ночь верстались его стихи, а он обязательно приходил считывать корректуру. На этот раз шли «Петельки»:

Кадет дрожит, как в бурю лист,
Кадет наводит новый глянец:
Вчера лишь был он монархист,
Сегодня он «республиканец».
Кадеты — сколько там «голов»!
Каких от них не слышишь слов!
Посовещались полнедельки,
В программе краску навели,
Тут поскребли, там подмели...
А как коснулося земельки —
Давай выкручивать петельки!

Случилось так, что никто из правдистов, начиная от дяди Кости и кончая тем же Демьяном, не рассказал о первом появлении в своей редакции Владимира Ильича. Известен только факт: поздно вечером Ленин приехал на Мойку, где печаталась «Правда».

Минуло полвека, а до нас дошла только одна фраза, сказанная в тот вечер или ночь Владимиром Ильичем Демьяну Бедному:

— Зачем печатался в «Мире божием»?

Эти слова известны благодаря самому Демьяну, которому ленинский укор не был неприятен; позже неоднократно поэт делал публичные признания о том, как относился к замечаниям Ленина:

...И все ж, коль мне Ильич порою,
Встревоженный моей «игрою»,
Грозит в окно: «Смири свой нрав!»
Он, как всегда, я знаю, прав.

Пусть это сказано позже. Но и тогда, когда они впервые пожали друг другу руки, а в течение беседы Владимир Ильич заметил, что публикация Демьяновых стихов в таком журнале, как «Мир божий», мягко говоря, не делает ему чести, — укор пришелся поэту по нутру.

Во-первых, Демьян понимал, что человек такой деликатности, как Ленин, никогда не высказал бы укор недостаточно близкому товарищу. Так говорят только со своими. Во-вторых, потому, что это была правда. Печатался. Значит — поделом! В-третьих, оттого, что поэт вообще не страшился взыскательности, а когда она проявилась в вожде, рядом с которым теперь предстояло работать, она означала: «Смотри в оба! Спуску не будет!» И очень хорошо!

Сразу пленила Демьяна и та самая простота вождя, которая иным людям казалась чем-то не совместимым с их понятиями о величии. Ленин во всем был именно таков, каким хотелось его увидеть; теперь не надо было спрашивать Ильича, «не икона» ли он, а надо было вовсю работать. Не давать спуску ни себе, ни другим.

Отлично!.. И снова посыпались с правдинских полос тумаки врагам. Призывы к друзьям. Ядовитые оценки всех союзов и коалиций. Прозорливые предсказания. Демьяну стало не хватать собственного имени. Он подписывался «Мужик Вредный», «Яким Нагой», «Иван Заводской», «Солдат Яшка», просто «Шило».

Разумеется, у «всех» этих авторов было много общего, но главное: с момента, как прозвучали Апрельские тезисы, «они» единодушно сделали эти тезисы политической программой своих выступлений.

Ленин написал для «Правды» с 3 апреля по 4 июля сто двадцать пять статей. Статьи посвящены анализу расстановки

классовых сил в стране, задачам революции. Статьи Ленина разоблачали буржуазию, взывали к разуму и логике мыслящего рабочего, солдата и развивали их политически. Стихи же Демьяна Бедного находили доступ к чувству тех же рабочих и солдат, выставляли перед ними на посмешище врагов.

Временное правительство, не успев народиться, ищет поддержки у разных партий, у религии?

Мысль буржуазная убога:
«Несть власти, аще не от бога».
А власть, едва лишь став на ноги,
Уже от смены ждет подмоги.
Несть власти, аще... аще... аще...
Сменяйся, милая, почаще.
Так, понемножечку, с подходу,
Глядь — перейдешь ты вся к народу!

Меньшевикам Демьян просто презрительно бросит: «Вам утверждать свободу — не по зубам орех!»

Конфискация земли отложена, а вместо нее введен налог? Поэту «жалко» царскую семью — ведь и Романовым придется стать налогоплательщиками. Он так и слышит плач царя: «Царята наши что ж? От голоду помрут! Ни на табак тебе копейки, ни на мыло!»

А читателя поэт предупреждает:

Пока мы слушаем хорошие слова,
Нас угостить хотят весьма преподлым делом.
Товарищи, змея двуглавая жива, —
Корону где-то чистят мелом!

В предвидении того, как в конце концов решится вопрос о земле, Демьян посоветует мужичкам: не надо громить барские имения, «чтоб не брала их после жалость, что изничтожили свое!».

Честно поэт сознается перед читателем в обращении «Укрепляйте «Правду»!»:

Пишу, ей-богу, на бегу,
Сказать бы лучше — сердце радо.
Но... было б сказано, что надо.
Хоть малость, как-нибудь, но делу помогу!

Несмотря на это «как-нибудь», его стихи иногда достигают совершенства по ясности мысли, хлесткости выражения и предельной лаконичности. Таковы четыре строчки, комментирующие утверждение меньшевиков, что «организованное братание

возможно лишь после заключения всеобщего мира», а пока надо наступать.

Товарищ, сойдемся вдвоем
И во всем поквитаемся:
Сначала друг друга убьем,
А потом... побратаемся.

Если эти четыре строчки буквально взрывали фронты, то из-за солдатской песенки «Приказано, да правды не сказано» поднялось такое, что пришлось сбежать из Питера, скрываться в Мустамяках. Строчки очень просты:

Нам в бой идти приказано:
«За землю станьте честно!»
За землю! Чью? Не сказано.
— Помещичью, известно!

Нам в бой идти приказано:
«Да здравствует свобода!»
Свобода! Чья? Не сказано.
А только — не народа.

...Буржуазные газеты писали, что «в шестнадцати строчках этой песни содержится весь яд той большевистской проповеди, которая разложила столько частей нашей армии».

Свидетельств того, как Ленин оценивал именно эту удачу Демьяна, нет, но Бонч-Бруевич рассказывал, что Владимир Ильич, просматривая уже вышедшие книгой стихи, приговаривал: «Прекрасно! Как хорошо сказано!! Метко! Очень хорошо!» — ...и, читая, все более и более смеялся. По поводу же того, что поэта всячески поносят и травят «узколобые политиканы-меньшевики и прочие деятели Петроградского Совета», по словам Бонч-Бруевича, Ленин сказал: «Эти пошляки не понимают всего значения творчества Демьяна Бедного. Оно — действительно пролетарское творчество, оно близко рабочей массе, которая его должна прекрасно понимать, и я убежден, что теперь при свободе печати он проявит себя еще более значительно и разнообразно».

Действительно, освобожденный от рамок сверхэзоповских форм, от необходимости иносказательного письма, Демьян после февраля перешел к еще более прямым ударам. Он бросил свою завуалированную сатиру и обращался к злобе дня без всяких аллегорий. Доходчивость до широкого читателя оказалась такова, что спустя годы собиратели народного творчества привозили его тексты как образцы фольклора.

Враги по-прежнему аттестуют его грубияном, лубочным ав-

тором. Образованные господа будто не замечают, какая большая образованность и доскональное знание классической литературы требуются для его простых лубков. Ведь о «царе и царятах» он говорит с детской непосредственностью Бернса, Беранже; иногда создает «перепевы» строчек Лермонтова, Пушкина, Добролюбова — при этом строки Добролюбова не очень известны даже тем «демократам», которые заводили в журналах отделы, «подобные» добролюбовскому «Свистку».

Тонкое понимание народного строя речи тоже не может прийтись по вкусу временной власти лета семнадцатого года, тем более когда на былинный лад излагается такое:

Того ли вам хотелося,
К тому ли вы стремилися,
Когда в порыве радостном
Царя осточертелого
С его лихой опричниной
В единый дух смели?
А нынче та опричнина,
Приняв личину новую,
Втирая вам очки,
Уж поднимает голову,
Смелее озирается,
Бойчее огрызается,
Братается с нагайками
И тянется к хлысту.
Покамест вы толкуете,
Как, дескать, по-хорошему,
Без лишнего стеснения, —
По чистой справедливости...
...Они не ждут — готовятся,
Они не остановятся...

«Они» и не остановились. Первая политическая демонстрация 18 июня, которую Ленин считал днем перелома, прошла еще относительно спокойно. Но она прошла полностью под большевистскими лозунгами. Это заставило Временное правительство усилить репрессии против большевиков. Преследования начали принимать угрожающий характер.

Друзья особенно обеспокоены нежеланием Ильича посчитаться с личной безопасностью. Так было с самого начала: стоило рассказать — в Измайловском полку сейчас идет собрание, на котором принимают такую эсеровскую резолюцию, что Ленина там готовы поднять на штыки, он заявил:

— Я сейчас же к ним поеду!

— Что вы делаете? Ведь вас там разорвут в клочья!

— Не разорвут...

Вернулся через два часа веселый:

— Вот вы меня не пускали, а солдаты меня под конец на руках вынесли...

Теперь пришлось скрывать от него, что рабочие несут круглосуточный патруль возле дома на Широкой улице, где он живет в квартире Елизаровых. Об этой охране знала только Мария Ильинична. И в конце июня, когда вражеская слежка за домом стала уж вовсе угрожающей, Ленина с трудом уговорили уйти на несколько дней к Стасовой. Однако, кроме его безопасности, всех близких волновало еще и жестокое переутомление Ильича. Головные боли. Бессонница. Этого не скроешь — выдавал внешний вид. Побледнел, осунулся. Но — каждый день статья, выступление на митинге, участие в заседании. Работа по номеру в «Правде»... Даже близкие не могли полностью дать себе отчет обо всем объеме его работы.

Пришел конец июня. В Питере — пыльное пекло. Ветра нет. Дышать нечем. В этот день Демьян Бедный принес в редакцию стихи, которые сразу наметили в послезавтрашний номер. А раз так... Что он, каторжный, в самом деле? На вокзал! Скорей на дачу! Не передохнешь — и ругаться силы не станет...

В Мустамяках царила тишь-гладь — божья благодать. Как хорошо скинуть пиджак, галстук, окатиться колодезной водой; как хорошо тут сесть поработать на покое! Только в этот день он работал недолго. Было, наверное, часа три, когда жена крикнула:

— Ефим Алексеич, по-моему, к нам гости!

— Не может быть! Я никого не жду.

— Ну посмотри сам, видишь? Извозчик у нашей калитки... Конечно! Идут сюда.

И в самом деле, от калитки к дому шли Владимир Ильич с Марией Ильиничной.

Демьян знал, что Ленин невероятно переутомлен, что Бонч-Бруевич уговаривал его приехать. Но мало ли кто и как убеждал его пощадить себя? Никакого воздействия.

И вдруг не кто иной, как Владимир Ильич, идет навстречу Демьяну, да с чемоданчиком! Посмеивается над удивлением хозяина. И Мария Ильинична улыбается — конечно, довольна, что его, наконец, уговорили. Просиял и Демьян. Моментально начал объяснять своим нежданным гостям, как хорошо он их устроит. Только в одном отношении его радость несколько преждевременна: оказывается, Ильич-то приехал вовсе не к нему, а к Бонч-Бруевичам.

— Уж как договорено! — смеется он, отклоняя приглаше-

ния. — К вам мы завернули по конспиративной привычке: указали извозчику не тот адрес.

— Тогда обедать! Вера, ведь у нас все на ходу? Давай скорей накрывать на стол!

— Мы пообедали в городе.

— Ну что за гости! Это вроде и не гости совсем! Как же мне вас принять, чем попотчевать?

— Пожалуйте водицы.

— Водицы так водицы, — с унынием соглашается Демьян и с последней надеждой обращается к Марии Ильиничне, с которой сразу подружился, как только она появилась в «Правде»: — Право же, у нас отличная окрошка... Мария Ильинична! Ведь лук, редиска — все со своего огорода. Неужели не попробуете?

Нет, у них всегда единый фронт.

— А вот огород вы нам покажите! — просит Владимир Ильич. — Какая тут земля? — И пошел разговор все о той же «землице», но отнюдь не Демьянова огорода.

После четырех они тихонько двинулись по «настоящему адресу». Ильич ни за что не отдавал Демьяну своего чемоданчика. Опять пришлось поспорить. И опять без толку. Посмотрим, как Бонч будет справляться со своим гостем. Впрочем, у него практика больше... Пройдя полторы версты, они вошли в сад. Демьян сразу выскочил вперед, взбежал на лестницу, возглашая полной октавой:

— Вот посмотрите, каких гостей я к вам веду!

И, не переводя духа, засыпал кинувшегося навстречу Владимира Дмитриевича сообщениями о том, что эти гости не желают ни есть, ни пить, и теперь он посмотрит, каково будет с ними Вере Михайловне, потому что его, Демьяновой, Вере только ручку пожали — и ушли! А сам смотрит на Бонча и доволен, что тот хотя и ждал, а растерялся. «До чего хорошо! Ведь приехал, а?» — спрашивали старого друга смеющиеся глаза Демьяна. Вышедшей тут же Вере Михайловне он в запале предъявил счет:

— Нет, Вера Михайловна, как вам угодно, а по этой причине я без лекарства не уйду... У меня и так живот болит, а теперь нет-с, по такому счастливому случаю — пожалуйте капелек!

Владимир Ильич, пожимая руку Вере Михайловне, осведомляется:

— Это что же за капли такие заведены здесь для умирающего Демьяна Бедного?

...Через день «умирающий» Демьян привез из Питера све-

жие новости и газеты. В «Правде» были напечатаны его стихи: отклик на выпуск «Займа свободы», с посвящением «Всем, всем социал-оборонцам». Эпиграф: «Бывший царь и его семья выразили желание подписаться на заем»:

I

Как бы, братцы, ни было,
К оборонцам прибыло:
Царь с царицею вдвоем
Подписались на заем.
. . . .

V

А у Солдата Яшки
Ни штанов, ни рубашки:
Одни остались клочья.
Ничем не могу помочь я!

...Демьян зорко следит за выражением лица Ильича. В каком месте улыбнется?..

Хорошие были дни! Ильич посвежел. Он много плавал в бездонном озере Вамиль-Ярви, вызывая ужас Бонч-Бруевича и удивление дачников, которым было сказано, что гость — балтийский моряк.

Вечерами Демьян пытался обставить «балтийского моряка» в шашки. Вот опять немногочисленные свидетели потешаются, обступив игроков во дворе, где идет сражение. Демьян «злоумышленничает». Пыхтит, кряхтит, делает какие-то невероятно замысловатые ходы. А Владимир Ильич долго не размышляет, только приговаривает: «А баснописец-то наш хитер!» И выигрывает.

Да, отличные были деньки, да скоро кончились.

Третьего июля. Шесть утра. Стук в окно Бонч-Бруевича. Это Макс Савельев. В Питере начались беспорядки...

— Делать нечего, — говорит Бонч-Бруевич. — Придется будить...

Ленин, выслушав Савельева и просмотрев в поезде газеты, заметил, что ничего серьезного в этом пока не видит: очередная вспышка недовольного населения. Результат половинчатой политики Совета и подлости Временного правительства. Гораздо больше его беспокоит новое усиление травли большевиков.

И точно: после трехмесячной легальной жизни и борьбы началась новая полоса, которая привела большевиков к новому подполью, а Ленина к необходимости скрываться под чужим именем.

В первый день Владимир Ильич нисколько не поберегся. Проехав с вокзала к себе, на Широкую, где он жил у Елизаровых, он отправился в особняк Кшесинской. Здесь выступил с балкона, призывая народ к выдержке. И все же, несмотря на то, что демонстрация носила мирный характер, Временное правительство отдало приказ о расстреле. Улицы Петрограда обагрились кровью. А Ленин работал в Таврическом дворце, где на заседании ЦК утверждалось воззвание о прекращении демонстрации.

Уже были попытки поджечь и разгромить редакции «Солдатской» и «Рабочей Правды». Но Ленин все же прямо с заседания ЦК поехал в «Правду».

Здесь все шло как будто обычно. Подписаны полосы. Только вычитал свои стихи «Испуганным лжецам» Демьян Бедный. Ему бы можно уходить. Но, увидев Ильича, он задерживается...

Через некоторое время они уходят вместе. А еще через полчаса налет на редакцию...

Снова арестованы сотрудники во главе с дядей Костей, перевернуты столы, на полу валяются материалы и отпечатанные номера, унесены рукописи, обрезаны телефонные провода. Знакомая картина.

Только на этот раз «работает» не полиция, а юнкера с эсерами. Какие-то типы в штатском торчат в подъезде; выспрашивают у швейцара: как выглядит Ленин? Демьян Бедный? Давно ли ушли? В какую сторону? Это краем уха слышит рабочий Закатов, всего лишь два месяца как начавший ходить в «Правду». Ему все не везло — никак не мог увидеть Владимира Ильича. Он прислушивается и начинает понимать, что все это время видел Ленина чуть ли не ежедневно, но принимал его за издателя...

А травля разворачивалась... В тот же день вышла вечерняя кадетская газета с документами, «позорящими» Ленина. Тут же зубоскальство по поводу того, что большевики собираются составить новый правительственный кабинет, в котором министром труда будет Демьян Бедный. Это кажется кадетским «юмористам» очень смешным. Они не знают, что Демьян Бедный до сих пор заведует рабочим отделом, то есть занят руководством именно в области труда. Их неведение, впрочем, неважно и представляет разве лишь тот интерес, что и в этом случае они попали пальцем в небо. Каковы были административные способности и рабочие качества Демьяна, ясно из того, что несколько позже поэта решили привлечь к работе Совнаркома.

Только чтобы услышать это, надо было прожить еще примерно полгода. А в июле? Уж какой там «покой...»! То, что его всячески поносит печать, Демьяну не только неприятно, но вроде подбадривает. Давно привык. Даже не всегда «оттявкивался». Но снова нет «Правды»? Это хуже. Но душат другие рабочие газеты? Плохо. Но при разгроме типографии на Шпалерной убит старый распространитель «Правды» Воинов? Горько... Но есть ордер на арест Ильича? Это уж совсем тяжело...

Террор, убийства, аресты, обыски...

Являются и в Мустамяки. Выйдя рано утром из дому, Демьян встретил отряд юнкеров. Принял важный вид, закурил сигару. На вопрос: «Как фамилия?» — небрежно предъявил визитную карточку с полным титулом, данным ему Военно-промышленным комитетом.

— А вы не знаете, где тут проживает Демьян Бедный?

Об этом Придворов не имел никакого представления.

Повезло! А дача Стеклова окружена, и он под домашним арестом, пока его не увозят в Питер. А на даче Бонч-Бруевича юнкера, щелкая затворами винтовок, залегли вокруг, окружив дом кольцом: им приказано арестовать «известного шпиона Ленина».

— Храброе воинство! — презрительно бросает им Бонч-Бруевич, который только что приехал сюда с Верой Михайловной: в городской квартире оставаться невозможно. Ленина ищут на Херсонской.

Теперь явились сюда. «В бой» вступает Вера Михайловна. Услышав французскую речь юнкеров, полагающих, что их не понимают, она дает им, помимо всего, отличный пример правильного произношения. Те поражены: «Мадам говорит по-французски?» А «мадам» пушит юнкеров, как школьников:

— Ваши мандаты? Вы забыли, что находитесь не в России, а в Финляндии? Мальчишки! Сейчас составлю протокол, и вы ответите по финским законам!

Но у офицера оказался какой-то мандат, и обыск все-таки производят. Теперь «воюет» уже няня Ульяша.

— Как ты смел лазить в погреб? — кричит она, наступая на юнкера. — Ты там съел что-нибудь... Как же это я не видела, как ты полез, прихлопнула бы тебя там, просидел бы ты у меня во льду, шпионская морда...

Как бы ни были неожиданны, опасны юнкерские операции, дачники не могут удержаться от хохота: против дома, снимаемого Горьким, установили пулемет. «Господи, спаси наши души! — фыркает в сторону Ульяша. — Ну кто же в Ней-

воле не знает, что Алексей Максимыч уже две недели как сюда не наведывался?»

На другой день пулемет установлен и на Херсонской. Все ищут Ленина. При вторичном обыске на квартире Елизарова его арестовали, приняв за Владимира Ильича.

Тем временем Ленин «благодаря заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского», как он писал впоследствии, менял один адрес за другим.

Сутки у Сулимовой, на набережной Карповки. Оказалось опасно. На Выборгскую сторону — к рабочему Каюрову. Тоже рискованно. На той же стороне — к Фофановой. И тут следят. На Пески — к Полетаеву. К Аллилуеву... И наконец, отсюда пешком около восьми верст, через весь город — на Приморский вокзал.

Он переодет, без усов и бороды — как будто неузнаваем. Но, придя на вокзал во втором часу ночи, все же идет не через главный ход, а товарными путями. За несколько минут до отхода поезда спокойно поднимается на подножку... И поезд увозит его в Разлив. Началось последнее большевистское подполье.

В объятом контрреволюцией городе не место и большевистскому поэту. Демьян Бедный не печатается, сидит на даче. Только в августе в московской газете «Социал-демократ» появляется его стихотворение с настолько метким словообразованием, что оно приобретет широкую известность, как кличка, становится нарицательным. Фамилии двух социал-вожаков — Либера и Дана — указаны как название нового «подхалимского танца».

«Либердан!» — «Либердан!»
   Счету нет коленцам.
Если стыд кому и дан,
   То не отщепенцам!
. . . .
«Либердан!» — «Либердан!»
   Рассуждая здраво,
Самый лучший будет план:
   Танцевать направо!

Как синоним меньшевистского предательства Ленин использовал демьяновское словцо десятки раз. Оно упомянуто неоднократно в одной лишь статье: «О героях подлога и об ошибках большевиков», и других [1].

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 248—255, 409.

В этот осенний период в газете «Рабочий и солдат», выходившей вместо «Правды», то и дело попадаются едкие стихи знакомых авторов: «Солдат Яшка — медная пряжка», «Иван Заводской», «Шило». Потом появляется некто «Друг сердечный», а вслед за ним довольно разбитной «Покойник».

А против злобных нападок меньшевистской печати на «Якима Нагого» и других авторов, за которыми скрывался Демьян Бедный, выступает «Мужик Вредный». Он публикует в том же «Рабочем и солдате» идейно-художественное кредо, высказанное, как покажет время, всерьез и надолго:

Пою. Но разве я «пою»?
Мой голос огрубел в бою,
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.
Не на сверкающей эстраде
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,
И не под скрипок стон чарующе напевный
Я возвышаю голос мой —
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный.
Наследья тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я — выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой»!

Еще через день газета печатает соображения того же «Мужика Вредного» о деле верховного главнокомандующего Корнилова, который в конце августа двинул казачьи войска на Петроград с целью установления военной диктатуры. Авантюра сорвана. Это заставляет Временное правительство лицемерно осудить заговор Корнилова и разыграть комедию подготовки суда. «Мужик Вредный» ни на йоту не верит провозглашениям Керенского и пишет, «сочувствуя» следователю:

Положеньице
Невылазное,
И в башку бредет
Несуразное:
То корнилится,
То мне керится,
Будет вправду ль суд, —
Мне не верится.

Ленин еще не в Питере, но поближе к нему, на окраине Выборга, в поселке Таликалла. Хозяин его квартиры — Юхо Латукка говорит, что Владимир Ильич ожидает утреннего по-

езда с газетами, как голодный обеда... Вероятно, ему весьма пришлись по вкусу стихи «Мужика Вредного», если через две недели после их публикации Ленин писал, что... «рабочему народу в России «корнилится и керится» вот уже больше полугода» [1].

Однако не слишком ли мало работает поэт в своем дачном изгнании? Весь июль, август, сентябрь он пишет давно задуманную большую повесть и заканчивает ее накануне революции.

За двадцать дней до восстания, 5 октября, в «Рабочем пути» появилась крупная, как говорят газетчики, «шапка»:

Про землю, про волю, про рабочую долю
Не за страх, а за совесть —
Истинная повесть
Демьяна Бедного — Мужика Вредного.

Куда только он не повел за собой читателей, чего только не показал им, чему только не научил!..

Эта серьезная работа охватывала целый исторический этап жизни народа, начиная с объявления войны; обращение к читателям тем не менее сделано весело, завлекательно:

Ой вы, братцы, тетки, дяди,
Я пишу не шутки ради,
Не для смеху, не для слез,
Потолкуемте всерьез:
Где болит? На что мы ропщем?
На совете нашем общем,
Ум прибавивши к уму,
Подберемся кой к чему...

Главным читателям Демьяна — рабочим и мужикам в солдатских шинелях, да и тем, кто бедует в деревне и кто «под сводами заводов» «жизнь фабричную» ведет, следует «подобраться кой к чему»: повесть об их собственных судьбах приведет их прямо к дню двадцать пятого октября 1917 года.

Многие узнают здесь себя в главных героях. Многие узнают строки, которые иногда отрывками шли в «Правде». Вся картина не может не захватить строгой последовательностью широкого полотна. Бедная Маша, что подалась в город, когда ее друга Ваню угнали на фронт, будет воспринята не как обобщенный образ, а как живой портрет. И воспринята тем более сочувственно, что «многих горькая судьба потянула в города».

Еще больше читателей узнают себя в Ване, проходившем

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 34, стр. 306.

воинское обучение на палках; он, «обученный вполне, чрез неделю был в огне».

Ну, а такого исчерпывающего обзора войны читатель Демьяна, может, и не прочитал бы в серьезной статье:

Не вернуть Карпат нам снова,
Не видать нам больше Львова.
Что в чужое взор вперять?
Своего б не растерять.
А потеряно немало.
Наше войско отступало
Из залитых кровью мест.
Сдали Люблин, Холм и Брест, —
Уничтожив переправы,
Отошли из-под Варшавы;
Потеряли Осовец;
Сдали Ковно под конец.
Фронт прорвавши нам под Вильно,
Потрепал нас немец сильно,
Выбивал нас, как мышей,
Из болот и из траншей, —
Искалеченных, недужных,
Тощих, рваных, безоружных,
Виноватых без вины
Гнал до самой до Двины.
    От дальнейшего отхода
Нас спасла лишь непогода,
Дождь осенний проливной.
    Вот как шли дела с войной!

С предельной ясностью Маша, ставшая работницей, рассказала своему односельчанину Титу, чего от какой партии можно ожидать. И Тит признается: «Прямо диву я давался, слушал, девкой любовался... Ай да Маша, погляди: хоть в сенат ее сади!»

Повесть показала, что творится не только в окопах и селах. Запросто сводил Демьян читателей в царский дворец, дал им заглянуть через плечо царицы, когда та строчила «немцам письмецо»:

«На Руси я все устрою
По берлинскому покрою,
Англичанин и француз
Русский выкусят арбуз.
Англичане сильно гадят:
Конституцию нам ладят,
А французы — бунтари,
Леший всех их побери.
Ни английских конституций,
Ни французских революций
Нам не хочется с царем:
Самодержцами умрем...»

Поэт, казалось, не торопился. Показал улицу, рынок, Государственную думу, побывал на всех свадьбах и похоронах. Спел песню, рассказал басню. Все шло так ладно, ясно и плавно, да вдруг оборвалось.

Кончен, братцы, мой рассказ.
Будет, нет ли, — продолженье?
Как сказать? Идет сраженье.
Не до повести. Спешу.
Жив останусь — допишу.
А погибну? Что ж! Простите.
Хоть могилку навестите.
Там, сложивши три перста,
У соснового креста
Средь высокого бурьяна
Помолитесь за Демьяна.
Жил, грешил, немножко пил,
Смертью грех свой искупил.

Конец будет дописан после... А пока для нового издания пришлось изменить... начало. Четыре строчки подзаголовка об истинной повести были заменены другими:

Демьян Бедный,
Мужик Вредный,
Просит братьев-мужиков
Поддержать большевиков.

Это издание уже печаталось под грифом: «Российская Коммунистическая партия (большевиков)», а на обложке стоял лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Глава VII

НА «ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ»

Постоянный пропуск в Смольный выдан Демьяну Бедному Дзержинским 11 ноября.

Демьян бывал здесь и раньше. В комнате № 18 на первом этаже работала большевистская фракция. Здесь всегда толпились рабочие, посланцы революционных полков.

В первые Октябрьские дни поэта усадили за организационные дела в Совнаркоме. Освободило вмешательство Ленина. По словам Бонч-Бруевича, он сказал так:

— Оставьте его в покое. Если он работал до революции по административной линии, то ведь это его беда. Обстоятельства заставили поступить на службу. А теперь он больше всего

будет полезен своим пером. Смотрите, какое прекрасное стихотворение в «Правде»! Демьян Бедный — писатель, поэт, не надо мешать ему в творчестве...

А для того чтобы творчески работать, поэту надо бывать в Смольном. Каждый день. Другой раз — и ночь.

На третьем этаже, в шестьдесят седьмой комнате — Ленин. В семьдесят пятой и шестой — Военно-революционный комитет. Тут же, в стороне, в коридоре — нары: пристанище для фронтовых делегатов. И днем и ночью слышны те же слова: «Мир», «Хлеб», «Земля»...

В комнате № 37 — только народившаяся редакция газеты. Ее кто-то предложил назвать «Копейкой». Но еще существовала и вовсю голосила старая, вместе с целым хором антибольшевистских газет, среди которых одна носила колоритное название: «Кузькина мать». Название «Копейка» нельзя было использовать еще и потому, что старую Демьян так разделал, что для создания новой и полушки не оставил.

Приняли предложение Володарского — «Красная газета».

Демьян придумал для новорожденной подарок: в первом же номере постоянный раздел — «Наша колокольня».

Сюда призван «Солдат Яшка — медная пряжка». Здесь воскресает любимый Демьянов дед Софрон. У «Деда Софрона» находится новый «Внук — из Великих Лук». Это поэт Василий Князев.

Все вместе они подняли со своей «колокольни» такой звон, что, когда Демьян входит к Володарскому, тот встречает его:

— Надо что-то предпринять. Нам пишут стихами! Почти все — стихами! Ничего не разберешь.

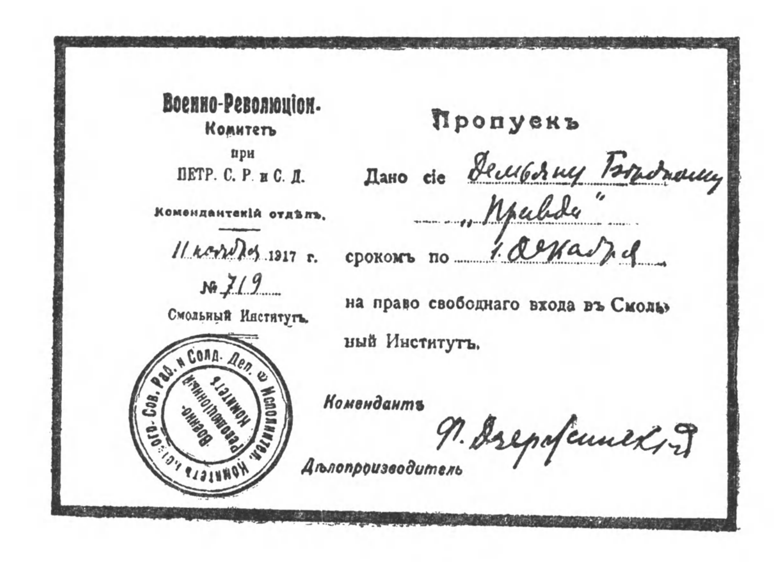
Присесть к столу редактора и написать несколько строк обращения — дело недолгое: «Всем товарищам, которые пожелают сотрудничать в нашем отделе.

Чтобы писать стихи, нужны и способности, и грамотность, и некоторый опыт. К сожалению, не у всех пишущих стихи есть и то, и другое, и третье... Присылайте не только стихи, но и прозу, рисунки, остроты, заметки, а также сообщения об интересных наблюдениях. Все дельное пойдет в дело».

Оба пробегают текст и решают добавить мягкую просьбу к рабочим: «присылать не стихи, а поделиться мыслями по важнейшим вопросам».

Начало положено. Здесь так же, как и в «Правде», нарождается самобытное движение, которое после станет известно как рабкоровское.

Письма друзей идут вперемежку с хулиганскими выпадами.



Военно-Революціон.
Комитетъ
при
ПЕТР. С. Р. и С. Д.

Комендантскій отдѣлъ.

11 ноября 1917 г.

№ 719

Смольный Институтъ.

Пропускъ

Дано сіе Демьяну Бедному
„Правда“
срокомъ по 1 декабря
на право свободнаго входа въ Смольный Институтъ.

Комендантъ
Ф. Дзержинский
Дѣлопроизводитель

Пропуск в Смольный.

Угрозами поджечь редакцию. Убить сотрудников. Это не пустые угрозы. Но никто еще не знает, что их жертвой станет душа газеты, ее создатель — Володарский. Он полон жизни. Его статьи огнеметны. Выдумка неистощима.

— Не делать ли нам дополнительно выпуски для армии? Скажем — агитлисток красноармейца? — спрашивает он поэта.

— Отлично. Мы туда — «Солдата Яшку», а «Деда Софрона» оставим на «колокольне».

Демьян работает в «Правде», «Красной», «Рабочем пути», «Деревенской Правде», «Солдатской Правде». Везде! Он всюду поспевает, но досадует: Питер полон профессиональных литераторов, а работать некому. Пришел было один. Тиснул стихи за подписью: «Свой, а не чужой». Псевдоним длинноват, неинтересен, да и стишки неважные. Но ведь свой! А он... струсил и больше не явился. Вот они каковы. Демьян спрашивает у Володарского:

— Окунева мы печатали охотно?

— А в чем дело? Тоже сбежал?

— Зачем? Он просто все это время спокойненько продолжал сотрудничать в своем желтом листке «Эхо»!

— Вон с «Нашей колокольни»!

— Еще бы. Черт с ним! Только всех не сбросишь...

— Есть необходимость еще кого-то скинуть? — осведомляется Володарский. — А отчего вы так мрачны, будто сами собираетесь кидаться? — улыбается он.

Но с Демьяном что-то случилось. Он не подхватывает шутки. Прощается. Надо в «Правду». Именно в ней должны прозвучать стихи о тех, кто колеблется, сомневается, судит. Стихи предназначены не «литературным приказчикам». Не трусливым и наглым приспособленцам. Что о них говорить! Демьян обращается не к тем, что клевещут на большевиков в «Новом луче», «Вечерней звезде», «Дне», «Чертовой перечнице», той же «Кузькиной матери». Для них уже создан Трибунал печати, который рассматривает дела клеветников. Его возглавляет комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский. Демьян немало помогает в этой работе. Но сейчас поэта волнуют совсем другие люди. Их имена всегда были святы. Их колебаний он не может воспринять спокойно. Стихи «Горькая правда» предназначены для них. Молчать он не может. Хоть немного станет легче оттого, что все высказал прямо, в лицо.

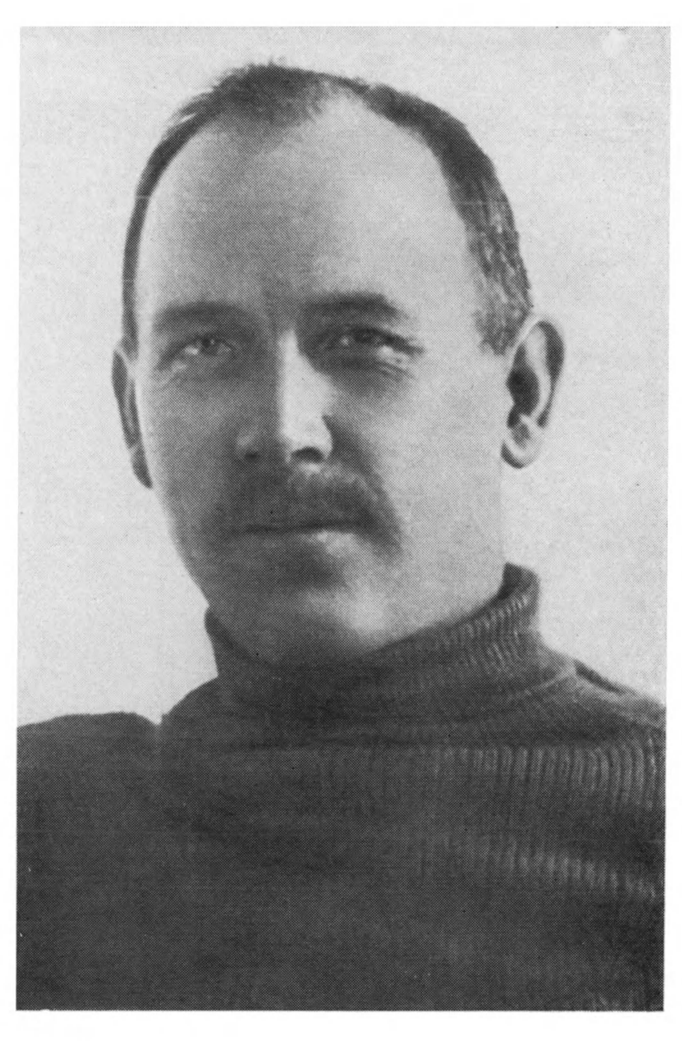
Кому? Сам себе не верит Демьян, повторяя имена, поставленные в посвящении. Горький. Короленко. Они осуждают! Никто еще не знает, что Горький после сам честно осудит свои колебания и прямо скажет о том, что «...В 1917 году переоценивал революционное значение интеллигенции и ее «духовную культуру» и недооценил силу воли, смелость большевиков, силу классового сознания передовых рабочих». По-своему изменит отношение к революции и Короленко. Тогда Демьян Бедный снимет их имена в посвящении, где они указаны сейчас. Но сейчас — все в открытую! Он пишет:

. . . .
В дни рати трудовой святого торжества,
   В дни рокового испытанья
Как слышать хочется бодрящие слова
Тех, кем народные питались упованья!

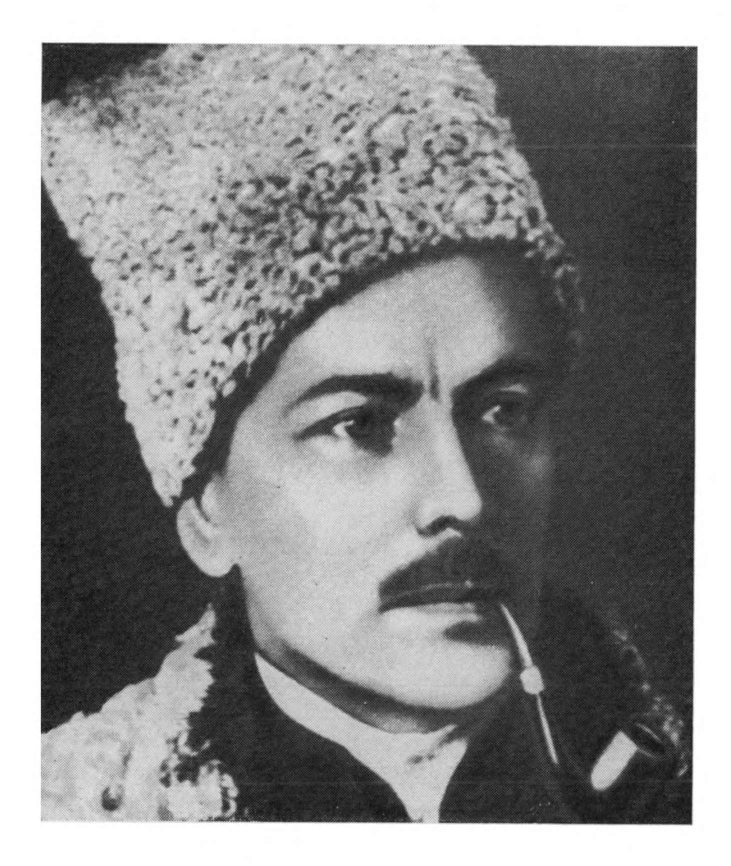
Но слов бодрящих нет, есть злобный суд и брань.
И злая жуть берет от горестного вида,
Что с каждым днем растет, растет меж нами грань,
   Что с каждым днем больней обида,

Что со страниц газет — увы! — когда-то дорогих
Былые образы на нас уже не глянут.
Родной народ, любя писателей своих,
      Как горько ими ты обманут!

Из «Правды» — на митинг. Демьян читает казакам в цирке Чинизелли свою «Казачью повесть». Потом — на другой,



Д. Бедный. 1917 г.



К. С. Еремеев, 1917 г.

рабочий. Здесь хорошо знают поэта и слушают хорошо. Овации вспыхивают, когда после занятной басенки про советскую репку, что сидит крепко, он переходит к заключению-призыву:

Товарищи, в этот тяжелый час
Кто-нибудь из вас
Неужто белогвардейской сволочи поможет?
— Быть этого не может!

Во время выступлений меньшевистских ораторов зал орет Демьяновы словечки:

— Либерданы! Долой либерданов!

Покидая митинг, Демьян удовлетворенно закуривает очередную папиросу: опять наша взяла!

А теперь пора и на свою «колокольню». Мало «сбросить» с нее кого-то. Мало честно сказать горькую правду тем, кто думает: как звонить? Что звонить? Надо звонить! Чтобы с громким криком помчались по улицам мальчишки: «Красная газета не любит попа и кадета!», «Газета Красная — для буржуев опасная!»

«Красная» печатается на Ямской — та же улица, где когда-то была «Правда»... Типография бывшего меньшевистского «Дня». Ротационка, две наборные, стереотип. Все чин чином. Дело идет нормально. Нормально и то, что в типографии работают за восьмушку хлеба; что в стереотипной, когда прекращается подача тока, матрицы делают, подогревая металл на керосинках. Стереотипная всегда была адом: жаркие печи, отравляющие испарения свинца, клокотание плавящихся остатков металла. Все вручную. Теперь прибавились холод, голод, коптящие керосинки. Но солдаты свинцовой армии не сдают. Тут есть наборщики, знакомые по «Правде». Выпускающий — тоже оттуда. И как они все стараются сделать свою «Красную» понаряднее! Крупные заголовки, тексты, набранные разнообразными шрифтами, все броско, живо... «Вульгарно», — морщатся те интеллигенты, что сейчас не подают руки журналистам, пришедшим к большевикам.

— «Красная» травит интеллигенцию, — заявляет знакомый литератор Демьяну.

— А не наоборот? — щурится он. — Не интеллигенция травит революцию? Не вы ли возмущались, что наша газета орет уличным криком, что в ней не пристало подвизаться профессиональным работникам пера? Вы же бойкотируете нас! Кто лишь вчера говорил в кафе «Петроградского эха» о пришедшем к нам человеке: «Безнадежно нашпигован Володарским»? Ведь с ним отказались поздороваться!

Демьян любит новую газету за весь ее новый, боевой облик, за то, что она пахнет огнем и порохом, что в ней слышен высокий, звенящий металлом голос Володарского. Появляясь здесь между митингами и заседаниями, он говорит тем немногим, что пришли сюда, журналистам:

— Короче. И слова не те. Берите простые, разговорные. Без литературщины.

Он требует действенного, ударного, торопливого языка. Он же указывает выпускающему:

— Рассекайте верстку частыми заголовками. Давайте в них действие. Выделяйте главное. «Правда» родилась как газета для рабочих. Мы — для всех работающих. Это наш сегодняшний читатель! Нас должны читать извозчики!

И это достигается. Тираж растет. Читатель «Красной» ищет ее, хватает из рук. Потому Демьян спешит поспеть на свою «колокольню».

В редакции работают часов с шести. К ночи приедет Володарский. Сядет в свою клетушку. И польются строки передовой... «Не для того свергали мы царя и капиталистов, чтобы подчиняться воле чужих кайзеров и чужих баронов. Мы хотим мира честного и демократического, а не мира похабного...»

В другой клетушке сидит Василий Князев. Демьян любовно смотрит на поэта, потому что ему нынче трижды дороги все искренние, честные авторы. А Князев сам таков и с другими обходится как надо. Старается, выбирает из малограмотной почты все хоть сколько-нибудь годные стихи. Переписывает их наново. И отдает в набор, аккуратно подписав имя, указанное на конверте. То же делает иной раз и Демьян, и не только в «Красной». Публикует в «Правде» стихи, указывая, что взял ритм и столько-то строк из читательского произведения, да ставит имя этого читателя как соавтора рядом со своим. Отсюда и пойдет его позднейшая система обращения с читательскими письмами.

Многое-многое пойдет отсюда, от первых послеоктябрьских месяцев. Но пока они мчатся в тревоге, в холоде, голоде, Демьян пишет, что «рано праздновать победу», «что воздух весь насыщен ядом» и что «свободно мы вздохнем, когда в бою с последним гадом ему мы голову свернем».

Забота о литературе, о читателе — это пока только забота о бойцах за революцию. Это они решат исход дел, обсуждаемых в Брест-Литовске. Это им расплачиваться за то, что в феврале комиссия по мирным переговорам объявляет об окончании перемирия и о том, что «снова начинается состояние войны»...

А потому — снова митинг. Опять митинг. И не всегда только митинг. Случаются встречи... Как их назвать? Большей частью Демьян попадает на них прямо из семьдесят пятой комнаты Смольного. Здесь следственная комиссия по борьбе с анархией, погромами, грабежами, саботажем — контрреволюцией. Таких комиссий несколько. Но в этой делами заворачивает Бонч-Бруевич.

Демьян видит тут пойманных с поличным мастеров подделок советских печатей и подписей — вплоть до ленинских. Видит принципиальных монархистов. Матерых преступников. Испуганных юнкеров. Хозяек ночных притонов. Вовсе нелепых людей — каких-то юродивых, истериков, используемых как «живой динамит» против Советской власти.

...Перечислить всех нет мочи.
Вся их жизнь — от ночи к ночи.
Бомбометы, пулеметы,
Бесшабашные налеты,
Дух тяжелый, хоть и вольный,
И трусливый взгляд на Смольный:
Долго ль нам гулять по свету?
— Бонч тянуть нас стал к ответу...

Здесь изнанка революции, ее «страшное», как говорит Бонч-Бруевич; а Демьян Бедный не праздничный, парадный поэт. Он работник. И ему до всего дело. Откуда и почему прибегают сюда взволнованные солдаты, матросы? Они всегда сообщают нечто чрезвычайное. Иной раз Демьян считает свое присутствие уместным не на митинге, а при чрезвычайных обстоятельствах.

В семьдесят пятую примчался матрос. Не хочет говорить вслух. Отводит Бонч-Бруевича. Шепчет. Сколько Демьян ни настораживает уши — бесполезно! Встревожился и Владимир Дмитриевич. Быстро уходит. Куда? Ясно, к Ленину.

Подождем...

— Товарищи! — вернувшись, обращается начальник семьдесят пятой к двум рабочим комиссарам. — Надо срочно выехать. Машина есть. Адрес: Второй флотский экипаж, за Николаевским мостом. Пьянка. Анархия. Много оружия. Самочинные аресты офицеров.

— Я — с вами, — поднимается Демьян.

Красных балтийцев он знает хорошо. Появились «черные»? Надо познакомиться. Едем!

Их встречает большое полотнище: «Да здравствует анархия!»

— По крайней мере откровенно, — замечает Демьян.

Идут просторным залом. Пробираются меж ящиков с оружием. Шагают по кучам патронов, наваленных на полу. Груды ручных гранат. Связки бикфордова шнура. Револьверы так же навалом. Десятка два пулеметов.

— Вот дьяволы! — сердятся рабочие комиссары. — Мы бережем каждый патрон. Револьверы на строгом учете. А тут...

— М-мда-а... — отвечает Демьян, перемахивая через ящик: тут есть не столько чем «здравствовать», сколько чем это здравствование окончить. — Эх, матросия!

Раздается крик: «Комиссары приехали!» «Матросия» окружает приезжих с нагловатым любопытством. Вооружены до зубов. На ком-то фантастическая одежда: флотская со штатской. Кое-кто пьян. Громкие разговоры. Свист. Полная «непринужденность».

Сейчас важно не потерять ни минуты. Их все-таки «вздернул» приезд комиссаров. Не снизить напряжения, не дать опомниться. Тут есть люди, которые могут выслушать, понять, помочь. Есть и предписание Ленина. Отсюда и начинать.

— Мы — из Смольного. Вот указание председателя Совнаркома. Кто у вас главный?

— Какого председателя? Ленин пишет?

Начинается серьезный разговор. Зал уже переполнен.

— Немедленно доставить самовольно арестованных офицеров!

Некоторое замешательство. Шум.

Перебираются из угла в угол. Толкаются. Говорят еще громко, но при допросе первого офицера становится чуть тише. Допрос идет. Заметно намечается «качание»: одни смеются, другие цыкают. Переломный момент выявляется в неожиданной форме: посланцам Смольного приносят чай, хлеб, соль. «Сдвиг» оценен. Допрос продолжается. И наконец, окончен. Двое освобождены, один будет отправлен в семьдесят пятую комнату.

С трудом вся команда «сдвигается» в нужную сторону. Здесь чувствуется раскол, смута, невежество. «Анархисты» говорят что-то о Кропоткине, но толком не знают, кто он такой. Когда Бонч-Бруевич замечает, будто вскользь, что знаком с ним, это вызывает полную растерянность. Хорошо. Значит, можно начать разговор... Потом надо пройти по всему помещению Второго флотского... Приехав сюда около двенадцати, только к позднему рассвету они заканчивают эту операцию. Вполне мирно.

Уже утро. Демьян снова шагает по наизусть известным колдобинам смольнинского двора. Сейчас он зайдет к Володарско-

му в сорок девятую комнату, где он принимает уже не в качестве редактора, а комиссара. Разбирается с целой сворой авторов, изрыгающих на Советы клевету. Тут попадаются махровые экземпляры. Просто басенные «звери»! Впрочем, почему «звери»? Александр Блок сказал точнее про тот же «Вечерний час», «Петроградское эхо», «Вечерние огни»: «Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, ушаты помой выливают...»

А Володарский разбирается. Ну кто у него сегодня там?

Но Демьяна перехватывают еще в коридоре.

— Ты-то нам и нужен. Зайдем сюда. Посмотри — вот плакат — «Коммунар»! Срочно нужна подпись!

Подпись готова через пятнадцать минут. Плакат уходит в типографию. Еще встреча, разговор (а встретиться есть с кем: дядя Костя командует Петроградским военным округом, член Военно-революционного комитета), и уже пора в «Правду».

Потом встречи с балтийцами — на флоте. Другие митинги — где придется. Собирается и пестрая публика. Не всегда слышны одобрительные крики. Сколько враждебного рева! Но большевистские ораторы приезжают не за лаврами. Они ведут бои. И был только один случай, который запомнился Демьяну не как бой и не как дружеская встреча, а как... зрелище.

Вместе с Володарским Демьян поехал в цирк, о котором говорилось: «Чтоб дать отпор буржуйской скверне, спеши, товарищ, на митинг в «Модерне»!» Этот цирк решением Петроградского Совета отдавался под собрания, лекции и митинги только организациям, «стоящим на точке зрения Советской власти». Расположенный на Петроградской стороне, в аристократическом районе, этот старый, ободранный дом был, собственно, даже и не цирком, а каким-то архитектурным гибридом театрального типа. Удивительно запущенный внутри и снаружи, именно этот «Модерн» стал постоянным местом выступлений большевистских ораторов. И народ тут сходился самый боевой.

По дороге Володарский говорит Демьяну Бедному:

— «Модерн» стал священным местом. Десятилетия пройдут. Мы уйдем из жизни. А люди не забудут, как тут собирались тысячи, чтобы услышать слово правды... И если дом истлеет от старости, было бы справедливо поставить на его месте памятник большевистским агитаторам. Или нет — не агитаторам, а слушателям!.. Рабочим, солдатам, нашей славной большевистской Петроградской стороны... Ну, вот и приехали...

Демьян не собирается выступать. Хочет послушать Воло-

дарского: «Не разберу — пишет он лучше, чем говорит, или говорит лучше, чем пишет?» Голос у него высокий, замечательной силы и красоты. Выразительны движения рук, каждый поворот головы в желании объять взглядом всю аудиторию. А уж сама речь — пламень! Всякий раз новая поэма в прозе.

Великолепно говорит Луначарский, тоже постоянно выступающий здесь. Никогда не снижается, не подравнивается под необразованную публику; с необыкновенной, артистической легкостью поднимает ее до себя. И Анатолий Васильевич, будучи оратором-мастером, художником, все же поражается таланту Володарского: «...голос стальной, энергия какая-то электрическая, сравнения — фабрично-заводские, умение штамповать словечки, которые после расходятся в сотнях тысяч экземпляров Говорит так, что тысячи потом разносят его речь сотням тысяч. Это свойство он принес и в газету как публицист».

Демьяну хочется еще раз послушать Володарского.

Они вошли в темный зал На трибуне тускло горит керосиновая лампа. Вроде в зале никого и нет? Сразу не разберешь. Но какой-то оратор держит речь. И лишь понемногу, когда глаза привыкли к темноте, стало понятно, что зал переполнен.

Отовсюду светились, мерцали звездочки самокруток. После в этом мерцании стал заметен даже клубящийся дымок. И выглядело все это таинственно и необычно, чуть ли не мистически.

Поэт надолго запомнил этот митинг. Когда много лет спустя ставилось его обозрение «Как четырнадцатая дивизия в рай шла», он увидел огоньки душного митингового «Модерна», и бравая песня отправляющейся в рай дивизии прозвучала в темноте: одни только огоньки, как звезды, замерцали, — почти так, как тогда, в семнадцатом...

Долго, всю жизнь ему светили огни ночного Смольного, огоньки солдатских и матросских цигарок, закопченные лампы над столами типографских факторов, да и та единственная свеча, которую приходилось зажигать то там, то тут, когда город внезапно оставался без света.

Свет отключали часто. Ток подавался только на предприятия. В квартире Демьяна становилось темно. Все керосиновые лампы на даче. Семья там. Свечи не всегда достанешь. Смастерил себе коптилку. Такая когда-то тускло мигала в душной придворовской хате долгие осенние вечера, длинные зимы... И не эта ли коптилка заставила его в бурные, тревожные дни вспомнить былое? Не при ней ли написано одно из немногих лирических стихотворений, напечатанных в «Правде» 6 января

1918 года? Демьян Бедный поведал своим, уже избавленным от господ читателям, каковы были рождественские праздники его детства:

Помню — господи прости,
Как давно все было! —
Парень лет пяти-шести,
Я попал под мыло.

Мать с утра меня скребла,
Плача втихомолку,
А под вечер повела
«К господам на елку».

. . . .

«Здравствуй, Катя! Ты — с сынком?
Муж, чай, рад получке?»
В спину мать меня пинком:
«Приложися к ручке!»

Сзади шум. Бегут, кричат:
«В кухне — мужичонок!»
Эвон, сколько их, барчат:
Мальчиков, девчонок!

. . . .

Кто-то тут успел принесть
Пряник и игрушку:
«Это пряник. Можно есть»,
«На, бери хлопушку».

«Вот — растите дикарей:
Не проронит слова!..
Дети, в залу марш скорей!»
В кухне тихо снова.
Фекла злится: «Каково?
Дали тож... гостинца!..
На мальца глядят как: во!
Словно из зверинца!»

. . . .

Попрощались и — домой.
Дома — пахнет водкой.
Два отца — чужой и мой —
Пьют за загородкой.

Спать мешает до утра
Пьяное соседство.

*

Незабвенная пора,
Золотое детство!

Может быть, в самом деле тусклое мерцание навеяло грустные стихи? Нет. Если бы на настроение Демьяна Бедного

влияли подобные внешние обстоятельства, он не смог бы столько работать для революции. Ведь на его воспевающей Октябрь поэме проставлена дата: «1917—7/XI—1922». Весьма вероятно, что он обдумывал замысел, искал ритмы своей поэмы «Главная Улица» при одиноком огоньке свечи или коптилки. Они сопутствовали ему в работе и позже. Но вот что он видел перед собой, когда писал о вышедшем на Главную Улицу истории Новом Хозяине:

Вышел — и все изменилось вдруг!
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
— Это — мое!!
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани, и снедь, и питье,
Это — мое!!
Библиотеки, театры, музеи,
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье, —
Это — мое!!

Поэту все равно, в какой обстановке он работает, когда он видит то, ради чего он жил; видит, как «Из закоулков, из переулков, темных, размытых, разрытых, извилистых, гневно взметнув свои тысячи жилистых, черных, корявых, мозолистых рук», выходит его народ-победитель.

Он слышит крики и испуганную ругань тех, кто тонет в буйном революционном прибое. Это для него высшая музыка, высшая поэзия Он никогда не отдаст дани лирике, навеянной поэтической свечой, не позволит себе рассказать о вызванных ею лирических чувствах, которыми богат, как всякий одаренный художник. Его скромный дар, как он сам говорит, нужен ему только для дела. А дела так много, что даже поэму о Главной Улице он сумеет создать и напечатать лишь в пятую годовщину Октября. Он донесет в этой поэме тревожный барабанный бой, твердую поступь Нового Хозяина. И это будет одно из немногих произведений, которое он назовет именно поэмой, тогда как всю предысторию событий, включая Февральскую революцию, видел и называл только повестью.

Долго работается повесть. Еще дольше — поэма. Каждый шаг революции требует ежечасной борьбы. Каждый номер каждой газеты должен отражать ее по горячим следам. К утренним выпускам «Красной» прибавились вечерние. Все нужно делать только сегодня.

И случилось одно такое «сегодня», которое застало Демьяна врасплох. Оно подкрадывалось потихоньку, а он и не заметил.

22 февраля вечером в семьдесят пятой комнате раздался звонок.

Оказавшийся тут Демьян знает, что Бонч-Бруевич ждет приезда старшего брата. Как будто звонок именно от него, потому что ответ таков:

— Тебя ждут. Сейчас же высылаю на вокзал машину. Владимир Ильич просит приехать сюда немедленно.

— Кто жалует? — подчеркнуто уважительно, но не без иронии спрашивает Демьян.

— «Его превосходительство» — Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, — отвечает другу Владимир Дмитриевич; он тоже не прочь в самый серьезный момент съязвить приятелю, в свое время много язвившему насчет брата-генерала. А тот уже давно снял генеральские погоны: еще в ноябре принял предложение Совнаркома стать начальником штаба Верховного Главнокомандующего.

— Любопытно, что расскажет... — гадательно бросает Демьян.

Сколько бы он ни вышучивал генеральскую философию, мнением такого военного специалиста, как Михаил Дмитриевич, всегда интересовался. Демьян, конечно, без него в курсе. Свердлов, Дзержинский, Еремеев, Антонов-Овсеенко, Подвойский, которых он видит каждый день, не держат его в неведении. А все-таки... А все-таки «его превосходительство» прибыл из Ставки. И вызвал его Ильич. Демьян уткнулся в лежащую перед ним карту.

Немцы в Минске, Ревеле, Юрьеве. Отошла Украина. Начался натиск немецких войск со стороны Нарвы. Да, карта не говорит ничего хорошего поэту...

Однако бывший генерал, очевидно, видит ее все-таки иначе, чем поэт.

Демьян настолько не мог предположить, к чему приведет информация начальника штаба, что даже растерялся.

Немного спустя Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, как он сам рассказывает, пришел к Ленину с таким заявлением:

— Владимир Ильич, правительство, находящееся в Петрограде, является магнитом для немцев. Они отлично знают, что столица защищена только с запада и с юга. С севера Петроград беззащитен, и высади немцы десант в Финском заливе, они без труда...

— Где же, по вашему мнению, должно находиться правительство?

— В Москве.

— Дайте мне об этом письменный рапорт, — ответил Ленин.

Решение было принято на закрытом заседании Совнаркома. Организация выезда поручена заведующему семьдесят пятой Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу.

Тайна соблюдалась строжайше. Но когда Владимир Дмитриевич сказал Демьяну, чтобы потуже набил портфель: завтра в одиннадцать часов вечера — отъезд из Петрограда, старый друг впервые увидел поэта онемевшим

Бросить Питер? Красный Питер?. Уехать из города, в котором... Вот случай, когда нет слов. Да и некому их говорить. Нельзя повинить даже старшего Бонч-Бруевича. Ленин того же мнения. Затем и вызвал. Решение принято.

Незачем говорить и Владимиру Дмитриевичу, что немыслимо оторваться от города, в котором поэт так явственно слышит революционный ритм своих стихов. Об этом не говорит никому. Никогда. Здесь, на этой Главной Улице с ее удивительным, единственным эхом, он до сих пор слышит стук барабанов, которым еще не скоро найдет равнозначное звучание... Да и найдет ли теперь, вдали от нее?

— Однако, — в смятении возражает Демьян, — как же быть с Верой, с детьми?

Бонч-Бруевичу отлично известно, что семья друга отрезана. Оказалась «за границей» с тех пор, как Финляндия получила самостоятельность. Старшая дочь еще дальше. На Украине. Но если удастся их всех выцарапать, то никакого значения не имеет, приедут они в Питер или в Москву.

После минутной паузы Владимир Дмитриевич отвечает:

— Мы тоже едем без Веры Михайловны. Она только проводит нас, а сама -- на Северный фронт. Вы поедете в нашем купе, со мной, Лелей, Ульяшей. Набивайте портфель потуже!

А в ушах поэта словно стучат победные барабаны революции: «Трум-ту-ту-тум! Трум-ту-ту-тум!» Здесь он слышал их, здесь, на этой Главной Улице. Здесь, на широких просторах красного Питера, он улавливал ритм начала своей поэмы: видел, как рабочие массы «Движутся, движутся, движутся. В цепи железными звеньями нижутся...».

...Неужели нет сил отстоять Питер? Демьян не знал раньше, как любит его. Об этом сказала ему боль вынужденного, казалось, оскорбительного прощания... А полюбил этот город давно, еще впервые оказавшись на набережной Невы, еще не

зная, что он скажет обо всем, что увидел тогда: «Это — мое!»

Питерские фабрики и заводы дымили на обложке его первой книги басен. Питерские рабочие, балтийские моряки, типографские наборщики, бурные митинги и демонстрации, наконец, бои, в которых родилась революция. Все славное «сегодня» и «вчера» бросить?..

Не так уж много привязанностей было у Демьяна, и не легко они возникали. Но уж когда возникали, он держался за них мертвой хваткой.

...Понимая всю бессмысленность своих протестов, перед самым отходом поезда апеллировал к Ильичу. И услышал короткое:

— А все-таки Москва!..

Приставал и потом. «И он мне, — рассказывал Демьян, — на все мои вздохи и охи и на все аргументы, а аргументов я находил бесконечное количество, прищуривши так один глаз, отвечал всего одним словом:

— Москва...

Я ему сейчас же, понимаете, снова!.. А он опять:

— Москва...

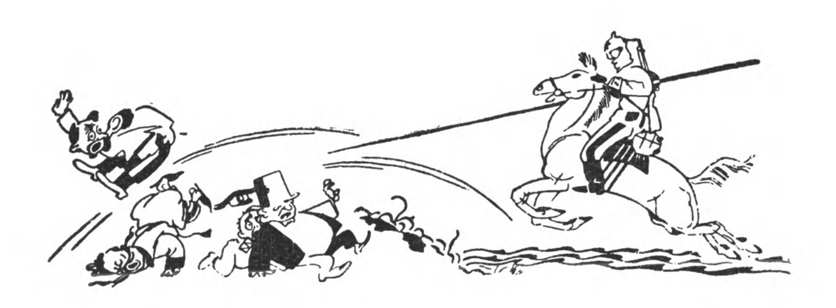
И он мне так раз десять говорил. Но все с разными интонациями».

В конце концов, признается Демьян, «я тоже начал ощущать, а ведь в самом деле М о с к в а!..»

Человек, который когда-то прибыл в Санкт-Петербург со свидетельством о бедности, уехал оттуда известным всем беднякам поэтом, в имени которого это унизительное слово звучало гордо — с большой буквы.

Первый правительственный поезд подошел к перрону вокзала новой столицы 13 марта 1918 года. В апреле Демьяну Бедному должно было сравняться тридцать пять лет. Он прожил уже большую половину своей жизни.





Часть III. МОСКВА — КРЕМЛЬ. 1918—1930

Глава I

ДОМА И НА БИВАКЕ

Каждый, кто входит в Кремль через Троицкие ворота, сразу видит небольшую, идущую направо улочку. Но не каждый знает, что первое время после переезда в Москву Советского правительства единственными открытыми воротами были именно Троицкие, что эта короткая, узкая улочка была едва ли не самой оживленной.

В 1918 году, если не считать части, отрезанной под новый Дворец съездов, она выглядела почти так же, как сейчас. Только теперь тут редко виден прохожий, а тогда в Кавалерском корпусе была первая квартира Ленина. Здесь же поселились Бонч-Бруевич, Сталин, Ольминский и многие другие. Тут разместилась первая столовая Совнаркома, в которой, как по всей России, бережно подбирали каждую крошку хлеба.

Здания напротив Кавалерского корпуса тоже заселены приехавшими из Питера. А вся улочка, называвшаяся тогда Дворцовой, замыкается галереей бывшего царского зимнего сада. Под ее сводами чаще всего проходил в свою квартиру Свердлов. Свернет налево — и дома. Первый этаж. Справа, под самыми сводами, приютилась другая дверь. Если пройти через нее и подняться на третий этаж, можно попасть в большой светлый коридор, названный когда-то кем-то «Белым». Тут жили первый нарком юстиции Курский, Ворошилов, Демьян Бедный и другие питерские новоселы.

Несмотря на то, что Кремль, особенно в этой его части, с тех пор мало изменился, он тогда выглядел совершенно иначе: хмурый, полный грязи, зияющий мрачными провалами выгоревших окон, щербатыми, закопченными стенами... Даже небо

над Кремлем было мрачно от бесчисленных полчищ воронья. Днем и ночью раздавалось немолчное карканье.

Окна Демьяна Бедного выходили в Александровский сад. Все деревья были усеяны гнездами:

При свете трепетном луны
Средь спящей смутным сном столицы,
Суровой важности полны,
Стоят кремлевские бойницы, —
Стоят, раздумье затая
О прошлом — страшном и великом.
Густые стаи воронья
Тревожат ночь зловещим криком.
Всю ночь горланит до утра
Их черный стан, объятый страхом:
«Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! Кра-кра! —
Пошло все прахом, прахом, прахом!»
О, воплощенье мертвых душ
Былых владык, в Кремле царивших,
Душ, из боярских мертвых туш
В объятья к черту воспаривших!
Кричи, лихое воронье,
Яви отцовскую кручину:
Оплачь детей твоих житье
И их бесславную кончину!
Кричи, лихое воронье,
Оплачь наследие твое
С его жестоким крахом! Крахом!
Оплачь минувшие года:
Им не вернуться никогда.
Пошло все прахом, прахом, прахом!

...Надоедливые птицы так изводили несших караульную службу латышских стрелков, что те, потеряв всякое терпение, открывали стрельбу... пока не вмешался Ленин. Но даже и после этого хлопали одиночные выстрелы: первый комендант Кремля Мальков только разводил руками: ведь латышские стрелки славятся своей выдержкой? И вот! Не выдерживают.

Самого Малькова больше занимали другие черные стаи: обитатели кремлевских монастырей. Не вдруг, не в минуту можно было решить и организовать их выселение. И лишь когда стало известно, что монахи нагло у самых ворот открыли бойкую торговлю своими пропусками в Кремль, настал черед коменданта не стерпеть. Побежал к Свердлову с ультиматумом. По дороге еще встретил Демьяна Бедного, который хорошо «подогрел» его первосортными русскими пословицами, из которых только одна была цензурна: «Попы-трутни живут на плутни». Комендант влетел к председателю ВЦИК с заявлением: «Пока из Кремля не уберут монахов, я ни за что поручиться не могу!»

Россійская
Соціалистическая Федеративная
Совѣтская Республика.

Всероссійскій Центральный
Исполнительн. Комитет
Совѣтов
Раб., Солд., Кр. и Каз. Деп.

«7» Июня 191 г.
№ 3

Пропуск

Дан т. Демьяну Бедному
на предмет свободного
входа в Кремль и выхода
из него

Председатель В.Ц.И.К.
Свердлов

Пропуск в Кремль.

«Божьи слуги» оправдали все нецензурные характеристики народа. Выезжая, прихватили церковное имущество, которому цены не было. Золотую патриаршью митру с бриллиантами — и ту уволокли.

— Я же тебе говорил! Предупреждал, — заметил Малькову Демьян, впрочем, «утешив» приятеля тем, что, мол, у него самого недавно сперли хоть и не митру, но хорошую шапку. И продавали на базаре с криком: «Кому шапку Демьяна Бедного?» Однако комендант не успокоился, пока не нашел ценности у отца-эконома Троицкого монастыря и не водворил их на место.

Кончился март, затопивший кремлевские площади не лужами — озерами. На плацу между колокольней Ивана Великого и Спасской башней — непролазное болото. Дети работников советских учреждений бочком пробираются в здание Чудова

монастыря, где наспех создан детский сад. Хоть для ребят немного бы расчистить: им и поиграть негде.

В апреле подсохло, но коменданту забот прибавилось. Близится первое послеоктябрьское Первое мая. Свердлов сказал, что Кремль надо украсить. А кругом из-под растаявших сугробов вылезло столько всякой дряни! Тут тебе и битый кирпич, и лохмотья, отрепья, обломки стекла. Грязь — по уши.

— Что горюешь? — опять утешает Малькова Демьян, и на этот раз не пословицами. — Очищать придется еще не такое. А Кремль? Он видал картинки похуже.

— Это когда? При царском-то режиме?

— Именно. Тут в старину был сплошной разбой.

— Ефим Алексеевич! Все шутки и шутки!

— Вот уж нет. Здесь, Павел Дмитриевич, в старину свили гнезда такие воры и душегубы, что наши «монаси — чины ангельские» перед ними просто голуби. К дворцовым воротам, где Яков Михайлович живет, было страшно подойти. И к Грановитой тоже... Теперь у нас под Троицким мостом притонов нету? А раньше там грабители ставили себе избы. Очень удобно: днем спишь, ночью грабишь. Самое разбойное место считалось по всей Москве!

— Так это басни. Кто это говорит? Уж не тот ли дворцовый швейцар — как его? — который пуще всех старается, обмахивает пушинки с кресел? Так он болтун.

Да, поэт знает швейцара, который «пуще всех», по имени-отчеству. Более того, он находит его болтовню интересной, потому что услышать мнение представителя царской челяди о вождях нового правительства весьма занятно: «Что же это? Не вызывают ни трепета, ни робости. Бежит бегом ваш Свердлов. Или тот же Ленин? Кепочка чуть на затылке... Со всеми запросто. К какой власти вознесен, а держится как равный!.. Разве так следует правителю?» — слышал не раз Демьян, с удовольствием отыскивая в этих «жалобах» нотки глубочайшей симпатии.

Но о том, что творилось в Кремле в XVIII веке, поэт знает не от швейцара, а из истории Ивана Забелина; предлагает Малькову, если не верит, заглянуть в его книгу. Только коменданту некогда. У него ни часа, ни минуты. Он рыщет по всей Москве. Нужны художники, декораторы, плотники, кровельщики, просто уборщики... И застучали молотки, завилась стружка, пошли в ход ножницы, кисти, клей, краски, фанера, захлопал на ветру кумач.

В канун праздника исчезла кремлевская хмурость. Кутафья башня целиком в кумаче. Стяги живым коридором трепе-

щут на мосту, под которым когда-то ютились воры. На Троицкой башне даже панно: взлетел, развернув мощные крылья, красный не то гений, не то... ангел. В общем — аллегорическая фигура.

Все готово к назначенной на одиннадцать часов демонстрации. В половине десятого Владимир Ильич вместе с членами ВЦИК уже на сборном пункте, перед зданием Судебных установлений. Настроение, видно, хорошее. Шутит, смеется. Впереди — пятичасовая демонстрация московского пролетариата, митинг, а после — встреча в самом Кремле сотрудников и латышских стрелков, на которой выступят и Ленин и Свердлов. Это будет всем праздникам праздник!..

Но англичане в Архангельске, японцы во Владивостоке. В апреле чехословацкий корпус занял позиции на Волге, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. И первомайская «Правда» не только поздравляла своих читателей с праздником. «Товарищи, мы — в огненном кольце!» — восклицал с ее страниц Демьян Бедный. Даже он оставил обычные шутки. Двадцать пять строк его призыва гремели набатом: «Судьбою нам дано лишь два исхода: иль победить, иль честно пасть в бою».

А демонстранты весело махали флажками и свежим номером той же «Правды», приветствуя своих вождей, стоящих на невысокой дощатой трибуне. Солдаты московских полков, молодежь, рабочие и дети вразнобой, перебивая друг друга, пели: «Сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки!», «Это есть наш последний...» Во всей Москве царило необычайное оживление. И когда после полудня выглянуло долгожданное солнце, оно осветило счастливые лица тех, кому судьбой было «дано лишь два исхода».

Праздник прошел отлично. Потекли майские дни. Но тучи над страной продолжали сгущаться. Демьян же словно позабыл о своем недавнем призыве, хотя чуть ли не каждый день продолжал делиться своими наблюдениями.

То его насмешили уныло бродившие по Красной площади «помещик — без земли, заводчик — без завода. И хищник банковский, сидящий без дохода». Они... «пялили глаза на торжество рабочего народа», и довольный поэт описывает тоску этих «обездоленных» господских теней. «Там, где нам — солнышко, для них — сплошная тень»; то Демьян спохватывается: как не отметить пасху? И говорит свое «Христос воскресе» тем, кто «намолил себе монет»; свершилось падение украинской Центральной рады — он вспоминает язык детства и распевает на нем свободно, да с присвистом, с притопом: «Ждалы



Иллюстрация к поэме «Главная Улица». Художник Н. Долгоруков.



Первая полоса юбилейного номера «Красной газеты» с портретом основавшего ее В. Володарского. 1923 г.



Д. Бедный. 1918 г.

літа, ждалы літа, а прійшла зима. Була Рада, була Рада, а теперь нема!»

Дела идут неважно. Меньшевики оплакивают Россию. Демьян смеется: «Мерехлюндия сплошная, — обрядились в черный цвет: «Ах, зачем ты, мать родная, породила нас на свет?..» В злой тоске ломают пальцы, сыплют пепел на главу. Затопить хотят рыдальцы морем слез своих Москву!»

Англичане с недоумением обнаружили, что октябристы и кадеты, которых они считали убежденными и преданными союзниками, поддерживают Скоропадского, опирающегося на германские штыки. Демьяна разбирает неудержимый хохот:

Жулик жулика надул.
Жулик крикнул: Караул!
Жулик жулика прижал.
Третий жулик прибежал.
Кто с кого и что сдерет,
Сам тут черт не разберет.
Мчит на крик со всех концов
Шайка новых молодцов:
Разгорается война.

*

Наше дело сторона.

«Сторона — стороной», но положение тяжелое. И на фронтах. И в тылу: в Петрограде, по дороге на митинг, убит Володарский. Друг. Чистое, пламенное сердце. Полный блеска ум. Полный сил боец. Демьян сурово произносит прощальное слово над свежей могилой: «Он бился и пал, как герой. Пред той же стоим мы судьбою, товарищи, сдвиньте редеющий строй! Готовьтесь к последнему бою!»

Демьян Бедный никогда не забудет Володарского. Уже отгремят бои, пойдет сражение с бедностью, когда в 1922 году из-за недостатка бумаги встанет вопрос о существовании «Красной газеты»: «Баста!.. Ей не скакать прежней прытью: подлежит она, слышно, закрытию», — напишет соратник Володарского и его именем отобьет право газеты на жизнь.

Наступает июль 1918 года. На V съезде Советов левые эсеры собираются арестовать в Большом театре, где проходит съезд, все Советское правительство во главе с Лениным. Попадают в ловушку сами. Демьян, все время подвергающий их стихотворному обстрелу, заходит в фойе театра, когда «декорации уже полностью переменились». Ему нужно самолично видеть не только друзей, но и врагов: ну-с, как они себя теперь чувствуют?



Иллюстрация к стихотворению «Христос воскресе». Художники Кукрыниксы.

Дядя Костя с неизменной трубочкой и неизменным синим карандашом сидит тут и спокойно разбирается: в руках — список левоэсеровской фракции. Он помечает, кого надо выпустить, а кого отправить в тюрьму. И с прежней невозмутимостью, точно таким движением, каким в старой «Правде» откладывал выправленные материалы налево, а невыправленные — направо, он теперь раскладывает только что отобранные бомбы и револьверы.

С этим покончено. Но шестого — контрреволюционный мятеж в Ярославле. Седьмого — в Рыбинске. Восьмого — в Муроме. Наступление белочехов в богатейших губерниях. Вырваны из рук Советов десятки городов Средней России. Началась оккупация Закавказья. Германские войска, захватив Прибалтику, Белоруссию и Украину, продвинулись в Донецкую область и Крым. Отошло к врагам все побережье Черного моря. На Белом взят Архангельск. «Огненное кольцо», как говорили тогда — говорят о той поре именно этими словами поныне, — сжимается.

Поэт видит фронт и в глубоких тылах. В деревне не ведутся бои, но свой скрытый фронт есть и там. Оттуда должны прийти резервы. Задача Демьяна — ежедневная работа с народом: крестьянином, который может либо «схоронить» хлеб, либо отдать; может пойти на защиту новой власти, а может и

спрятаться или уйти к врагу. Поэт должен оторвать мужика от попа, кулака, привычного начальства — белогвардейского офицера.

Поэт должен поддержать голодающего рабочего, доброй шуткой поднять дух только народившегося красноармейца. И страницы газет ежедневно заполняются издевательскими разоблачениями кулаков, попов, меньшевиков, интервентов. Это делается с такой убежденностью и силой, что стихи Демьяна совершенно естественно, хотя и необычно, сравниваются с метко бьющими по цели снарядами.

Есть у него и ласковое слово, особенно когда он обращается к молодому поколению: «В дни тяжелые эти одна мне отрада — дети... Жизнь ваша будет полна чудесами, ждут вас, детки, светлые дни. Мы корчевали старые пни, мы сеяли семя свободы, — вы увидите мощные всходы...»

...Положение на фронтах все ухудшается, но никогда не унывающий Демьян все и вся вышучивает, за словом в карман не лезет. Недаром друзья говорят, что в Кремле, кроме Царь-колокола и Царь-пушки, появилась и Царь-шутка. Достается тем же друзьям: «Вот, братцы, я каков уж есть, мужик и сверху и с изнанки, с отцом родным беседы весть я не могу без перебранки». Даже «Мой политический обзор» он начинает с шутки, на этот раз, правда, дружеской:

В тяжелый час, друзья мои,
Весьма полезно на минутку,
Забыв стекловские статьи,
Прочесть демьяновскую шутку.

...Всласть посмеявшись над мудреными передовицами редактора «Известий» Стеклова, вполне развеселив читателя, Демьян, нисколько не заботясь о резкости перехода, призывает:

Освобождайте же Урал:
Путь чрез него — на Украину.
Пусть рухнет первая стена,
За ней падет вторая, третья...
Как даль зловеще ни темна,
Мы — на исходе лихолетья!
Он близок — праздник мировой, —
Осталось ждать нам дни — не годы.
Храните с верою живой
В своей груди огонь свободы!
Не дрогнув, стойте до конца!
Врага умейте ненавидеть.
Нет безнадежнее слепца,
Чем тот, кто сам не хочет видеть...

Казалось, не было политических обстоятельств, фронтовых неудач, которые обескуражили бы его. Таков же он и в быту, хотя поначалу у него в Кремле и вовсе не было никакого быта. Наскоро пристроил несколько пачек книг, повесил карту, поставил на стол ленинский портрет. Основательно устраиваться было некогда, незачем и не с кем: семья еще «за границей», а сам все по фронтам... Поди пойми, где твой дом?

Но когда жене удалось бежать; когда дети были обменены на финских офицеров; когда приехала теща, ждали старшую дочь и собравшаяся семья должна была пополниться новорожденным — быт возник сам по себе. Обживание шло даже как-то помимо Демьяна. То определился кабинет. То надо было сунуть куда-то детей — появилась детская. Однажды, вернувшись, он обнаружил, что есть столовая, да еще с громадным буфетом. Оказывается, Свердлов снял строжайший запрет использовать дворцовое имущество: в подсобных помещениях оказались ничем не замечательные вещи, вроде этого буфета. В нем поместилось бы куда больше продуктов, чем те, что получал Демьян.

У него в доме всегда полно народу. Друзья, знакомые, просто зашедшие на минутку узнать новости или отдохнуть, послушать рассказы о встречах Демьяна, которые он выкладывает так мастерски, что даже актеры ахают. Иногда из-за дверей его кабинета раздается такой оглушительный хохот, что Владимир Ильич задерживается на пороге: не хочет помешать. Пусть отсмеются!

Демьян — хозяин целого «клуба», как называет его квартиру Шаляпин. И хозяин хлебосольный. Сидя за его столом, ни один командир, ни нарком, ни даже Владимир Ильич, слава богу, не спросят: «Где взял?» А у Демьяна в этом деле своя политика. Был случай, который многому научил его: комендант Мальков никому иному, а именно Демьяну, предложил однажды вырваться за город. Не гулять. По делу: «Есть-то что-нибудь надо? Не половить ли рыбки?» Но ловить некогда. Глушили гранатами. И «улов» получился вполне приличный. Само собой, свежей рыбки надо отнести Ленину. Мальков уговорил Надежду Константиновну: «Сам наловил!»

Все было выполнено и задумано так хорошо, а получилось плохо. Мальков был, как обычно, в бегах, когда узнал, что его разыскивал Ленин. Сердце ёкнуло... Откуда Владимир Ильич узнавал решительно обо всем? Раздался звонок и к Демьяну:

— Вы что там с Мальковым удумали, браконьеры вы этакие? Да вас обоих в тюрьму за такие штуки следует посадить!!

— Верно. Нехорошо, — ответил Демьян. — Но как же быть, Владимир Ильич? Мальков-то и вам рыбку отнес?.. Не мы одни ее ели?..

Владимир Ильич очень рассердился.

— Ваш Мальков обманщик. Он не сказал, каким способом ловил рыбу. И его и вас предупреждаю — повторится такая история, буду требовать для вас обоих самого сурового наказания.

Но Демьян унывал недолго и еще утешал Малькова:

— Не горюй! Отведал Ильич свежей рыбки? Это тебе не совнаркомовское пшено. Чего тебе, голова, еще надо?.. И кто это ему доложил? Не иначе как Бонч! Ну попадется он мне!..

Случай с рыбой многому научил Демьяна. Сообразил, что в таких делах Ильича надо только побольше... «обманывать». Об этом же говорил и опыт ближайших друзей — Дзержинского и Свердлова. Они долго думали, как бы устроить, чтобы сшить Владимиру Ильичу новый костюм. Разработали план. Мальков сыскал материал и портного, да все вчетвером неожиданно нагрянули снимать мерку. Ильич посердился. Спросил, что это за ерунда, и мигом определил, что против него составлен заговор. Дзержинский отшутился, что это как раз по его специальности. А мерку все-таки сняли. «Вот это по-нашему! — радовался Демьян. — Но и меня на кривой не объедешь. Я ведь тоже знаю, как с ним надо действовать», — хвалился он, будучи всегда начеку: Демьян знал, что Ленин может зайти ненароком, и, в жажде его видеть, говорить с ним, не упускал из виду, найдется ли какое-нибудь угощение, которое абсолютно бесполезно посылать Ильичу на дом — все равно переправит в детский дом. Тут не станет помогать и верный друг — Мария Ильинична.

Маневрировать приходилось и с друзьями-наркомами, командирами. «Мне что? — говорил Демьян, спрашивая жену, хватит ли всем сахару к чаю (или по крайности, как говорил Ильич еще в Смольном, — на «сахарброды»?). — У меня никакой должности нету. Я не нарком, не командир. Им и подарок взять нельзя и добывать не пристало. А придут ко мне и сами не заметят, как под разговор да шуточку пойдет и сахар и плюшечка!»

Настало 30 августа. Тяжелое утро. В Питере убит председатель ЧК Урицкий. Дзержинский срочно выехал туда. А в Москве обычный партийный день: шли собрания.

Во второй половине дня дрогнули, побледнели лица людей, не знавших, что такое страх: с завода Михельсона привезли раненого Ильича...

Необыкновенная тишина в Кремле. Дверь квартиры Ленина раскрыта настежь. Первый врач у его постели — Вера Михайловна Величкина. Не оборачиваясь, говорит мужу:

— Звони домой! Морфию! Шприцы!

— Леля уже здесь.

Вера Михайловна надламывает головку ампулы. Скорей! Морфий должен снять шок. Это прежде всего. Так... Теперь нужна камфара. И подушки. Надо положить повыше. Несколько подушек... Приподнять.

Леля снова здесь с новыми ампулами. Мальков после звонка Бонч-Бруевича вылетает из комендатуры в дворцовую гардеробную. Она на замке. Бешено вышибает ногой дверь.

— Вот подушки!

В коридоре у ленинской квартиры — окаменевшие в безмолвном отчаянии люди. Слышен только голос Бонч-Бруевича, передающего распоряжения по телефону. Ждут профессоров Минца, Розанова. Что-то они скажут?.,

Приехали:

— Немедленно морфий.

— Сделано.

— А теперь?

Вопросы не задаются вслух. Ответы читаются по лицам. Неведение длится несколько суток...

Свердлов работает днями и ночами в ленинском кабинете. Там не гаснет свет. Работают все, но только через три-четыре дня переводят дыхание. Лучше! Стало лучше. И тогда все кидаются в работу с еще большей яростью.

...А человека «без наркомата, без должности» что-то не видно в газетах с 21 августа. Прошла уж половина сентября, но ни в «Правде», ни в «Бедноте»—ни слова. Куда подевался?

А вот куда: надо брать Казань. Наступление назначено. 7 сентября в части врага уже сброшены листовки. Это первые стихи Демьяна после ранения Ильича. Звучат, как всегда, бодро: «Гудит-ревет аэроплан. Летят листки с аэроплана. Читай, белогвардейский стан, посланье Бедного Демьяна!..» Он призывает обманутых солдат «ударить в тыл остаткам гнусной банды царской». Только две строки здесь говорят о случившемся 30 августа: «Мы раны нашего вождя слезами ярости омоем», «С нашим раненым вождем мы победить весь мир сумеем...»

С наступлением на Казань натиск Красной Армии нарастал по всему Поволжью. Большинство вновь сформированных дивизий направлено на ставший в те дни главным Восточный фронт. Надо было поспеть всюду. Совершенно случайно в бу-

магах Демьяна Бедного сохранился занятный документ. Это «Экстренный отзыв» от коменданта станции Арзамас начальнику этой станции № 197. Дата 9 сентября 1918 года. Текст: «Прошу принять для перевозки тов. . . . . в числе одного челов. со станции Арзамас до станции Свияжск...»

Принятый для перевозки «один челов.» с суровым, простым лицом солдата и метким взглядом артиллериста появляется в те дни в Хвалынске, под Самарой, Николаевском-Уральским. Его бы и приняли за солдата, но он в кожаной фуражке со звездой и кожаной куртке. «Это новый комиссар!» — решают по первому впечатлению в частях.

10 сентября взята Казань. В первом же номере походного листка «На биваке» того же 10-го числа Демьян приветствует: «Товарищи! С победой! Отдохнем за беседой. Часок отдохнем — и дальше махнем!»

Один походный листок за другим — и в каждом он беседует с бойцами. Здесь он в своей стихии. Демьяну любо посидеть у бивачного костра, покурить, потолковать: есть о чем порасспросить и самому рассказать. А иногда оглядится, задумается и видит:

Необозримая равнина,
Далекий оклик журавлей.
Стальная серая щетина
Промокших скошенных полей.
Деревня. Серые избушки.
Кладбище. Церковка, пред ней
Повозки, кони, ружья, пушки,
Снаряды, люди у огней.
. . . .
«Слыхал?» —
«Слыхал?» —
«Добьем, известно!»
«Вперед нас, гадина, не тронь!»
Глаза простые смотрят честно.
Трещит приветливо огонь.

А огонь на биваке не всегда приветлив. Всякое бывает. Чапаевцы взяли Пугачев. Вроде есть небольшая передышка. Еще вечером варили уху, угощали приехавшего сюда Демьяна. Все было тихо. Но как ярился Чапаев, хватившись Демьяна, когда вспыхнула перестрелка! Откуда ни возьмись из рощи огонь по передовым окопам. «Почему Демьян оказался там? Кто велел? — напускается на своих Василий Иванович. И ординарцу: — Коня!»

Чапаев соскочил в окоп, когда огонь уже был подавлен. «Белоказаки налетели!» — объясняют бойцы. А гость Чапаева

мотивирует свое пребывание здесь также по-деловому: «Задание Реввоенсовета. Надо было вручить часы бойцам». Вечером, за разговором выяснил, кто отличился при взятии Пугачева... А хорошие бойцы, известно где... «Так как же? — испытующе смотрит Демьян на комбрига. — Вызывать мне их из окопов в избы, что ли?»

Говорят, легендарный герой тогда отступил перед поэтом. А поэт, отсалютовав вскоре взятой Самаре, уже в другой части.

Он попадает в часть, где случайные налеты врага маловероятны. Здесь даже есть московские газеты! Вот «Беднота» от 2 октября. Его стихи «На биваке», «Трещит приветливо огонь». Есть и «Правда». Но что это?

Вера Михайловна Величкина. Траурная кайма...

Скончалась в ночь на 30 сентября. Испанка, воспаление легких. Как же это?.. И месяца не сравнялось, как она сидела у постели раненого Ильича. Что же они там... Неужели ничего нельзя было сделать?

Его руки лежат поверх газеты. Папироса погасла. Он и не закуривает. И табак и сама газета сразу стали как-то ни к чему... «В иной среде, иных друзей нашел я в пору пробужденья...» Сколько было связано с ушедшим другом! Как она встретила его тогда, в первый раз!.. Каким он был в эту первую встречу еще темным!.. Она была первым товарищем из женщин, кому он отдал безоговорочную любовь-уважение.

Позже он увидит у Владимира Дмитриевича фотографии похорон. Увидит письмо Ленина. В те дни Ильич еще был в Горках и писал:

«Дорогой Владимир Дмитриевич! Только сегодня утром мне передали ужасную весть. Я не могу поехать в Москву, но хотя бы в письме хочется пожать Вам крепко, крепко руку, чтобы выразить любовь мою и всех нас к Вере Михайловне и поддержать Вас хоть немного, поскольку это может сделать человек, в Вашем ужасном горе. Заботьтесь хорошенько о здоровье дочки. Еще раз крепко, крепко жму руку.

Ваш *В. Ленин*»[1].

И — рукой Надежды Константиновны: «...Владимир Дмитриевич и Леленька, не знаю что и сказать... Как-то ужасно трудно верится...»

Да, несправедливым утратам верилось трудно. Трудно воевалось. Трудно работалось. И после вызывающего, написанно-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 50, стр. 186—187.

Привѣтъ

Гудитъ-реветъ аэропланъ
Летятъ листки съ аэроплана
Читай, бѣлогвардейскій станъ,
Посланье Бѣднаго Демьяна!

Побѣдный звонъ моихъ стиховъ
Пусть внизъ спадетъ, какъ звонъ набата.
Объ отпущеніи грѣховъ
Буржуй, молись! Близка расплата!

Готовься отвѣчать и ты,
Правоэсэровскій Іуда,
За слезы темной нищеты,
За кровь обманутаго люда!

Гдѣ меньшевикъ? Иди сюда,
Трусъ, онѣмѣвшій отъ испуга.
Ты стоишь строгаго суда,
Какъ всѣ вы стоите другъ друга!

Одни дѣла — одинъ отвѣтъ.
Всѣмъ воздадимъ по равной чести!

* * *

Друзья-Рабочіе! Привѣтъ!
Я васъ зову къ жестокой мести!

—

Пусть май, знакомый вамъ, напѣвъ
Откроетъ всѣмъ глаза и уши.
Да будетъ святъ вашъ правый гнѣвъ!
Да закалитъ онъ ваши души!

Рукопись стихотворения «Привет».

го недавно обращения к другой стороне фронта поэт в эти дни снова говорит с этой, другой стороной как-то иначе.

Раньше он писал:

«...Что ж? Идите! Мы к встрече готовы! Эй, скажите нам, кто вы? Эй вы, идущие против рабочей Москвы... Откройте глаза, посмотрите вокруг: где враг ваш? Где друг? Кто ваши вожди и владыки? Такие ль, какие вы и как мы, горемыки?..»

Сейчас, после утраты друга, найденного «в пору пробужденья», Демьян спокойно, почти ласково обращается к братьям-казакам. Доверчиво признается им: «...тоже долго был холопом, темным парнем, остолопом, лоб расшиб о сотни пней, до того как стал умней...» Да что это? Призыв переходить на сторону Красной Армии или исповедь? Начало — просто задушевная беседа у костра: «Ночь тиха, и небо звездно. У бивачного огня, братцы, слушайте меня...», «Это я — тут, с вами рядом, — вас окинув братским взглядом, с вами братски речь веду, как нам снова жить в ладу». И поэт рассказывает донцам и кубанцам о себе:

С вами вместе пас лошадок,
Вместе бегал по задам,
По помещичьим садам,
Вместе с вами в хороводе
Пел я песни о народе,
О судьбе его лихой.
Я ль советчик вам плохой?

Но теперь-то он не «темный парень», а человек опытный, умный, и потому уверенно переходит к делу. Смело бросает свой вызов на ту сторону: «Не уйду я, братцы, с поля, буду биться до конца. Не жалейте же свинца: прошибайте лоб мне пулей... Сладко спать в земле сырой тем, кто пал за вольный строй...»

И снова «гудит-ревет аэроплан», летят в тыл врага демьяновские листовки. А на своей стороне бойцы уже вооружены бодрой песней, походным маршем, развеселой частушкой, которую так хорошо спеть в минуту передышки. И по всем городам гремит его «Коммунистическая Марсельеза».

Командованию Красной Армии да и противной стороне хорошо было известно, что листовки производили действие, равноценное боевым усилиям нескольких воинских частей. Это засвидетельствует такой непримиримый враг, как пойманный в первые месяцы Советской власти «старый держиморда» Пуришкевич. На следствии он разговаривает высокомерно, утверждает, что «большевики все равно долго не удержатся», и по-



Иллюстрация к стихотворению «Казанское чудо».

Художники Кукрыниксы.

казывает: «Среди вас, большевиков, для нас, монархистов, опасных людей только двое. Это — Ленин, который сумел так быстро организовать и заострить, хотя не с того конца, такую цепкую власть, и Демьян Бедный, который сумел своими агитками пролезть под каждую солдатскую шкуру глубже, чем все наши декреты и прокламации».

Свои не станут говорить Демьяну, что он для них значит. Они просто ему рады и стараются чем могут отдарить его. Охотно расскажут, о чем спросит. Наперебой угощают табачком. Если нет — сами закурят демьяновский. Собрался он в Москву — соберут в дорогу «фунтик» и подкрепят свои приветы Ильичу несколькими фляжками «грушовки»: ему на поправку стопочку перед обедом... хорошо! Наивную уверенность в том, что это именно так, не может разрушить ничто. Все объяснения, что Ильич вообще не пьет спиртного, встречают дружный отпор: «То вообще. А то после болезни! Пользительно. Для аппетиту! Это же знаменитая, за ней купцы со всех концов раньше наезжали...»

Нальют флягу и Демьяну: «Бери! Не стесняйся! Чего там!..» Ему отказаться трудно: только что вместе пробовали. К тому же он знает: не взять от души предложенное — значит

обидеть. Такие подарки он везет из Самары, которая взята с большим запасом продуктов: бойцы подхарчились. В другие разы — и значительно чаще — он сам поделится сухариками, чем придется.

Но, приехав с «грушовкой» в Москву, он так просто ее друзьям не разольет. Любитель мистификаций найдет бутылку с фирменной наклейкой и сплетет целую басню о вине «из тайных царских погребов». Даже ключ покажет. Не обманет он только Шаляпина. Федор Иванович знает толк в винах, и с ним у хозяина одна забота: вовремя подмигнуть... Просто, без всяких баек Демьян отнесет «грушовку» к Бонч-Бруевичам. Оказалось, что испанкой болели и Ульяша и Леля. Они даже не хоронили Веру Михайловну. Обе до сих пор еле стоят на ногах. «Пользительность» «грушовки» для Лели?.. Четырнадцать лет. А Ульяне Александровне в самый раз.

Если во время распивания вина «из царских погребов» в Демьянов клуб заглянет Владимир Ильич, хозяин, с ловкостью ныряющего под парту школьника, сунет свои «фирменные» бутылки под стол, и разговор будет продолжаться как ни в чем не бывало.

А людей здесь все больше и больше. Не случайно Шаляпин называет этот дом клубом, «...куда очень занятые и озабоченные люди забегали на четверть часа не то поболтать, не то с кем-нибудь встретиться. Я уже упоминал, что у Д. Бедного я встретил в первый раз Ленина...». Артист, рассказывая о том, что и он сам постоянно навещал «милого поэта», а часто вместе с Горьким, говорит, что именно у Демьяна встречал И. В. Сталина; к этому можно добавить лишь то, что они были старыми знакомыми, так как их связывала еще совместная работа в дореволюционной «Правде».

Нет ничего удивительного в том, что люди тянулись сюда. Демьян битком набит новостями, впечатлениями; всегда откуда-то вернулся и куда-то собирается.

Но утром, когда он садится за письменный стол, он видит себя под Казанью или Самарой. Видит простые глаза, что смотрят честно. Слышит историю про старика, о котором Чапаев ему рассказывал, улыбаясь в усы: «Вот это был дед! Хороший такой старичок — это уж наш дедушка...»

К первой годовщине Октября выходит плакат со стихами. Тут рассказана история повстречавшегося Чапаеву в селе Большая Таволожка старика. Он сетовал: худ, голоден, оборван. Всю жизнь работал. Неплохой печник. А и лаптей нету! «Иди, — ответил ему Василий Иванович, — к большевикам, в комитет бедноты. И накормят и пособят!»

Демьян пишет, как было дело:

...Прохожему утром — обновка,
Одет с головы и до ног:
Рубаха, штаны и поддевка,
Тулуп, пара добрых сапог.

«Бери! Не стесняйся! Чего там!
Бог вспомнил про нас, бедняков.
Была тут на днях живоглотам
Ревизия их сундуков».

Поэт крепко запомнил, что сказал в ответ старик: «Семьдесят лет я ходил по земле, а уж сколько обошел, один только бог знает. И наконец-то все-таки дошел до этого места...»

Стихи точно так и называются: «До этого места». Доподлинны и слова благодарности:

Надевши тулуп без заплатки,
Вздохнул прослезившийся дед:
«До этого места, ребятки,
Я шел ровно семьдесят лет!»

Поэт испытывает на себе огромную силу воздействия бивачной жизни. Но не только она дает ему темы. Москва нужна ему не для отдыха, не для встреч с друзьями. И здесь полно дел. Демьян даже ходит на работу. Не в одну «Правду» или «Бедноту». В переулке у Сретенских ворот — новое учреждение: Российское телеграфное агентство — РОСТА, предшественница ТАСС.

Интересное, живое учреждение. Характерная деталь: на двери ответственного секретаря пришпилена убедительная просьба: «Входить без стука и доклада!!!»

В РОСТА, кроме обычной работы агентства — круглосуточных дежурств в телеграфном отделе, куда стекается вся информация и откуда уже обработанный и размноженный материал идет в газеты, — беспрестанно нарождаются новые виды агитации. Отсюда сотрудники уезжают с агитпоездами и пароходами. Здесь появился совершенно необычный тип газеты-афиши: выпуски «Стенной РОСТА». Их придумал все тот же Дмитрий Иванович, что работал в старой «Правде» и питерской «Красной». Теперь, будучи ответственным секретарем РОСТА, нашел выход из положения. Бумаги мало, новостей много, информация нужна. Расклеенные на улицах экземпляры стенной РОСТА прочтут десятки, сотни. Плохо с клеем, расклейщиками и курьерами? Сотрудники между делом, на пути, сами прикрепят свежие листки кто чем горазд: кнопками, гвоз-

диками, а уж если вовсе ничего нет, то, как ни дорог хлеб, кусочками мякиша из своего скудного пайка. Они же сами помчатся, чтобы передать в Кремль тот же листок. А уж если особо срочно — ответственный секретарь средь зимы, завалившей Москву снегом (очищать улицы тоже некому), сядет на велосипед и покатит, да еще будет утверждать, что пользуется лучшим видом транспорта: ведь дорога к кремлевскому холму со сретенского — все под уклон, да и на снегу не расшибешься.

Здесь же, почти одновременно со стенной РОСТА, рождаются ее «Окна». Броские рисунки, боевые, короткие стихотворные строчки. В «Окнах РОСТА» орудуют художники Черемных и Маяковский. Но Черемных только рисует. А Маяковский — на два фронта. Вот тут-то Демьяну и надо подсобить. Еще нет поэтов, которые хотят и могут вести эту будничную агитационную работу, и потому Демьян после скажет: «Мы с Маяковским так работали, что временами казалось — нас только двое».

Есть в Москве и другие заказы. Вот прямой — от Ленина. Владимир Ильич расспросил о настроениях фронтовиков:

— Выдержат ли?.. Не охоч русский человек воевать...

— Не охоч! Я повидал это еще в четырнадцатом году. Однако теперь совсем иное дело...

Разговор все же заходит не о сегодняшнем дне, а касается национальных черт, вековых традиций. Тут Демьян Бедный осведомлен широко, даже шире собственного опыта. Он предлагает Владимиру Ильичу просмотреть книгу Барсова, в которой собраны «плачи завоенные, рекрутские и солдатские».

И когда Ленин возвращает книгу, он, по словам Демьяна Бедного, говорит так:

«Это противовоенное, слезливое, неохочее настроение надо и можно, я думаю, преодолеть. Старой песне противопоставить новую песню. В привычной своей, народной форме — новое содержание. Вам следует в своих агитационных обращениях постоянно, упорно, систематически, не боясь повторений, указывать на то, что вот прежде была, дескать, «распроклятая злодейка служба царская», а теперь служба рабоче-крестьянскому, советскому государству, — раньше из-под кнута, из-под палки, а теперь сознательно, выполняя революционно-народный долг, — прежде шли воевать за черт знает что, а теперь за свое и т. д.».

...Вот тогда-то и грянули знаменитые «Проводы»: «Как

родная меня мать провожала, как тут вся моя родня набежала...»

Положенная на музыку композитором Васильевым-Буглаем, песня раздавалась на фронте и в тылу; на мирных демонстрациях и в походных маршах; на семейных торжествах и пионерских сборах, привычно «голосили» ее в деревне:

«А куда ж ты паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!
В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.
. . . .
Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине».

С задором, с такой силой убежденности, с какой может звучать только выражение собственных мыслей, отвечал отсталой родне многоголосый хор «Ваньков» и «Арин»:

«Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Чтоб осталось от Москвы,
От Расеи?»
. . . .
«С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом...»

...Долгие-долгие годы после окончания гражданской войны залихватские «Проводы» с веселым посвистом гремели по «всей Расее».

Радостно было поэту получать доказательства того, что ему удалось понять мысль Ильича, выполнить его заказ. Вспоминая о разговоре с Лениным, он так итожил его: «Вот какую идейную базу имела моя фронтовая агитация».

В ту пору он был единственным поэтом, который мог так сказать.

Глава II

НА БИВАКЕ И ДОМА

В нищей, вовлеченной в неравные бои стране за три года гражданской войны напечатано сорок пять книжек Демьяна

Бедного. Миллионными тиражами, потому что они были нужны, как хлеб, как оружие. Потому что даже та часть крестьян, которая была озлоблена введением продразверстки, на собраниях, где присутствовал Демьян, направлялась прямо к нему... целоваться. Ему писали и с фронта и из тыла. Полагались на его слово. Знали, что поможет. Объяснит. Верили. Да и как было не поверить?

Вскоре после введения продразверстки Демьян публикует «переведенное» им в стихи письмо с фронта. Бойцы сообщают, что не жалеют жизни за Советскую власть, а тем временем какие-то ретивые начальнички злоупотребляют правом, данным этой властью:

Пишут из дому родители,
Плачет каждая строка:
Там какие-то грабители
Утесняют мужика.

. . . .

Обернулась-де татарщиной
Власть рабочих и крестьян.
Не под новой ли мы барщиной,
Дорогой наш брат Демьян?

Демьян вступает в открытую «беседу по душам», как он называет свои стихи, отвечая:

Пред товарищами милыми
Я не скрою ничего.
Вам пишу я не чернилами, —
Кровью сердца своего.

Нету глупости разительней,
Чем прикрашивать все сплошь.
Правда горькая пользительней,
Чем подслащенная ложь.

Мы — не боги несудимые:
Не минует нас молва,
Но спасибо вам, родимые,
За открытые слова.

. . . .

По делам крестьянским следствия
Нам пришлося наряжать:
Кто чинит крестьянам бедствия?
Что их стало раздражать?

. . . .

Ленин дал распоряжение,
Чтоб, прижучив кулаков,
Больше вникнуть в положение
Всех трудящих мужиков...

Демьян советует, обещает и разъясняет:

Не шуметь, махая вилами,
И не пятиться назад,
А своим умом и силами
Строить жизнь на новый лад.

. . . .

Не потерпим укрывательства
И поблажки не дадим.
За насилья, надругательства
Никого не пощадим.

. . . .

Не худое мы затеяли,
И не зло у нас в уме:
Много дряни мы отвеяли,
Но бредем еще во тьме.

. . . .

Но для дела мало смелости:
Нужен ум и нужен глаз.
Зло от нашей неумелости
Получалося не раз.

Поработаем — научимся.
Первый опыт, как ни туг,
Перебьемся, перемучимся
И осилим наш недуг.

. . . .

Чтобы жертвой не напрасною
Были черные года, —
Чтоб взошло над Русью Красною
Солнце Правды и Труда.

«Беседа» напечатана в «Правде». Перепечатана в «Бедноте». Выпущена отдельным изданием издательством ВЦИК: чем больше читателей, тем больше веры, поддержки, хлеба. Поэтому тиражи демьяновских стихов за эти годы превышают общий тираж изданий всех других писателей.

Вот уже скоро год, как поэт беспрестанно на фронтах. А ему неймется побывать и в тылу: как работают? Что в провинции? И весной 1919 года Демьян едет в Тверскую губернию. Выбор не случайный. Еще в прошлом году молодой газетный работник Весьегонского уезда А. Тодорский написал маленькую книжечку «Год с винтовкой и плугом». Она была составлена по поручению уездного комитета партии как официальный отчет о деятельности Советской власти и напечатана маленьким тиражом на месте, в том «медвежьем углу», где

была написана. Но автор скоро получил теплое письмо от Демьяна Бедного, через которого эта скромная книжечка попала на стол и к Владимиру Ильичу. Уже будучи генерал-лейтенантом Советской Армии, А. Тодорский, вспоминая об этом, удостоверял, что поездка Демьяна в Тверскую губернию была предпринята с ведома и одобрения Ленина.

Это не единственный пример обмена информацией поэта с Лениным. Еще в Смольном Владимир Ильич отдал Демьяну полученное им из-за границы письмо от князя Волконского, на которое поэт ответил в печати. Позже на одном из заседаний IV конгресса Коминтерна, молодая приезжая журналистка Сенгалевич, встретив Ленина, попросила его прочесть ее стихи. Через несколько дней на дом к Сенгалевич явился Демьян Бедный, который получил стихи от Ильича. Другой автор послал Ленину пьесу «Красная правда» — отзыв писал Демьян.

Теперь разговор о книге «Год с винтовкой и плугом» привел Демьяна к поездке в Тверскую губернию. Расписание и здесь жесткое. Сперва Весьегонск. Оттуда в деревню Приворот. Потом в волостной центр, село Кесьма — там уже большая партийная организация: восемьдесят коммунистов! Из Кесьмы в Пашковскую коммуну, три дня в Телятинской волости. Дома, школы, собрания, конференции, и до трех ночи — записи впечатлений. Они публикуются в стихах и серией очерков, идущих в шести номерах июньской «Правды». Демьян пишет: «Не столица, а именно эти «места» создают непоколебимую уверенность в правильности основ нашего курса и прочности нашего положения, способного противостоять тягчайшим испытаниям. Мы не на уклоне, а на подъеме».

«Правда» печатает очерки, а автор уже далеко. «Разжигатель неуемный, я кочую по фронтам, мой вагон, дырявый, темный, нынче здесь, а завтра там...» Поэт столько раз застревал на станциях со своими «экстренными предписаниями», что товарищи сочли нужным предоставить ему вагон.

Вагон обычно прицепляют в конце состава. А тут, на буферах — самое завидное место для ребятишек, оставшихся без крова и родных. Иные «счастливчики» едут в ящиках под вагонами. На станциях или задержках — прямо в поле. Демьян часто спрыгивает на пути и идет знакомиться, извлекать малолетних пассажиров: «Куда? Зачем?» И — «Айда ко мне!». То один, то другой попадают в когда-то роскошный салон-вагон. Теперь здесь всю роскошь составляют несколько пачек книг да потрепанная пишущая машинка «Ундервуд», данная Демьяну как орудие производства. Она поражает воображение.

Харьков
11/X 20 Велосевки!
9/X
Вот тебе мой отчет.
3 — Смоленск, Орша
4 — Бахмач, Курск
5
6 — у Харькова
7 — Полтава, Кременчуг
8
9 — у Кременчуга
10 — Харьков.
Таким образом, я чуть-чуть не доехал до Елисаветграда. К [illegible] так и не попал. Он зовет меня, но меня из Харькова уже не отпускают. Довольно, дескать, [illegible]! О [illegible] расскажу.

Записка Д. Бедного жене.

Дядька тоже, оказывается, хороший. Видно, любит компанию. И табак у него есть. Закурив в свое удовольствие, каждый хлопчик некоторое время пытается держаться как самостоятельная личность. Рассуждает о свободе. Делится жизненным опытом. Не прочь повоевать. И приманка-то, на которую он идет, принимая предложение переместиться в вагон, часто заключается именно в этом.

Всерьез обсуждая с очередным гостем положение на фронтах, Демьян незаметно сбивает спесь с «самостоятельных, свободных» граждан. Первое их поражение выражается согласием взять мыло и встать под кран на очередной станции, где будет вода. За ним вскоре следует согласие взять записку и отправиться в тыл, где будут кормить и учить грамоте.

А пока Демьян Бедный катит с новыми попутчиками, промывая им головы и так и эдак, его любимый дед Софрон мирно продолжает беседовать на страницах «Бедноты». Он тут спокойно устроился в отделе «На завалинке» и бесхитростно обращается к читателям: «Вы, братцы, кой-чему поучитесь у деда, и многому я, чай, сам поучусь у вас...»

За каких-нибудь три месяца двенадцать таких бесед печатает Демьян в «Правде», в «Коммунаре». Не оставлена «Красная газета». И новая «Петроградская Правда» тоже выходит с Демьяном.

Где и когда он пишет все это? Не всегда, к сожалению, поэт ставит пометки: «Западный фронт», «Восточный фронт» или просто «Писано на фронте». Вообще он не оставляет никаких следов своей личной деятельности, кроме стихов.

От фронта империалистической войны сохранилась хоть пачка писем. На оригинале стихотворения «Черт-заимодавец» есть пометка: «19/11.15 г., 11 час. утра. В 20 шагах разорвалась бомба. Убит писарь. Вместо испуга я охвачен буйной радостью, как и все, кто со мною остался жив».

После более длительного и напряженного времени гражданской войны не осталось ничего. Ни одного письма, рассказа об опасности, которая грозила ему теперь не только в превратностях боевых условий. В империалистическую войну за ним по крайней мере не шла охота с вражеской стороны. А сейчас, пожалуй, не было генерала, который не объявил бы большой награды за поимку Демьяна Бедного. Один даже сообщил, что его «уже повесили». Но так как листовки продолжали сыпаться и делать свое дело, белогвардейское командование впредь до «поимки» начинает выпускать листовки поддельных «Демьянов».

— Я теперь вроде крупной коммерческой фирмы! — говорит поэт. — Надо писать читателям разъяснение: остерегайтесь подделок!, или: «Как отличить на фронтах подлинные листовки Демьяна Бедного от белогвардейских подделок под них». Сказано — сделано!

Вожу пером, ребятушки,
По белому листу.
С народом я беседовать
Привык начистоту.
За словом, сами знаете,
Не лезу я в карман,
Но не любил я от роду
Пускаться на обман...

Он говорит бойцам: «Читай меня, — суди. Любовь и злая ненависть сплелись в моей груди», — и объясняет, к кому и за что он питает любовь и ненависть. Он уверен в том, что солдаты разделят его чувства.

Поэт не шутит, когда пишет, что «меня б дворяне вздернули на первом же суку. Пока же на другой они пускаются прием: печатают стишоночки, набитые враньем».

...Но с подписью поддельною
Уйдешь недалеко.
Мои стихи иль барские, —
Узнать, друзья, легко:

Одной дороги с Лениным
Я с давних пор держусь...

Это же разъяснение Демьян использует для высказывания символа своей веры в целом: «В моем углу два образа: рабочий и мужик», а о себе самом добавляет:

Еще, друзья, приметою
Отмечен я одной:
Язык — мое оружие —
Он ваш язык родной.
Без вывертов, без хитростей,
Без вычурных прикрас
Всю правду-матку попросту
Он скажет в самый раз.
Из недр народных мой язык
И жизнь и мощь берет.
Такой язык не терпит лжи, —
Такой язык не врет.
. . . .

...Много говорить о себе незачем. Нужна только справка по делу. Это старая точка зрения Демьяна. Еще когда-то, после выхода первой книги басен, он отвечал на запрос критика из провинции относительно своей биографии тем, что послал фотокарточку из серии «30 коп. дюжина» и добавил: «Детина в шесть пудов весом. Крепкая, черная кость. Пускаться в дальнейшие автобиографические измышления я не охотник. При случае, ежели что, отчего не поговорить о былом. Но — при случае. Выйдет правдивее. А так вообще все автобиографии врут». Так он писал в 1913 году.

Теперь, когда за годы гражданской войны он вызвал к себе интерес миллионов читателей, в прежней точке зрения не изменилось ничего. Видимо, с неохотой Демьян набросал всего полторы странички на машинке: «Из автобиографии». Главная мысль здесь та, что рассказывать о своей жизни — «все равно, что давать комментарии к тому немалому количеству разнокачественных стихов, что мною написаны. То, что не связано непосредственно с моей агитационно-литературной работой, не имеет особого интереса и значения».

Отношение к собственному портрету ясно. То, что останется потомкам, может быть по «30 коп. дюжина». Но вот портреты врагов — дело интересное и нужное. Демьян чеканит один за другим. Собирательные. Строго индивидуальные, даже с родословной. С разоблачением подлинных имен и присвоением уничижительных прозвищ. С описанием повадок и точных биографических подробностей.

Поэт узнает, что подлинная фамилия генерала Шкуро про-

сто Шкура: «Пес поганый, волчья шкура... кто не шел, тех силой брал. Ай да Шкура, молодчина, расторопный генерал!»; подполковник Булак-Булахович переименован в Кулака-Кулаковича; Деникин — в «Денику-воина». Достается и Колчаку, но особое внимание уделяется серьезно угрожающему Питеру Юденичу.

Когда, повесившись,
Иуда
Ушел к чертям в кромешный ад,
То — плод Иудиного блуда —
По нем осталось много чад.

Глаза ученейшего люда
Искали долго и нашли
В писаньях древних, что отсюда
Все Иудеинчи пошли...

Так Демьян представляет и встречает этого генерала. «Провожает», когда настанет пора, тоже внимательно. Уж он не пропустит сообщений, что после вторичного провала Юденич арестован при попытке к бегству с остатками... денежных средств своей армии.

Юденич! Господи, каким был генералом!
Вояка, шут его дери:
Брал Питер, лез в цари...

И, оказавшись вором, был арестован прокурором.
Выходит так, что брал наш Красный Петроград
Не генерал, а конокрад.

Но «проводить» Юденича нелегко! Сперва еще следовало расколотить его. Демьян вернулся из Питера осенью девятнадцатого года серьезно обеспокоенный:

Уж на что я шутник, но и мне не до шуток.
Жутко в Питере. Воздух в нем кажется жуток.
Напряженность глухая на каждом шагу:
Всем нутром своим чувствуешь близость к врагу.
. . . .
Враг могучие когти свои показал.
Маски сброшены. Время сурово.
Красный Питер, он первое слово сказал,
Он не скажет последнее грозное слово.

Встревоженный Демьян отказывается шутить. Само пребывание в осажденном городе, в пригородах, где он в тесном контакте с бойцами ищет средства им помочь, настраивает на серьезный лад. Положение осложнено тем, что под Питером впервые появилось новое, никогда русскими не виданное ору-

жие: танки. Даже слово это непривычно русскому уху. Демьян уловил, что бойцы произносят его по-своему: между двумя согласными мягкий знак. В конце привычная буква «а». Выходит — «танька». Но не все ли равно, как называется внушающая ужас машина? Не пустяки ли это? Нет...

Стоп! Это — ключ! Найдено средство избавить бойца от страха. В редакции под Лиговом бухают пушки Юденича, когда там записывают переданное по телефону... оружие.

«Ванька, глянь-ка: танька, танька!..»
«Не уйдет от нас, небось!»
Как пальнет по таньке Ванька, —
Танька, глядь, колеса врозь!

Эти стихи потом послужат примером Маяковскому, когда он будет делать доклад о том, как писать стихи. «Танки наводили ужас. Наши красноармейцы боялись их как черта, — скажет Маяковский. — Но достаточно было Демьяну обозвать в своем стихотворении танк «Танькой», как сразу пропал весь страх перед этим чудовищем. «Танька» — это понятно, это не страшно, и наши красноармейцы научились брать эти «Таньки» чуть ли не голыми руками».

Именно этим примером Маяковский иллюстрировал свое утверждение той истины, «какую силу представляет собой поэзия, стихи...».

...А наступления идут волна за волной. И в каждом новом случае нужно новое оружие. Поэт кочует по частям. Что нужно сделать? Чем могу помочь? Куда поехать?

Точные обстоятельства таких Демьяновых набегов в части известны только благодаря его друзьям. Буденный рассказал, что познакомился с поэтом на IX съезде партии в апреле двадцатого года.

В дни работы съездов партии и Советов Демьян должен быть в Москве. Весь внимание во время выступлений. Весь внимание во время перерывов, когда можно порасспросить делегатов. Так он познакомился еще в девятнадцатом году, на VIII съезде партии, среди прочих с украинским делегатом Панфиловым, а после — хорошо выступал, старик! — подвел его к Владимиру Ильичу для продления разговора. Тогда-то они и снялись втроем — на память Панфилову.

А в апреле двадцатого года, на IX съезде, Владимир Ильич познакомил поэта с Буденным. Оба обрадовались. Демьян давно собирался попасть в Первую Конную, а ее командующий много слышал о поэте. И не только слышал. С его помощью бил генерала Шкуру.

Познакомившись, сразу сошлись на дружескую ногу. Буденный пришел в гости вместе с Калининым, Дзержинским и Ворошиловым.

Но вот Буденный меняется с поэтом ролями. Теперь Демьян в гостях у командующего, и об этой встрече рассказывает уже Буденный:

«В июле 1920 года Первая Конная вела тяжелые бои за Ровно. Город дважды переходил из рук в руки. Не знаю, как Демьян Бедный оказался на станции Здолбуново, откуда добрался до нашей 11-й кавалерийской дивизии. Поздно вечером он на тачанке приехал в только что освобожденный город Ровно. Шел проливной дождь, грохотали грозовые разряды. Весь промокший, Демьян ввалился в занятую мною комнату гостиницы «Версаль».

— Какой дьявол носит тебя ночью по такой погоде? К тому же кругом враг! — начал я его отчитывать...

— Я и так Бедный, а ты еще ругаешь... — хитро улыбался мой ночной гость.

Рано утром ему нужно было ехать по заданию в соседнюю с нами армию, и он допоздна «терзал» меня расспросами, сам рассказывал о новостях...»

Демьяну нужно во все «соседние» армии. И он нужен во всех соседних и не соседних.

Дело идет к осени. На Южном фронте политработники вздыхают: «Эх, кабы нам сюда Демьяна Бедного!..» Впереди битва с Врангелем. Фрунзе каждый день в частях, требует от политработников «зажигательного» материала. Листовок. Прокламаций. Врангель этим не пренебрег: засыпает своими призывами. И Фрунзе, проверяя боевую подготовку и политическую работу, повторяет: «Готовьтесь! Сила большая. Отпор надо дать перед боем. Отвечайте на бароновы листовки. Надо проникнуть в его тылы. Действуйте, пишите!»

Газетные фельетонисты Южного фронта, конечно, пишут, но... приезд Демьяна был бы в самый раз. А он тут как тут!

Поговорил в политотделе:

— Каково положение? Что пишут бароновы борзописцы? Покажите! Что больше всего интересует вас самих? Так, так, понимаю. А где сейчас наш командующий? Хорошо.

Вскочил в политотдельскую пролетку и умчался на станцию, к поезду Фрунзе.

Политотдельцы Южного фронта рассказывают, что знаменитый «Манифест барона фон-Врангеля» был написан единым духом в вагоне Фрунзе.

«Всегда серьезный, сосредоточенный, с виду даже несколько хмурый... Фрунзе буквально заливался хохотом, слушая «Манифест». На вопросы о тираже он отвечал:

— Печатайте хоть миллионы! Чем больше, тем лучше!»

И по всему Крымскому побережью полетели листки, украшенные сверху двуглавым орлом, потому что манифест-то от имени Врангеля, утверждающего: «Я самый лючший, самый шестный есть кандидат на царский трон...»

А внизу скромное заверение, что «баронскую штучку списал и опубликовал Демьян Бедный».

Хитро сплел он русский язык с немецким: «Ихь фанге ан. Я нашинаю»:

«Послюшай, красные зольдатен:
Зашем ви бьетесь на меня?
Правительств мой — все демократен,
А не какой-нибудь звиня.
. . . .
Шлехьт! Не карош порядки новий!
Вас Ленин ошень обмануль!

Ви должен верить мне, барону.
Мой слово — твердый есть скала.
Мейн копф ждет царскую корону,
Двуглавый адлер — мой орла.
. . . .
И я скажу всему канальству:
«Мейн фольк, не надо грабежи!
Слюжите старому начальству,
Вложите в ножницы ножи!»
. . . .

Фрунзе на вопросы о том, когда начнется наступление, отвечал:

— Скоро. «Я нашинаю» в самые ближайшие дни.

Когда же от Врангеля потекли перебежчики, на обычный вопрос: «Почему сдался?» — вытаскивали листовку:

— А вот, по «Манифесту»... Ведь это что же? Тут правда написана о том, что нас ждет: «Ви будет жить благополучно и целовать мне сапога!»

Все разобрали, что по-русски, что по-немецки. С тем и сдавались.

Фрунзе утверждал, что листовка серьезно помогла в разгроме Врангеля. А Демьян уже догоняет сражающуюся с тем же Врангелем армию Юго-Западного фронта и приходит в отчаяние:

Где же «Конная Вторая»?
Впереди, да впереди!

«Мне ее, — вздыхал вчера я, —
Не догнать, того гляди!»

Трух да трух моя кобыла.
Кляча, дуй ее горой!
Доскакал я все ж до тыла
«Конной Армии Второй».
. . . .

...Брички, пролетки, верхом, пешком — все средства хороши и... плохи; был случай — на машине. Заблудились в степях Северного Кавказа. Густая трава. Ни огонька, ни дороги. Но никогда не теряющемуся Демьяну не придет в голову говорить в стихах об опасности, превратностях не только дороги — даже боя, потому что это не страшно. Не вызывает тяжелых дум. Тяжелые думы приходят не в опасные минуты. Но приходят. И один только раз он позволил себе рассказать о душевной тревоге в лирическом стихотворении «Печаль». Написано в пути на польский фронт:

Дрожит вагон. Стучат колеса.
Мелькают серые столбы.
Вагон, сожженный у откоса,
Один, другой... следы борьбы.
Остановились. Полустанок.
Какой? Не все ли мне равно.
На двух оборванных цыганок
Гляжу сквозь мокрое окно.
Одна — вот эта, что моложе, —
Так хороша, в глазах — огонь.
Красноармеец — рваный тоже —
Пред нею вытянул ладонь.
Гадалки речь вперед знакома:
Письмо, известье, дальний путь...
А парень грустен. Где-то дома
Остался, верно, кто-нибудь.

Колеса снова застучали.
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делить ни с кем я не хочу.
К чему? Я сросся с бодрой маской.
И прав, кто скажет мне в укор,
Что я сплошною красной краской
Пишу и небо и забор.
. . . .

Не избалован я судьбою —
Жизнь жестоко меня трясла.
Все ж не умножил я собою
Печальных нытиков числа.
Но — полустанок захолустный...

Гадалки эти... Ложь и тьма...
Красноармеец этот грустный
Все у меня нейдет с ума!
Дождем осенним плачут окна.
Дрожит расхлябанный вагон.
Свинцово-серых туч волокна
Застлали серый небосклон.
Сквозь тучи солнце светит скудно.
Уходит лес в глухую даль.
И так на этот раз мне трудно
Укрыть от всех мою печаль!

Много критиков запомнят слова о сплошной красной краске. Но редко кто обратится к существу этих стихов, в которых поэт в кои-то веки раскрыл чисто лирическую сторону своего таланта.

Верно, что он сросся с маской бодрой. И давно. До победы революции. Ведь еще в 1913 году он писал: «Измытарился я и устал. Но никто этой усталости не заметит. Надо быть бодрым». Теперь это Демьяну несравненно легче. Слова об усталости, вдруг иногда все же являющиеся, звучат совсем иначе. В стихотворении «Товарищу» такие строки:

Морщины новые на лбу —
Тяжелой жизни нашей вехи.
Товарищ, кончим ли борьбу?
Товарищ, сложим ли доспехи?
. . . .

Товарищ, знаю, ты устал.
И я устал. Мы все устали.

Я — не герой. Но ты — герой.
И крепок я — твоею силой.

О, как мне хочется порой
Прийти к тебе, товарищ милый!
. . . .
Мы будем биться. И следить
Я за тобою буду взглядом.
С тобой я должен победить
Иль умереть с тобою рядом!

К кому обращался поэт? Скорее всего образ товарища собирательный. Однако видно, что речь идет не о рядовом соратнике. Быть может, поэт имел в виду Свердлова? Он еще работал... Неожиданная смерть унесла его весной 1919 года. Потери настигали не только на фронте.

Но как бы ни были жестоки потери, Демьян не позволял себе оплакивать их вслух.

Теперь конец войны близился. В октябре 1920 года подписала мир панская Польша. После разгрома Врангеля Россия освободилась от гражданской войны и интервенции.

...Весело возвращается в Москву Демьян Бедный. Весело встречает новый, 1921 год:

. . . .
Мы — в новой, мирной полосе...
. . . .
О чем не смели раньше мыслить,
То вдруг вошло в программу дня.
Приятно всем. И мне приятно,
А потому весьма понятно,
Что я, прочистив хриплый бас,
Готовлюсь к выезду в Донбасс...

Отвоевались. А Демьян Бедный отправляется на... новые фронты! Никем никуда не назначенный, он должен теперь сражаться с ушедшей в подполье контрреволюцией, давшей себя знать кронштадтским мятежом; с голодом, охватившим пострадавшее от засухи Поволжье; с обывательщиной, приспособленчеством, религиозным дурманом, с Лигой наций, наконец! Нет, его фронт кончится еще не скоро.

Глава III

СТРЕЛКА ИСТОРИЧЕСКИХ ЧАСОВ

Едва только Демьян спустится по Троицкому мосту и выйдет из Кремля — до мужика любой губернии рукой подать. Напротив Кутафьей башни — приемная «всероссийского старосты» Калинина. Сюда стекаются ходоки «всей Расеи»; чуть дальше, к Арбату, на Воздвиженке, — редакция «Бедноты». Тут народу не так много, но зато писем — тьма. И люди и письма показывают Демьяну, что мужик в общем доволен: еще бы! После X съезда партии продразверстка заменена продналогом. Положение крестьян облегчено вдвое. Но введение новой экономической политики потянуло за собой новую борьбу, новые вопросы. Но страна утопает в нищете, а газеты выходят с постоянными разделами: «На бескровном фронте». Нет, хотя гражданская война окончена — фронт еще не позади... Единственное, что теперь может урвать Демьян от боевого расписания дня, чем может потешиться в досужий час, — порыться в книгах. Как раз на пути от Михаила Ивановича в «Бедноту» есть хорошая книжная лавка. Удачи ждут не так

уж часто. Отбор строг, да и библиотека становится все лучше. В этом деле, как в рыбной ловле: нужно терпение и терпение. Ничего, если находок нет. Зайду завтра! И он двигается дальше.

...До чего же все-таки стар и грязен этот город! Центр — в булыжных мостовых с бесчисленными колдобинами. Извозчики трясутся, колесят, как бог на душу положит, бранясь друг с другом и с прохожими. Автомобилей так мало, что появление их — едва ли не событие. Оживление создают разве только трамваи, да и тех немного; пройдет время — Демьян, активный депутат Московского Совета, подсчитает, сколько прибавилось. Поздравит москвичей с тем, что давка заметно уменьшилась.

...Переполненные вагоны скрежещут тормозами, спускаясь вниз, к Большому театру с Лубянки и Охотному ряду с Тверской, со всех прочих московских холмов и пригорков.

Оглушительно тренькают звонки, сигналя прохожим, снующим вдоль и поперек рельсов. Мальчишки едут, прицепившись к подножкам и буферам, на так называемой «колбасе» — свернутом калачиком рукаве-шланге. Тьма беспризорных. Монахов и монашек. Торговцев вразнос пирожками, открытками, папиросами, семечками, яблоками, ирисками, всякой кустарной мелочью — «чертиками», мячиками, прыгающими на резинках, пятновыводителями, наконец, и книгами. И все кричат: «А вот кому!», «Папиросы «Ира», остались от старого мира!», «Обезьяна Фока танцует без отдыха и срока!», «Что делает жена, когда мужа нема?», «Знаменитый перевод с французского! Давай налетай!», «А кому переводные картинки?»

И все это шумит не где-нибудь на задворках — в самом центре, у самых парадных зданий. Просят нищие в лаптях и сермягах; «благородные» дамы, мужчины; «Офицерик, простясь с эполетами, на углу торгует газетами...» — заметит Демьян, как он примечает все. Еще в кипении гражданской войны уловил взволнованные слухи у Иверской часовни насчет «ликвидации» иконы и спокойно сказал тем, кто «будоражит злые толки»: «Спор вести с детьми за соску взрослым людям не с руки. Измолитесь вы хоть в доску, чудаки!»

Демьян — непримиримый враг религии, но как не понять, что нужно время и осторожность? Нетерпимость тут ничего не сделает. Обличительная агитация — другой разговор.

Особенно много терпения надо Демьяну, чтобы пройти Охотным рядом, где расцвела пышным цветом частная торговля. Горюют поэты, писатели, «контуженные» уступкой частному капиталу. Им «горько... рабочие песни забыть»; им ка-

жется, что «будто не было весны»; даже хорошие поэты горестно восклицают:

Как я стану твоим поэтом,
Коммунизма племя,
Если крашено рыжим цветом,
А не красным, время?

Но Ильич сказал Демьяну: «Не хнычьте! Предоставьте это... поэтам!» — и поэт оценил, что Ленин в данном случае обратился к нему как к большевику. А большевики должны учиться торговать. Что ж, тоже фронт. И эта тема прочно входит в обойму Демьяна. Он досконально будет выяснять, что творится «за советским прилавком»; разговор, конечно, станет достоянием читателей:

Покупатель.
Нет ли у вас американских булавок?
Приказчик.
Идите, гражданин, назад. Мы не выдаем никаких справок.
Покупатель.
Нечего сказать, встречаете любезно.
Приказчик.
Так приказал Совнархоз. И спорить бесполезно.
Покупатель.
Вот так штука!.. Пойти мне куда б?..
Приказчик.
Идите в Губснаб,
Из Губснаба в Губотсрочку,
Из Губотсрочки в Губпроволочку,
Из Губпроволочки в Губсаботаж...

С досадой расскажет Демьян эту «сказку про белого бычка», — потому что, разумеется, хождения в «Главитог» и «Главстатистику» приведут на тот же склад, и весь разговор начнется снова.

Тем более досадно видеть быстро разъевшихся частников Охотного ряда, идти мимо с думой: «...До скольких, однако же, пудов рекомендуется растить скотину эту?» Глаза бы не глядели!.. В стране голодно. Не так легко справиться с последствиями засушливого года, когда Демьян писал: «...Поволжье выжжено. Но есть места иные, где не погиб крестьянский труд, где, верю, для волжан собратья их родные долг братский выполнят и хлеб им соберут...» А тут, в Охотном, — изобилие.

Но здесь враги. Удушат за копейку. Недавно еще Демьян



Иллюстрация к басне «Нет уверенности».

Художники Кукрыниксы.

радовался: «...куда девалися трактирщики былые, охотнорядцы, мясники?..» И вот они здесь!

Однако пройти Охотным надо. Ряд лавчонок замыкает здание, что стоит напротив Дома союзов. Здесь «Рабочая газета». А «Рабочая газета» — это все тот же дядя Костя. Еремеев — ее организатор и редактор, да еще окруженный не «племянниками», а родными детьми — приложениями к газете. Журналы «Крокодил», «Экран», «Хочу все знать», «Юные строители», «Мурзилка»... Кому ведомо, что̀ дядя Костя еще «народит»? Вот новая идея — на плоской крыше дома поставлен экран, и демонстрируется световая газета, даже фильмы. Показ иных выпусков вызывал такое столпотворение между редакцией и Домом союзов, что останавливались трамваи, да и все уличное движение было парализовано. Пришлось перенести дело в рабочие районы.

Сейчас Демьян заходит к старому другу по делу. Еремеев собирает к изданию первый том избранных сочинений Демьяна. Иллюстрации галантливейшего молодого художника Константина Ротова. А предисловие дядя Костя пишет сам. «Крокодильцы» посмеиваются, что их невозмутимый редактор просто влюблен в Демьяна. Демьян неопределенно похмыкивает,

обнаружив, что предисловие начинается с провинциальной тросточки и вопроса к городовому: можно ли ходить с ней? Вспомнил старое! Но здесь же приведены стихи «Пугало», уже украсившие пьедестал памятника Александру III. Дядя Костя не может не улыбнуться: расправился с тремя царями в четырех строчках! Демьян очень ценит редкую в устах друга похвалу, так как знает, что дядя Костя и сам писал когда-то, да весьма гораздо; только это известно немногим.

В редакции дядя Костя окружен отличным, веселым народом. Радостно видеть, как все тут любят его. Здесь молодой поэт Лебедев-Кумач, остроумный пародист Александр Архангельский. Художники тоже не отстают от профессиональных «темачей», вроде Глушкова; он под именем Изнуренкова описан Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях». Тут Моор, Черемных, тот же Ротов, Ганф, Борис Ефимов — и все хороши, зубасты, умеют воткнуть «Вилы в бок» — так называется отдел, введенный дядей Костей, в котором «поддевается» на вилы все, что так ненавидит и Демьян. Сам он не оставил стихов на память об этой первой поре жизни сатирического журнала. Их после написал Лебедев-Кумач:

. . . .

Наш крокодильский адмирал,
Душистый дым вокруг развеяв,
Упорно кадры подбирал
Добрейший «батько» Еремеев.

Малютин, Черемных, Моор
Спаялись кровно с «Крокодилом»,
И рос худкор, и рос крокор,
И рос тираж, и крепли силы.

Пришли Неверов и Кольцов,
Пришли Демьян и Маяковский,
И «Крокодил» в конце концов
Стал «главсатирою» московской.

Повидавшись со старым другом, посмеявшись с молодыми «крокодильцами», Демьян продолжает маршрут. Маршрут велик, но торопиться нечего. Все интересно! Вот толпа. В чем дело? А, знакомая картина. Заело мотор у какого-нибудь дряхлого автоинвалида. Самая разношерстная публика оживляется при любом уличном происшествии. Дружно кричат «Держи вора!» вслед улепетывающему беспризорнику. Злорадствуют над «засевшим» средь улицы шофером. А он краснеет за себя, за машину, за молодую Советскую власть, поминае-



Дружеский шарж на К. С. Еремеева.

мую между делом различными представителями старого мира.

Среди представителей молодого поколения, к которому принадлежит шофер, удальцом ездит по городу другой шофер: будущий покоритель Северного полюса Водопьянов, работающий по ранней страсти к авиации в учреждении с удивительным названием — «Промвоздух». И бегут по всем улицам, едут в переполненных трамваях сотни и тысячи будущих героев, ученых, красных директоров, художников, народных артистов — еще совсем зеленых, иногда полуграмотных, почти всегда плохо одетых. Иные даже босиком. У самого «ответственного» из них разве что есть парусиновый портфель. Никого из этой торопящейся толпы Демьян не знает, но, постреливая зорким взглядом, угадывает рабфаковца, комсомолку, все те же «простые лица, что смотрят честно»... И они радуют его.

Стоп, новое сборище на Неглинной! Это еще что такое? У самого Театрального отдела Наркомпроса. Что приключилось в ведомстве Анатолия Васильевича Луначарского?

Спрятав мундштук в карман, тихонько поводя мощными плечами, Демьян начинает проникать в толпу. Получает легкие тумаки, шутя отвечает на сердитые реплики. В фарватере за ним пристроился и ввинчивается в толпу юркий беспризорник.

Дело выясняется. Луначарский тут ни при чем. Уличное движение нарушено кончиной одной лошадиной силы. Долго ли, коротко ли, осведомленный обо всем, Демьян отчаливает вместе с прицепившимся чумазым мальчонкой. Хлопчику нравится дяденька в кожаной куртке: не иначе как комиссар!

Беседуя с ним, беспризорник попадает сперва в какое-то учреждение. Важный дяденька говорит в его сторону: «Это со

мной!» Теперь уже известно, что дяденьку зовут Ефим Алексеевич. Потом они заходят в книжный магазин. Здесь Ефим Алексеевич показывает много диковинного. Особенно хороши книжки с картинками. Грамоты паренек не знает.

Наконец шустрый малый попадает в Кремль («Это со мной!»).

Царь-колокол и Царь-пушка производят большое впечатление. Но еще большее — та «Царь-яичница», которую ему делает Ефим Алексеевич — тоже к собственному удовольствию. Он говорит, что замечательно хорошо умеет приготовлять это блюдо. Кроме него, накормить гостя некому. Семья на даче. Демьян вручает парнишке мочалку и мыло, а сам копается в детских вещах: во что бы его переодеть? Сыну-первенцу — два года. Младшему — один. Среди дочек есть и ровесница, но платья не годятся. Вот разве кофточки?

Мальчик уже сравнительно чист, когда приходит курьер с пакетом для товарища Демьяна Бедного. Как же гостю Ефима Алексеевича упустить случай глянуть на него?

— Ефим Алексеевич! Демьян Бедный тоже тут живет? Близко?

Отношения выясняются, и гость уезжает в колонию под страшной угрозой в случае побега потерять дружбу Демьяна Бедного навеки. Еще условие: научиться грамоте и сложить толковое письмо.

— Если пригласишь в гости и напишешь без ошибок, обязательно приеду. И книжки привезу.

Немало таких ребят попадало в детские колонии с легкой руки Демьяна. Они держали слово. Не бегали. И он держал. Проведывал. Отвечал на письма. Привозил книги.

Однажды подарил ребятам книжки своей фронтовой библиотечки и сразу же получил письмо: в книге нашли расческу. Что с ней делать?

Вот его ответ:

Уж голова моя седа,
Уже на жизнь гляжу я строже.
Но, дети, был я молод тоже
И в те счастливые года
Носил прическу — хоть куда!

Лишился я былого лоска:
Мне плешь кусают комары.
Но от счастливой той поры
Осталась праздная расческа.
Расческу старую мою
Вам, боевым, звонкоголосым,
Вам, молодым, густоволосым,

Любовно я передаю.

. . . .

Ужель когда-нибудь я сам,
Ребятки, стае вашей дружной
Расческой сделаюсь ненужной!

Много таких посланий затерялось. Они были набросаны между делом и предназначены только адресатам. К настоящей работе относилось другое, как всегда смешное и серьезное. Те люди, которые стояли в толпе на Неглинной, скоро прочли «Историю, на истинном происшествии основанную». О том, как «тощая кобыла былую прыть давным-давно забыла. Шажком кой-как плелась она. И, наконец, утомлена поездкою — не так уж длинной — свалилась на Неглинной...»

Мир праху твоему,
Ненужная уж больше никому.
Ненужная? Не тут-то было!
Какой тут к черту прах и мир!
За клячу дохлую вступили в спор —
Главжир,
Центроутиль, Главкость, Главшерсть,
Главмыло...
Сначала Главков пять иль шесть,
А после — трудно перечесть.

. . . .

Что заварилось, правый боже!
Кобыла дохлая лежит на мостовой...
Никто, никто о ней не думал, о живой,
А дохлая — она для всех дороже!

. . . .

Не в этом суть, а в том, что дохлая
кобыла —
Искали — не нашли! — пропала без следа.

. . . .

Но Главки злой враждой пылают, как
пылали.
Не о кобыле спор, о той, которой нет,
А спор идет о том: кобыла-то была ли?

*

Вот узел. Разрубить его каким мечом?
Рубите, кто горазд. А я здесь ни при чем!

В последних строках Демьян явно покривил душой. Он «при чем» всюду и везде. И всюду и везде есть для него материал.

Каждый встречный — его желанный собеседник. Незначительных, неинтересных людей для него нет. Темы? Огородничество, дороговизна на рынке, рыбная ловля, политика, болезни, настроения молодежи. Этот перечень не исчерпывается ника-

ким списком. То, что другим видится всего лишь как толпа, для него всегда означает возможность живых, пусть быстротечных, контактов с людьми. Он дышит говором толпы, слышит в ней голос самой жизни. Не зря он называет себя «уличным поэтом». Особым своим нюхом он распознает общее настроение, улавливает мысль всякого случайного собеседника: «Прислушиваюсь, приглядываюсь. Где — спрошу, где — сам догадываюсь».

Конечно, прежде всего он и спросит и будет догадываться на собрании, к чему эти строки и относятся. Но точно таков он и на скамейке бульвара. У табачного или газетного киоска. Возле чистильщика сапог. Около кремлевской будки пропусков. В очереди к магазину или пригородной кассе. В дачном вагоне: в 1922 году Моссовет предоставил ему чью-то заброшенную дачу.

Многие случайные попутчики, через день-другой разворачивая газету, вспоминают своего собеседника:

— «Сократят воровство?»
— «Едва ли.
Раньше тож спуску не давали
Казенному товару:
Тащи из казны, что с пожару!»
— «Вон в ГУМе как тащили — беда!»
— «И дотащились до суда!»
. . . .

Десятки минутных зарисовок заставят узнать читателей в своем вчерашнем соседе поэта, вспомнить его хитрые глаза, услышать рокочущий басок... И верно, ведь народу в вагоне было «как сельдей в бочке. Дух — на высшей точке», а разговор шел «политический, экономический, бытовой, пустой и деловой»...

Только это все еще не работа. Работа определяется событиями дня, требованиями «Правды» или «Бедноты». С некоторых пор Демьян начал еще и регулярно заниматься международными делами. Строчит «ноты» иностранным министрам, толкует читателю, куда эти министры клонят.

Первую пробу пера на эту тему он сделал во время гражданской войны, когда Советам пришло приглашение участвовать в конференции на Принцевых островах наряду с белогвардейскими «правительствами». Тогда Демьян сделал вид, что уж «собрался», да Свердлов отговорил: «Пойми, — говорит, — голова, что это — ловушка, а не острова...», «Да и дипломат ты — ни в зуб ногой. Если и поедет, то кто-нибудь другой».

Обложка книги. Художник Бор. Ефимов.



Так-то оно так. Демьян и сам признается, какова его дипломатическая школа, в стихотворении «Марка»:

Сидит, бывало, мой дед на завалинке, —
Одна нога в лапте, другая — в валенке,
В зубах давно потухший окурок, —
Бубнит дед про турок...
. . . .
Тут как запустит дед ноту трехэтажную...
Вот какую школу прошел я важную,
К дипломатии склонность восприял наследственно
От моего деда непосредственно.

Эта школа чувствуется в озорно-«почтительном» тоне, которым поэт обращается к английскому премьеру: «Одначе, сколь вы не испытываете мое терпение, тем не менее я вас с супругой и приплодом поздравляю с Новым годом».

А кроме шуток, Демьян следит весьма внимательно за тем, что творится вне пределов родной страны, ибо: «В жаркой битве, в стычке мелкой, средь строительных лесов, жадно мы

следим за стрелкой исторических весов». «Стрелка» дрогнула давно, еще в сентябре девятнадцатого года. Демьян тут же откликнулся: «Клемансо забил тревогу, от Ллойд-Джорджа письмецо: «А у Ленина, ей-богу, очень милое лицо!..» Это были еще первые приметы намечающихся перемен.

Но когда окончательно провалились все попытки интервенции, вопрос перед иностранными державами встал ребром: как быть, прекратив военные действия против Советской России? На каких основах строить отношения? Игнорировать? А быть может, торговать? Допустить ли большевиков к участию в международных конференциях? Принять ли их представителей в Лигу наций?

Первой пойти навстречу Советам отважилась Англия, и Демьян почтил за это своим постоянным вниманием ее премьера, Ллойд-Джорджа, которого Ленин считал наиболее ловким из деятелей того времени. Премьер даже вошел в конфликт со своими: министр иностранных дел лорд Керзон отказался принять приехавшего в Лондон советского представителя Красина; Ллойд-Джордж был вынужден пригласить его к себе. На этом приеме Керзон демонстративно не подал руки большевику, и премьер раздраженно крикнул: «Керзон, будьте джентльменом!..»

В «высших кругах» общества всего мира тогда охотно подхватили версию белой эмиграции о вандализме большевиков: это едва ли не людоеды! Но Ллойд-Джордж призвал Керзона к исполнению долга вежливости не потому, что был лучше воспитан или лучше относился к большевикам. Его поведение объяснялось таким пониманием вещей: «Если, прежде чем пожать руки правительств на севере, юге, востоке или западе, мы будем внимательно рассматривать, насколько чисты их руки, то, я думаю, едва ли много сделок было бы заключено на земле». Демьян Бедный, разумеется, прокомментировал это высказывание, не упустил и других признаний английского премьера, понявшего, что «война против большевиков... вызвала бы среди организованных рабочих волнение, которое трудно даже вообразить». Но Ллойд-Джордж не терял надежды задушить Россию новыми — экономическими мерами, не говоря о том, что торговля с Россией была необходима для восстановления собственного хозяйства. А Демьян мотает все на ус и растолковывает читателю. Европа вырабатывает устав Лиги наций? «Карты ясны! Мировой Торговый Дом. Пять работников согласны честно жить... чужим трудом!»

Подписан, наконец, англо-советский торговый договор. Италия последовала примеру Лондона, а Франция все воздержи-

Рисунок Бор. Ефимова.



вается? «Сеньер и сэр, а где ж «моншер»?» — только и спросит Демьян Бедный.

В ноябре 1921 года в связи с вашингтонской конференцией по разоружению Демьян нарисовал портреты всех «адовых друзей» — Ллойд-Джорджа, Хьюза и Бриана. «В аду пошел тревожный гул... Что там творится в Вашингтоне? Кто Хьюз? Святой или дурак?..» Впрямь «на земле для новых драк вооружаться перестанут? Иль блеск «гуманнейших» идей там служит только для парада?..» А в декабре завязал переписку всерьез: «Мистеру Ллойд-Джорджу. Совершенно приватно», а затем и «Доверительно»:

Так вы, мистер, настроены вполне примирительно?
Справлялись вы у мусью Бриана,
Какого он мнения насчет мусью Демьяна?
Решил признать нас окончательно?
Прямо замечательно!
Может, еще кто-нибудь
Хочет стать на этот путь?

...И в самом деле, доверительно поэт предупреждает: «Когда пойдут наши совместные заседания об условиях «признания», — имейте, мол, в виду, что... «в Советской Руси перевелись караси, водившиеся на святой Руси ране, которые, дескать, любили, чтоб их жарили в сметане».

В 1922 году число «срочных», «приватных» и прочих посланий за границу заметно умножилось. Со страниц газет

всего мира не сходит слово «Генуя». В апреле этот итальянский город впервые примет на международной конференции делегацию большевиков. И Демьяна очень забавляет точка зрения иностранных дипломатов, их страх перед неведомыми «русскими медведями», как они полагают, — безграмотными и грязными посланцами Советов.

Демьян все помнит, ему приятно посмеяться над тем, какие «открытия» ждут того, кто впервые увидит «страшных» большевиков; он знает, как будут поражены за границей, услышав советского наркоминдела Чичерина, который, выступая по-русски, легко тут же переведет свою речь на французский. Что касается Красина... то ведь это «подлинный джентльмен, чуть ли не со свидетельством из Оксфорда, и у него лицо, а не морда». И Демьян еще добавит: «Мистер, бойтесь этого как огня: чтоб вместо Красина не назначили... меня».

А если говорить серьезно, то провозглашенная Чичериным программа Советского правительства предельно и давно ясна, и Демьяном давно сказано:

Дескать, мы — успех заметный! —
Держим курс междупланетный
И сильны союзом тесным
С пролетарием небесным, —
Но пока там суд да дело,
Пусть нам сферы верят смело:
В силу разных ситуаций,
Мы не тронем сферных наций
И по собственной охоте
Всем пошлем по мирной ноте.

Что же касается требования уплаты царских долгов, то как тут снова не посмеяться? Поэт ценит вежливость; он так и знал, что Чичерину скажут, что у него «не глаза — прямо василечки!.. Ах, подпишите эти векселечки!», и объяснит своему читателю в газете «Беднота», чего же в конце концов добиваются в дипломатических сферах:

...Уж баре не кричат: «В России коммунизм
Весь, мол, хозяйственный разрушил механизм!»
У них самих теперь хоть нет Советской власти,
А в механизме все расхлябалися части.
И, нынче нас к себе чуть не силком таща,
   Они нам в Генуе поют (пока!) умильно:
«Как, дескать, вы и мы поизносились сильно,
   Давай чиниться сообща!»
Мы что же? Мы не прочь. Мы, скажем, не перечим,
Европа, истинно: испорчен весь фасад.
Но... царские долги платить нам все же нечем.
Начнете требовать, так мы — айда назад!
Опять же, ваши все припомнивши попытки —

Обложка книги.



Четыре года лезть на красный наш рожон,
Еще мы спросим вас: КОМУ и КТО ДОЛЖОН?
Мы вашим ласковым речам не очень верим.
Но — поторгуемся: не купим, так примерим, —
Не сбудем вам своих товарных образцов,
Так хоть пощупаем как следует купцов,
Чтоб, в случае вторичной встречи,
Знать, с кем вести какие речи!

Возобновленная в Нижнем Новгороде ярмарка доставит эту возможность потолкаться среди тех, кто умеет торговать, даст образец, как вести беседу с лордом по-купцовски. Впрочем, поэт по-прежнему «сочувствует» английскому премьеру. Тот занемог. «Догенуэзился!» — пишет Демьян, рассказывая читателю, что больному в бреду видится... «Будто его... переехала русская нефтяная цистерна, вся обклеенная плакатами Коминтерна!»

А помимо шуток:

...Скажу лишь то, что непреложно:
Мы уступаем, сколько можно,
Но если нас биржевики
Начнут пугать — серьезно? ложно? —
Мы твердо скажем: «Осторожно!
За этой линией — штыки!!»

И еще одну информационно-разъяснительную работу всегда ведет Демьян: пользуется любым случаем, чтобы дать понять, как воспринимает тот или иной факт Ленин.

Никто из поэтов не писал так много и так просто о Ленине при его жизни. У Демьяна есть целый стихотворный отчет об одном из съездов Советов, написанный от лица крестьянского делегата — деда Софрона. Дед обстоятельно рассказывает, как он уселся рядом с Лениным, как чувствовал себя на съезде, о чем шла речь; и, наконец, в этом отчете поэт разрешил себе, надев маску деда, сказать:

Ильич начал докладывать съезду отчет
О работе Советской власти,
Разбив отчет на две части:
Про внешнее и внутреннее положение
(В газете прочли вы подробное изложение).
. . . .
Ленинской речи дать повторение —
Труд для меня непосильный, ребятки!
Ленин речь говорит —
Не кривит, не мудрит,
Не шумит, не грохочет.
Не поймет его тот, кто понять не захочет.
Словно Волга-река: ширина, глубина
И прозрачная ясность до самого дна.
Нет иного для ленинской речи сравнения.
В этой ясности — ясность великого гения.
В простоте — глубочайшая мудрость народная.
Дышит мощью безмерной река многоводная
И несет свои воды бескрайной равниной,
Без натуги плотину снося за плотиной.
И нет силы такой, чтоб закрыла ей путь
Иль могла ее в русло иное свернуть!

И тут же сделано стихотворное изложение ленинского доклада.

Деловая, конкретная программа действий всегда точно изложена поэтом Идет ли речь о борьбе «со вшой», о навозе ли — Демьян ничем не погнушается, да еще с вызовом: «Кто скажет мне, что где навоз — там нет геройства, того я быстро излечу, послав на взбучку к Ильичу...» Все это так жадно поглощается читательской массой, что в деревнях соби-

рают по ложке керосина с каждой избы, чтобы какой-нибудь, пока единственный, грамотей почитал обществу «Демьянушку». Он же и утешит, сказав: «Я знаю: горько вам живется и убого, но цель заветная близка, ее видать. Все силы напряжем — не будем голодать. Страдали много мы. Осталося немного перетерпеть, перестрадать!»

В оценке международных событий поэт также всегда старается дать понять точку зрения Ленина.

Вот шуточный романс, как бы фиксирующий рассуждения Ллойд-Джорджа.

...А Ленин, хитрейший из всех мировых хитрецов,
   Смеется, засунувши руки в карманы.
Он, чувствую, рано иль поздно окажется прав, —
   Вопрос лишь насчет промежутка,
И выверты наши, — по совести все разобрав, —
   Такая пустая и глупая шутка.

Поэт часто использует размер популярных городских романсов и уличных песенок, которые вдруг преображаются в остро политические обзоры. Так известная «Маруся отравилась», звучащая на любой русской шарманке, оказалась Антантой, которая тоже, конечно, отравилась:

Ллойд-Джордж, любовник ейный,
Ее хотел спасти
И в Геную, в больницу,
Надумал отвезти.

Хлопочет возле бедной Антанты и Пуанкарэ, рассказывается в новых словах песенки.

К концу 1922 года настанет пора подбить итоги дипломатической деятельности иностранных министров. Дань тонкости их работы — в самом названии — «Кружево»:

Все будет чинно и понятно
Дипломатическим умам.
Поговорят безрезультатно
И разбредутся по домам.

Из надоевшей всем кадрили
Очередные сделав па,
Начнут хитрить, как и хитрили,
Дробя слабейшим черепа.

Но наш Чичерин, мудрость эту
Не хуже зная, чем враги,
По очень скользкому паркету
Спокойно делает шаги.

А пока Чичерин спокойно делает эти шаги по скользкому паркету дипломатических гостиных, Демьян Бедный продолжает ходьбу по разбитым мостовым, езду по тряским дорогам. Его «дипломатическая» работа — это еще не работа. Главное здесь, дома. Даже свои послания Ллойд-Джорджу он иногда заканчивает на ходу, сообщая, что, мол, некогда — еду на Нижегородскую ярмарку («как ездил раньше на фронты») или еще куда-нибудь. И это не выдуманная концовка. Он по-прежнему много ездит. «Сам по себе». По сигналам читателей. От «Правды» и «Бедноты». Как представитель Моссовета, других советских и партийных организаций, называя себя «замвридвождем».

Круг обязанностей этого «замвридвождя» и «наркомнеудела», а в общем никем никуда не назначенного человека приобретает еще больший размах потому, что он никуда никем не назначен. Много есть в его стихах кратких характеристик того, чем, собственно, он занят: «Я пребываю в своей неизменной роли — популяризирую партийные пароли».

Демьян в Киеве потому, что на землях Печерской лавры вырос совхоз. В Калуге потому, что оттуда писали во ВЦИК про нелады в сельхозартели. В Перми, в Екатеринбурге потому, что... Потому что везде есть дело.

В Москве тоже тихо не посидишь. «Развернешь газету утром — разбегаются глаза». Кому нужно помочь, кого шлепнуть, принять участие в работе по «неделям»: «Неделя против бесхозяйственности», «Неделя казармы», «Неделя бани», «Неделя просвещения»... На каждую «неделю» приходится еще один партийный день, когда можно успеть потолковать с людьми на двух-трех заводах. Вскоре по партийной линии работы прибавляется в связи с деятельностью оппозиции.

Но еще ждут специально адресованного к ним слова женщины. Молодежь. Не ждут, но получают свою порцию нэпманы, попы. Кулаки. По-прежнему меньшевики с эсерами. Не остается без внимания даже такая, как будто удаленная от кипучей жизни «недель», область, как статистика. Это самая скучная из тем, за которые брался Демьян. И вот как она выглядит вышедшей из-под его пера:

Корову среднюю со средним сеном сложим,
На лошадь среднюю затем ее помножим
И, разделив на дробь звериного числа,
Получим... среднего осла.

Не думайте, что сей осел сидит в Компроде
Иль где-то в этом роде:

Иллюстрация к поэме «Главная Улица».

Художник К. Зотов.

О средних выкладках восторженно мыча,
Он топчет грядки в огороде
И ждет хорошего бича,
То бишь посланья Ильича.

О, сердцу милая картина!
Не делай глупостей, дурацкая скотина!

Стихотворения, как он сам говорил, «разнокачественные», громадному кругу тем посвященные. Но приходит черед сказать и о себе. Начинается партийная чистка. Демьян сознается, что не меньше других побаивается товарища Землячки: «Она престрогая такая коммунистка, а мне предстоит партийная чистка. Чистил я других до последнего дня. Теперь будут чистить меня».

Трелукавая муза моя, не брыкайся.
Всенародно в грехах своих кайся.
Выйдем вместе и скажем:
«Мы с довольно порядочным стажем».
Доставалось чужим. Доставалось своим.
Мы пороков своих не таим...»

...Так подходит к концу 1922 год, когда празднуется пятая годовщина Октября. Верстается юбилейная «Правда». На уровне заголовка, справа — четыре веселые строчки:

МЫ НЕ СТАРИКИ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!
мы только начинаем жить.
ПОРЫВОМ, УДАРОМ — ВПЕРЕД!

Первая страница открывалась крупно набранными: «ПЯТЬ ЛЕТ» и воспроизведением приветственной записки с подписью: «Ваш *Ленин*». Полоса украшена еще размашистым рисунком Дмитрия Моора, так хорошо нашедшим стиль графики, что соответствовал молодости эпохи. Весь номер газеты дышит этой молодостью. Она отражена даже в верстке: в заголовке статьи Е. Варги «Распад капитализма» первое слово набрано крупными, очень наглядно распадающимися в разные стороны литерами. Подборка из выступлений иностранных коммунистов на последней полосе названа «Рост коммунизма»; и с той же наглядностью слово «рост» оттиснуто, как диаграмма: «р» — маленькое, а «т» — вдвое больше.

С выдумкой, своеобразными перебивками набрана и статья Кржижановского об электрификации. Демьян любит веселую верстку. Но на этот раз, выступая в подвале той же полосы, он необыкновенно строг: встречает пятилетие Октября поэмой «Главная Улица». Вернувшись к дням боев, поэт в эпилоге пишет:

Стойте ж на страже добытого муками,
Зорко следите за стрелкой часов,
Даль сотрясается бодрыми звуками,
Громом живых, боевых голосов!

...Внимая этим голосам, Демьян вступает в новый, 1923 год. Он доносит эти голоса во всеуслышание, прославляя крестьянку Марию Голошубову, которая добилась у себя в селе подписки на «Бедноту»; поздравляет красноармейцев со взятым ими на себя обязательством стать грамотными; обращается к «певцам молодым»: «Время, братцы, на свой лад запевать, стариков подменяя в партийной упряжке!» Рассказывает о своей поездке в Кострому, где построили электростанцию.

Демьян Бедный приветствовал XII партийный съезд «Раздумьем»; он говорил о том, «как, покрыв столицы-города и разливаяся в глухие захолустья, играет полая весенняя вода, я силюсь угадать: какими и когда мы доплывем до чаемого устья?»

Но Владимир Ильич не выступал на этом съезде. Болен. Тяжкая тревога за него омрачает течение всего двадцать третьего года. Впервые в голосе поэта появились ноты отчаяния,

страстной мольбы: «Суеверно молю я судьбу: «Пощади! Требуй жертвы любой, — много жертв впереди! Вырви сердце мое; только нас огради...» Эти стихи напечатаны в «Правде» 14 марта.

Через месяц поэту исполняется сорок лет, и Михаил Иванович Калинин вручает ему орден боевого Красного Знамени. Это первый орден, данный Советской властью писателю. Юбиляра приветствуют армия, флот, ВЦИК, редакция «Правды»: «Тебя не устанут слушать, пока ты не устанешь писать». Тепло, задушевно поздравляют читатели. Демьяну сказали в те дни много хорошего, искреннего, почетного.

Но все это было его последней радостью при жизни Ленина.

Глава IV

ПОСЛЕ ЖЕСТОКОЙ «ПЕРЕДЫШКИ»

Ничто не скажет о состоянии Демьяна Бедного красноречивее, чем тот простой факт, что этот сильный человек был не в силах взять в руки перо. Оно брошено за неделю до кончины Ильича. Поэт сам ничего не рассказал о пережитом, лишив, таким образом, права кого-либо другого сделать это. Долгие дни молчания были первым перерывом за тринадцать лет напряженной работы.

Домашние видели, как он мечется; знали, что не спит; что выкуривает ежедневно по пять-шесть пачек. Дети впервые видели на его глазах слезы. Но что скажут эти ничтожные внешние признаки?

Активный, бурный в радости и в горе человек — не нужно бояться сказать — потерялся. Он в тисках чувства большего, чем горе. К Ильичу его привязывало большее, чем любовь: «Вырви сердце мое...»

Молчание длится три-четыре недели. Полтора месяца. К работе его возвращает то, что оторвало от нее: сама потеря. Идет ленинский призыв: «...Прощай, Ильич! Оплакав смерть твою, кончаю срок жестокой «передышки»...» — говорит он «Ленинскому набору».

В эти дни Демьяна тянет не к близким, не к друзьям, но к тем, ради кого была прожита жизнь Ленина. Есть стихи, рассказывающие об одной из таких встреч с железнодорожными рабочими. Не на торжественном собрании, а так, прямо на путях евпаторийского вокзала, под вечерний звон степных

цикад и кузнечиков «говорили душевно». И Демьян Бедный представил читателю одного из собеседников: «Спросите у Димитренко, бедняги, кто он — по чину — такой?» Он ответит кратко — «служба тяги».

Вся жизнь Димитренки у поэта как на ладони. Рабочий день, семья, заработок. Это разнорабочий, делающий все. Безотказно. Подметает. Подносит уголь. Заправляет вагоны водой. Моет. «...С Емельяна пот ручьем, не росой... надрывается зиму и лето. Ему отдыха нет: не гуляй, не болей! Емельян Димитренко получает за это в месяц... девять рублей!» И — добавил поэт — за добровольными отчислениями Димитренко остается всего лишь при пяти рублях.

Зачем поэту потребовалось рассказывать о низком заработке Емельяна? А затем, что, как бы этот заработок ни был низок, Димитренко вовсе не горемычный герой, но герой настоящий.

В стихах Демьяна Бедного не найти слова «нежность». Но сколько ее было при обращениях к красноармейцам, работницам, детям, и как много этого чувства скрыто в описании встречи с героем наутро после ночного собрания: «служба тяги» бежит по шпалам: «Пригляделся к нему. Тот же потный и черный, но — приветливый, бодрый, проворный». И вот что он говорит, приветствуя Демьяна:

«Простите уж нас, дорогой,
Что вчера мы перед вами маленько похныкали.
Это верно: бывает порой чижало,
Точно рыбе, попавшей на сушу.
А в беседе-то вот отведешь этак душу,
Глядь, совсем отлегло».

Димитренко и впрямь полон благодарности к Демьяну Бедному еще до того, как прочитал о себе в газете стихи. А уж тут он в знак своей величайшей симпатии к поэту посылает на добрую память фотографию: поза торжественная. В руках — огромный молот. Он не знает, как поэт благодарен ему самому. Демьян еще крепче прежнего держится за таких вот людей; его перо принадлежит им. Близостью к ним он, как в былые времена, будет силен и дальше: он должен воевать за них, за их лучшую жизнь. Сказанное в «Тяге» уже не раз говорилось и не раз будет повторяться на разные лады.

Но именно здесь, в самом начале, намечен исток еще одной темы, которая отнимет у Демьяна немало сил.

В первых строках поэт говорит о том, что, наглядевшись на большие собрания, где гремят аплодисменты и «орут пять

тысяч человек: «Да здравствует наш вождь Имярек!», он уехал от пестроты электрического сиянья в ту степную темноту, где работают Димитренки. Это вступление не случайно, так же как закономерна тяга общения с «Тягой», а не с «Имяреками»: «Рядом с Лениным, гениально скромным, дали развиться самомненьям огромным...»

Еще при жизни Ленина Демьян говорил: «В начале наших дискуссионных неурядиц я заявил, что я «партийный старообрядец». Сказал с той же прямотой, с которой когда-то писал с фронта империалистической войны про свое «староверчество». И тогда и сейчас твердые убеждения Демьяна повлекли за собой борьбу за них. И тогда и сейчас человек, прослывший грубым, непримиримым (и верно: «Лично я никогда не пощажу политического врага»), поначалу к делу подходит вдумчиво, сдержанно.

Сперва строчки, касающиеся оппозиции, шутливы, хотя вполне серьезно говорится о судьбе «всякого суемудрого уклонения от предвосхищения ленинского гения»; к осени Демьян начинает писать чаще, больше. Он все еще высмеивает «перманентного героя» Троцкого. Смеется и над Зиновьевым, который возмущен: Троцкий, видите ли... «мне тычет в глаза мой «октябрьский грех». Он мне тычет! Добро бы у него у самого — без прорех, а то ведь его всего до глубины утробы разъели меньшевистские микробы!..»

В фельетоне «Бумеранг», написанном в связи с очередной нотой Чемберлена, поэт попросту рассказывает (поскольку он сам «наркомнеудел»), как он посещал руководящих делами товарищей. Портреты людей, с которыми он говорит, созданы удивительно ясно. Так же ясно рисуются отношения между собеседниками. Вот он у «всероссийского старосты» Калинина:

— «Михал-Ваныч на-ше!..»
— «А, Демьяше!..
Понимаешь, шут его дери,
Что делается в Твери?
Мои земляки сговорились словно,
Прут на многополье поголовно.

. . . .

Да у меня на хозяйство — три дня среди лета!
Да ежели б не должность эта...»
— «Успокойся, говорю, Михал-Ваныч, на минутку.
Тут дела не на шутку...»

Демьян говорит Михаилу Ивановичу о разрыве торгового

договора, чемберленовской ноте. А потом двигается в Коминтерн.

Там Демьян трижды произносит, как заклятье: «Пролетарии всех стран, соединяйтеся!.. Свят-свят-свят! Да воскреснет пролетариат, и расточатся врази его!..»

Но тон становится строгим, и уважительная полуулыбка еле заметна, когда он приходит в ЦК:

Вошел я к Сталину этаким орлом.
Товарищ Сталин за столом.
— «Товарищу Сталину многая лета!»
(Пожал мне руку. Но никакого ответа.)
— «Вот Чемберлен... Не есть ли это окончание?..»
(Молчание.)
— «Пробуют наши нервы, похоже?..»
(Все то же.)
— «Опять пойдут новые Генуи, Гааги...»
(Перебирает бумаги.)
— «Мир, значит, на ладан дышит...»
(Что-то пишет).
— «Нам бы с Францией понежней немножко...»
(Посмотрел в окошко.)
— «Дескать, мы с тобой, с голубкой...»
(Задымил трубкой.)
— «А той порой, возможно, право...
Кто-нибудь причалит на советский причал».
(Прищурясь, посмотрел лукаво
И головою покачал.)
— «Английский рабочий — тоже не пешка...»
(Усмешка.)
— «И Персель слово не зря брякнул».
(Крякнул.)
— «Ваша речь о «троцкизме»... полторы полосы...»
(Погладил усы.)
— «Тоже «гирька»... на дискуссионные весы!»
(Посмотрел на часы.)
У Сталина времени мало, понятно,
Но меня за болтливость не стал он журить.
— «Заходите, — сказал, — так приятно...
Поговорить!»

. . . .

Демьян в общем-то писал не столько об английской ноте, сколько о «дискуссионных весах». На них есть и его «гирьки». И чем дальше, тем увесистей. В IX томе Собрания сочинений целый раздел назван «Борьба за ленинизм». Он открывается новогодней шуткой «Как это началось», в которой Землячка («...ее характер женский мужских был крепче десяти») видит, подобно пушкинской Татьяне, сон...

В следующем стихотворении этого раздела Демьян говорит, что он вначале «...глядел со спокойной усмешкою, как с дымящейся головешкою забегали оппозиционные пятерки и тройки внутри партийной постройки»:

— «Э, — думал я без опаски и обиды, —
Видали мы всякие виды!»
От головешки, одначе, пошел такой дым,
Что некоторым партийцам, особенно молодым,
Не удалось удержаться от головокружения,
Послышались «угорелые» выражения,
Словесность стала делаться жуткой.
И все же я шутил «новогодней шуткой»...

Как всегда умело вплетая серьезнейшие вопросы политики в легкую, всем доступную форму стихотворных диалогов и личных признаний, Демьян твердо заявляет, что:

Какой-нибудь Муранов, не ищущий партийных чинов,
Или старый партиец Василий Шелгунов
Блюдут, на мой взгляд, «большевистскую веру»
Куда надежней, чем товарищ Троцкий, к примеру...

Отдавая дань красноречию Троцкого («когда гремит его словесная атака, я готов поставить сто сорок три восклицательных знака»), Демьян говорит, что «Я по его указке не сделаю и шагу...», «Я слушаю его всегда настороженно: «Ох, подведет!.. Ох, не по тому месту рубит! Сам пропадет — и партию погубит!»

Дальше «Про то же, про главное»:

...До междоусобного ли тут куражу,
Когда пароход тянет за собой громадную баржу,
Крестьянскую баржу, неохотливую,
Неподатливую, неповоротливую.
Тут знай — следи за прочностью смычки,
А у этой смычки — тридцать три закавычки...
...— неудачный поворот
По рецепту какого-либо дискуссионного воина,
И — воды полон рот!
Пролом! Пробоина!
Разлетится баржа
Да шарахнет с разгону,
Не успеешь запросить пардону!

Так беседует с «дискуссионными воинами» Демьян в ноябре 1924 года.

В то же время на «крестьянской барже» разворачиваются события, говорящие об острой вражде старого к новому. Кула-

ки убивают коммунистов, селькоров. Демьян Бедный едет в Николаев. Там — суд над убийцами из села Дымовка, одно название которого станет скоро нарицательным... Оттуда в Киев, затем в Ленинград. И отсюда через несколько дней после публикации «Памяти селькора Григория Малиновского», убитого в Дымовке, шлет в Москву уже свой строгий «суд» над теми, над кем недавно только подшучивал: «Всему бывает конец». Теперь Демьян уже открыто издевается: иронический тон уступил место саркастическому, непримиримо обличительному:

Троцкий гарцует на старом коньке,
Блистая измятым оперением,
Скачет этаким краснoперым Мюратом
Со всем своим «аппаратом».
С оппозиционными генералами
И тезисо-маралами, —
Штаб такой, хоть покоряй всю планету!
А войска-то и нету!
Ни одной пролетарской роты!
Нет у рабочих охоты
Идти за таким штабом на убой,
Жертвуя партией и собой...

. . . .

Повисли у Троцкого мокрые перья,
Смылась наводная краса.
А со всех сторон несутся голоса:
— То-то!
Отчаливайте в меньшевистское болото!
— Скатертью дорога
От большевистского порога!

Надо твердо сказать «крикунам»
И всем, кто с ними хороводится:
— Это удовольствие нам
Чересчур дорого обходится!
Довольно партии служить
Мишенью политиканству отпетому!
Пора ж, наконец, предел положить
Безобразью этому!

Демьян Бедный знает, откуда «несутся голоса». Он слышит их. И сыплется дождь эпиграмм о том, как были приняты дискуссионные «вожди» в Ленинграде — на «Красном путиловце», на «Красном треугольнике», на заводе «Большевик», на собрании железнодорожных мастерских и на табачной фабрике имени Урицкого.

А все же, вернувшись в Москву, непримиримый Демьян среди огнеметной пальбы иногда еще пробует урезонить некоторых оппозиционеров: «Смилгуйтесь», братцы! Что вы!..» — восклицает поэт, обыгрывая фамилию одного из них: Смилга.

Среди заключительных стихотворений цикла «Борьба за ленинизм» — программное «На ленинский маяк».

Близится первая годовщина смерти Ленина. Демьян, в течение всего года множество раз обращавший читателей к памяти Ильича, пишет первое стихотворение об утрате. Рассказывает о проводах, про «тысячи лаптишек и опорок, за Лениным утаптывающих путь...».

Заковано тоскою ледяною
Безмолвие убогих деревень.
И снова он встает передо мною —
Смертельною тоской пронзенный день.

Казалося: земля с пути свернула.
Казалося: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаянья дохнула
Испуганно-суровая зима.

. . . .

Шли лентою с пригорка до ложбинки,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский — от снега белый — гроб.

Это одно из лучших лирических произведений Демьяна Бедного. Потом к проникновенным «Снежинкам» присоединится «Клятва Зайнет» и другие; но тема близости к ушедшему останется у Демьяна на всю жизнь.

Демьян постоянно вспоминает о Ленине, его советах, откликаясь на самые оперативные темы. А раз-два в год — в день рождения Ильича, иногда и в день смерти — поэт пишет только о нем.

Вот уже прошло три года. Поэт рисует «день как день, простой, обычный, одетый в серенькую мглу», точными штрихами обозначая приметы старой России — России 1870 года:

...Служил в соборе протопоп.
И у дверей питейной лавки
Шумел с рассвета пьяный скоп.
. . . .
На дверь присутственного места
Глядел мужик в немой тоске,

Пред ним обрывок «манифеста»
Желтел на выцветшей доске.

. . . .

К реке вилась обозов лента.
Шли бурлаки в мучной пыли.
Куда-то рваного студента
Чины конвойные вели.

Полная грусти, неизбывной тоски и безнадежности картина неожиданно завершается аккордом, резко снимающим ощущение обреченности:

Никто не знал, Россия вся
Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день, такой обычный,
В России... Ленин родился!

Мало кому из лириков, не видевших лирического дара Демьяна Бедного, давались такие проникновенные строки.

Четвертую годовщину со дня смерти Ленина поэт отметил воспоминанием «Живой Ильич»:

Бывало, пишу,
Спешу,
Пригоняю к строчке строчку,
Чтоб вышло «вовремя и в точку»,
Чтобы зажечь читателя боевым огнем,
Чтоб увлечь их задушевно-прельстительным слогом,
Пишу — и думаю все время о нем,
Об Ильиче, судье взыскательно-строгом:
Прочтет он и весело прищурится,
Или, задумавшись, нахмурится
И скажет, что тема важна и остра
И к ней с маху подходить неудобно, —
И все, что он скажет, его сестра,
Марья Ильинична, передаст мне подробно.
И стану я рисовать живей
Красоту подвига, бытовое уродство.
Во всем, во всем, даже в работе моей
Отражалось ленинское руководство!

Да, он постоянно думает, «глаза оторвав от листа, что сказал бы тот, чьи уста нынче немы?».

Именно это помогло Демьяну прервать срок жестокой «передышки», помогает работать, идти в драку и... по-прежнему заставлять читателя от души смеяться.

Глава V

ПОЧТА

«Его почта — это канонада, смерч, потоп... Письма приходят тысячами, пудами...» — свидетельствует друг Демьяна профессор Ефремин. Он утверждает, что поэт получал больше почты, чем любой наркомат, даже редакция. Письма шли на разные адреса. «Москва», «Кремль», «Совет Народных Комиссаров». В «Правде» для Демьяна и его нового друга Михаила Кольцова специально отведен ящик — такой же объемистый, как для всей остальной корреспонденции.

Здесь можно найти такие деловые, толковые обращения, какие приходят в редакцию в наше время и находят отражение в рубрике «По следам читательских писем». Но интереснее обратиться к тем, что характерны для поры, когда грамотность была меньше, а наивность — больше, а сами причины обращений вместе с этими свойствами отошли в прошлое. Бумаги тридцатилетней давности в какой-то степени отражают лица авторов. Но тем занятнее взглянуть на послания, продиктованные чистосердечием, а порой и глупостью, — все это обильно представлено в почте Демьяна Бедного.

Здесь сигналы о беззакониях с требованиями вмешаться; просьбы о материальной помощи; приглашения просто приехать, познакомиться; восторженные отклики поклонников; ругань, угрозы врагов; наивные исповеди; аргументированные священным писанием возражения; бодрые приветы селькоров; вопросы о смысле жизни; указания поэту, о чем писать; просьбы к нему научить писать; цензурные и нецензурные поношения; и конечно, тьма-тьмущая стихов.

Пишут крестьяне, красноармейцы, пионеры, попы, воры, белогвардейцы, обманутые девушки, работники советских учреждений, железнодорожники, — да кто только не пишет? Один корреспондент из Киева делает это каждый день. Другой сообщает: «Я — инвалид, калека, у меня парализованы нижние конечности; пишу я неустанно, и времени у меня много; пишу рассказы, стихи, мемуары, драмы; я решил все мною написанное передать Вам в полное Ваше распоряжение; с сегодняшнего дня буду высылать ежедневно по тетрадке...»

На этом письме Демьян пишет «Караул!», но разбирает и читает все, никому не передоверяя. На все существенное дает незамедлительный ответ.

А вот сигнал серьезный. Демьян перешлет его, как по привычке говорит, в Чека.

«1927 год, числа 28 марта. Самосрочно. Весьма секретно.

Дорогой Демьян Бедный!

Просим Вас с горючей слезою. Делаются чудеса: уже целый год в селе Седюхи Черкасского округа, под самым Киевом, появилась тайная монахиня, называет себя княгиней Екатериной, тетка царя Романова. Она проживает у гражданки Соломии Перехватовой или укрывается в селе Дулевка, и там живет у гражданки Печенко. Везде она ходит по селам и объявляет, что скоро конец Советской власти, что она погибели обречена и что уже нет ни хлеба, ни соли и скоро не будет и воды. Эта монахиня собирает целые возы продуктов на генеральских вдов и офицерских сирот и на старых попов в Киев и Киевский монастырь. Муку, крупу, мед, воск, полотно, готовое белье. Она имела такой случай, в селе Седюхи при помощи местного священника о. Николая и Соломии Перехватовой собрали 147 пудов разных продуктов и погрузили на подводы и на станции тихонько в Киев. Это дело возбудили граждане села Седюхи. И подали на о. Николая в народный суд. Но слабо. Боятся анафемы матушки княгини тетки царя Николая. А тетка неуловима: тут, и там, и здесь, и кругом. Она имеет три имени: Екатерина, Людмила и Анна. А хитра, как змей летучий. Около нее имеется целый штаб мироносиц баб и стариков, и даже молодых, которые несознательны по опиуму для народа. Она ими командует и приказует. День и ночь несут и везут... Но этого мало. Два месяца назад матушка княгиня Екатерина получила груз на станции Киев из города Проскурова — четыре ящика. На ящиках была надпись: «Осторожно, стекло», — и это все было спрятано в Китаевской обители и зарыто в землю. Но зачем же стекло зарывать в землю; и говорят, что от ящиков пахло смазочным маслом, и матушка около них хлопотала очень, и ящики были тяжелые... и собаки лаяли... Она много кой-чего знает, больше, чем другой кто... Три года назад она перевезла из св. лавры сундук с вещами церковными, как-то: чаши, кресты, лампады, венцы, панагии, золотые и серебряные митры. И было спрятано в саду за кухней и за алтарем церкви и в правой колонне-столпе замуровано целое ведро с бриллиантами и золотом, алмазами... А наша местная сельская власть спит богатырским сном; она не видит. А лютая княгиня не спит и работает во славу божию; тетка ходит, она не ходит; ее возят, и руки целуют и ноги, и преклоняются, и уже ветер мысли ходит с нею. Нужно это в корне уничтожить: как это можно сделать? Ее особые приметы: росту среднего, лицо круглое, глаза серые, быстрые, походка легкая, в разговоре мягка и повадлива,

лет от роду за сорок, на лицо моложава, лицо прячет под черным платком, на голове носит глубокий и длинный шрам; имеет при себе дамский малого калибра браунинг и порошок яду. Она ловкая, и быстра в движениях, и неутомимая. Ее возят из села в село днем и ночью и во всякую погоду... Демьян Бедный, распотроши пером колючим всю эту категорию, и чтоб расклювать, и пусти разные подробности, и чтоб кровь от крови отлилась. Писал быв. красноармеец и свидетель происходящего Николай Ручко».

Другой автор разоблачительного письма — крестьянин села Михалково Монастырщинской волости Петр Синявин — тоже старательно описывает внешние приметы и «пускает» разные подробности, но еще пытается прибегнуть к поэзии:

«Начинаю Вам искладать свою нелитературную поэзию, но проработать ее Вам моя крестьянская просьба». На трех страницах описание похождений попа Алексея Косова, который совмещает свой сан со службой писаря и секретаря сельсовета, работает в кооперации, в машинном товариществе, еще где-то, всюду берет взятки, жульничает, пьет и прочее.

Письмо заканчивается просьбой сложить «как неможно получше стих» и послать в редакцию «Крестьянской газеты».

Не у всех есть досуг «пускать разные подробности». Вот просто телеграмма:

«Товарищ Демьян. Не откажи оказать надлежащее содействие по раскрытию новой «Дымовки», происходящей у нас в Сибири...

Жду помощи. Результат сообщи».

От иной просьбы селькора о помощи веет такой бодростью, словно автор сам хочет поддержать Демьяна: «Как они ни борись против нас, но селькоровского карандаша не брошу. Помоги и ты, дружок!»

Сигналы из Мологи изложены в виде готовой статьи, но автор сознается:

«Я не литератор, и моя статья, возможно, ляповата, но все, что здесь пишу, — это реальные факты деревенских задворков, эти болезни я описываю Вам, как хирургу: прошу сделать маленькую операцию в стихах».

Некоторые в поисках справедливости обращаются к Демьяну, как к последнему прибежищу: мобилизованному красноармейцу какой-то склад не выдал полагающейся зарплаты. Он уже обращался в суд, в «Красную звезду» и к военному прокурору — «...и теперь последний путь: я решился написать Вам, товарищ Демьян Бедный...».

Демьян должен защитить не только селькоров, рабкоров,

красноармейцев. Из далекого дагестанского селения Ачи-Кулак ждут сочувствия, помощи по такому поводу: «У нас был суд над хулиганом по фамилии Ш. На суде защитник провел параллель и, защищая Ш., сослался на исторических лиц и, между прочим, назвал великого поэта Пушкина хулиганом и пьяницей... Этот скверный анекдот, дорогой Демьян, внесен в залу официальным лицом... надо защитить Пушкина», — пишет рабкор, «обливаясь кровью за любимого поэта», и просит у «монументального поэта» сочувствия и защиты.

Встречаются письма с документальными приложениями, в которых люди, считающие себя «учениками» Демьяна, явно проявляют излишнюю ретивость: сражаясь со склокой, сами разводят ее. Именно письмо одного из таких «учеников» с Украины вызвало у Демьяна решительный отпор: было написано объяснение, почему разоблачитель не прав. В большинстве же случаев приходилось вступаться, иногда выезжать на место, иногда просто сообщить про «Косого беса» или «тетку царя Романова» куда следует. Часто «искладает» Демьян «нелитературную поэзию»; делает «как хирург маленькие операции». Не впервой! «Вступаться» за Пушкина тоже не впервой. Вероятно, корреспондент из Ачи-Кулака знал, как Демьян Бедный благоговейно относится ко всему касающемуся великого поэта; не раз высказывал это в своих стихах, а при случае «защищал» Пушкина и без всяких ходатайств. Это было, когда какие-то пошляки в Москве отважились назвать новое кафе «Пушкин». Тут же появились и сделали свое дело протестующие стихи Демьяна.

Не всегда он может быстро ответить. И в этих случаях иной раз приходят язвительные строки: «Я не предполагал, что мы, простые смертные, не так-то легко можем обращаться со своими мыслями к великим людям...» Но большинство писем говорит о том, что крестьянин видит Демьяна никаким не «великим», а таким же, как он сам; то же происходит с красноармейцами, рабочими и всеми другими авторами, включая детвору. В донецких рудниках ребята избрали Демьяна почетным пионером и сообщили, что теперь он должен выполнять все пионерские заветы, которые в ту пору, как на грех, начинались с пункта: «Пионер не курит, не пьет, не ругается...» Ну уж этого Демьян никак не мог пообещать!

Трудновато было и с некоторыми другими детскими просьбами:

«Здравствуй, дедушка Демьян.

Прошу Вас, чтобы Вы скомбинировали басню про наших учеников».

Поэту излагается материал и дается обещание поместить его басню в стенгазете.

Насколько известно, такой басни для стенгазеты не было написано, хотя, впрочем, большая часть ответов Демьяна пропала. Копий он не оставлял, и все потонуло в дальних концах, куда было отправлено. Известен случай, когда Демьян бросил все из-за просьбы ребят со станции Архангельск-пристань: «Пришлите нам Вашу личность».

«...Так тронули меня эти каракули... что я немедленно ответил коротким стишком, сел в вагон и приехал». А ведь пионеры просили только фотографию...

В бумагах поэта случайно сохранился другой ответ детям:

ЗАКАЗ ПРИНЯТ!

От пионеров мне заказ:
— «Напиши пионерский рассказ!»

Товарищи пионеры,
Я приму все меры,
Не пожалею труда.
Но что напишу и когда,
Не могу сказать вам в точности.
Есть дела неотложной срочности.
Авось «опионерюсь» летом.
С товарищеским приветом!

Кроме заказов, приходят советы, требования. «Довольно Вам заниматься пустяками и тратить дорогое время на разных Мейерхольдов. Обратите-ка лучше внимание на нашу кредитную систему и постарайтесь понагляднее доказать...» В деловом письме из села выговаривают, что Демьян все еще пишет о царе: «Тут дело решенное, и писать не о чем. А вот почаще вспоминал бы ты, Демьяша, середняков, — так больше-то пользы будет». Заключительные строки уложены в рифму: «В «Известиях» черкните, я буду ждать ответ, а стихоплета извините, таланта у меня твоего нет».

Некоторые авторы пишут в стихах не потому, что пробуют свои литературные силы. Им просто как-то неловко разговаривать с поэтом прозой: уж раз, мол, ты так привык, так и мы из учтивости скажем по-твоему. Красноармейская вдова, крестьянка из Татарии, начинает просьбу: «Прости меня, почтенный, Демьян Бедный...»

Другой автор сообщает, что «пользуется приемами» «Демьяши, литературного папаши»...

Бедняк пишет благодарственное письмо на адрес «Правды». Добрые чувства свидетельствует стихами, чтобы оказать уважение, нисколько не помышляя о печати. Именно поэтому они и стоят того, чтобы их привести:

Тихим шагом, с твердой верой
Мы идем вперед.
Здравствуй, друг наш милай,
Ученый народ!

Но есть и другие «стихотворцы»: откровенно требовательные, наглые. Некоторые без обиняков сообщают, что готовы переехать в Москву — подыщи им службу и квартиру! Другие спрашивают: как писать, на какие темы? Третьи просят устроить стихи «как-нибудь». Один автор объясняет, что голодает, ночует на вокзалах, и сознается, что «мало знает технику стиха». другой требовательней; горнорабочий из Донбасса послал в Москву два сценария и просит: «Вы — свой человек, узнайте и напишите мне». Третий сочинил сто стихов и желает быть... «вашим помощником и всей ВКП и также всем трудящимся, и я надеюсь, что моими стихами заинтересуются все трудмассы. Вы вполне отзоветесь на мои стихи, и прошу, чтобы Вы похлопотали перед Советским правительством об отпечатке моих стихов...».

Четвертый «печатался» в стенгазетах, а теперь «надумал перейти на газеты в Москве». Только он «слышал, что журналы обзавелись своими близкими журналистами и «чужому» трудно попасть, как бы хорошо он ни писал. Поэтому прошу Вас помочь продвинуть»...

Даже среди детей тоже есть авторы, которые ставят вопрос ребром. «Писать для меня — воздух», — заявляет ученик второй ступени откуда-то из-под Перми. И тут же оказывается, что его привлекают социальные темы, включая... проституцию. Ответ Демьяна на это письмо не известен, но есть другой, написанный позже, по такому же примерно поводу: восьмилетний Шура Софронов из города Ливны пишет «фундаментальные произведения» с помощью «секретарских» услуг кого-то из родных... Бедненький Шура! — восклицает Демьян, увещевая его «секретаря», «мне стало жаль его... Отпустите его на травку, пожалуйста, пусть кувыркается. Пусть детски озорует, яблоки из чужого сада ворует, но не пишет повести «в 10 частях». Какой ужас!» И Демьян серьезно излагает свои взгляды на раннее, «скороспелое» развитие, от которого не ждет ничего хорошего.

Нет, куда как приятнее получать от ребят просто приглашения: вот и с глухой станции Абдулино: «Скоро наша школа будет устраивать день Демьяна Бедного, так приезжайте...» — коротко и ясно. Поехать не удастся, а ответить надо. Надо не только отвечать корресподентам, а и ходить на свидания с ними. Ну как откажешь? Поэт-крестьянин из села Карюкино приглашает:

«Хотя мне говорили, что ты не поэт, а ужасный прозаик, но я не верю и хочу с тобой познакомиться, а в Кремль не пускают, то выходи к церкви Василия Блаженного, в среду, в 4 часа; я там буду тебя ждать; я видел у нас в деревне твои стихи, как икона в хате: держут в красном углу...»

Или:

«Многоуважаемый Демьяша, хочу посетить тебя, чтобы рассказать тебе мою судьбу, как я бежал из дому и попал учиться, а я крестьянин настоящий, бедняк зарегистрированный, и о своем похождении и как проживаю в Москве очень поучительно могу обсказать».

«Ужасный прозаик» идет в среду к Василию Блаженному. В четверг «многоуважаемый Демьяша» встретится с тем, кто может все «обсказать». Труднее уважить такое: «Приезжай к нам на стэпи — незнакомый Вам товарищ монголец молодой...» И даже толкового адреса нету!

Самое хлопотливое дело, конечно, со стихами. Еще в двадцать пятом году Демьян дал объявление в журнале «Селькор», оповещая, что если... «поэт-корреспондент от меня ответа никакого не получает, это значит, что стихи, на мой взгляд, признаны плохими, и я не дал ответа, чтобы не огорчать автора. Обычно же я с хорошими стихами вожусь, исправляю, если надо, и сдаю в печать».

Последняя фраза, вероятно, еще больше обнадежила авторов. Мусора много. Но иногда — такие радости! Вот среди серых строк попалась одна: «...песком хрустящие объедки...» Все домашние помнят, как Демьян долго повторял три слова, спрашивал: «Как сказано? Ведь этот человек не может быть бездарным! Такая строка!» Вместе с тем бывали случаи, когда он отказывал в поддержке профессиональным поэтам. Об этом говорит письмо к писателю Ефиму Зозуле, с которым Демьян не был близок, но знал о его великолепных качествах редактора, человека мягкого, умеющего работать с людьми. Потому-то и обратился к нему:

«...Окажите т. Бердникову максимум внимания и ласки, смягчивши то неприятное впечатление, какое на него произведет мой отказ написать предисловие». Демьян, отказывая в

этой просьбе, утверждает, что «стихи... следовало бы (с отбором и правкой) издать отдельной книжицей». В чем же дело? Почему, если «следует издать», поэт не удовлетворяет просьбы автора? «Хотел бы дать, но не могу, — пишет он. — Лукавить не умею. Не в моем они вкусе...», «Видит бог (!!), не могу!»

Демьяна оттолкнула, как он говорит, «изощренность ритмики... попытки писать не просто, а с закорлючинами, с претензией...». Поскольку Демьян далек от нетерпимости — пусть поэт издается на здоровье, но лукавить?.. Нет! Демьяна куда больше привлекает работа с самыми неопытными авторами. С давних времен. И не в одной деревне, наверное, сохраняются, а скорее всего уже пропали десятки писем, подобных тому, что пришло когда-то на адрес крестьянина Григория Чеснокова: «Почтовое отделение Тужа, Яранского уезда, Вятской губернии, деревня Евсино.

...Ваше стихотворение мною... отшлифовано... Но сюжет сохранен в полной неприкосновенности. Вам теперь станет ясно без пояснений, в чем — с моей точки зрения — недочеты Вашего произведения. Если у Вас сохранился оригинал... то Вы можете не без пользы произвести сверку.

...В редакцию «Бедноты» мною послано письмо, чтобы Вам был выслан гонорар. Какой, пока секрет. Но достаточный, чтобы приобрести на него хорошую корову. Назовите ее «Демьянихой». Мне приятно будет знать, что Ваши детишки — есть они у Вас? — будут вспоминать меня... парным молоком.

...Сколько Вам лет? Если много, то... Понимаете сами. Стихи не так-то легко даются. Если Вы будете и далее присылать свои стихи, то не обессудьте, если я не всегда отвечу. У меня времени в обрез. А жить так-то ли много осталось? Врачи чего-то не особенно мое здоровье одобряют. Надо, стало быть, мне поторопиться — пописать побольше в срок, какой мне здоровье отпустит.

Сообщите, какое впечатление произведет на крестьян подшлифованное мною стихотворение. «Ай да Чесноков, мать твою! — скажут. — Демьяна передемьянил!» И невдомек им будет, что Демьян тут «поддемьянил».

Всех благ! И хорошей «Демьянихи»!»

Несмотря на то, что поэт просил «не обессудить», он написал Чеснокову и после, рекомендуя «поучиться. Читайте Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Глазами и ухом. Лучше стариков никто не писал».

Это свидетельство отношения Демьяна Бедного к стихотворным начинаниям крестьянских корреспондентов сохранилось

благодаря сыну Григория Чеснокова: став военным летчиком, потом журналистом, он понял значение писем, полученных еще когда он пил парное молоко «Демьянихи». Сын сберег письма, рассказал историю о том, как отец, когда не стало коровы, спилил ее рог. «Это мне на память на всю жизнь, — сказал он, — как доказательство любви Демьяна к деревне, к нашему брату крестьянам!»

Крестьяне прекрасно знали, как относится к деревне Демьян, поэтому многие, отправляя стихи в редакции, прибавляли: «Если не подойдет, то передайте по назначению Д. Бедному».

Но не вся переписка так празднична, благодарственна:

Бог на беду тебя талантом,
Скажу, прекрасным одарил,
А ты, зловещий, лютый фантом,
Ты как талант употребил?
. . . .

Ругают в прозе и стихах.

Одно время стали приходить копии пасквиля, который обывательская молва с легкостью приписывала Есенину, который уважал Демьяна и знал, как высоко тот ценит его талант.

...Ты совершил двойной, тяжелый грех!
Своим дешевым балаганным вздором
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И дивный свой талант покрыл позором...

Некий рифмоплет, в действительности сочинивший пасквиль, кичился «успехом», по-видимому не подозревая, что он лишь вторит белоэмигрантам.

Впрочем, даже из-за границы иногда приходят более благожелательные письма; одна эмигрантка просто призналась, что только на чужбине оценила лозунг «Мир — хижинам, война — дворцам!».

Из всей этой «канонады, смерча, потопа» выделяются еще две группы весьма своеобразных корреспондентов. Одна — образованные церковники, которые без ругани ведут с Демьяном дискуссии «на высоком уровне».

Он с удовольствием отвечает, поражая своей эрудированностью в вопросах религии. Другая может быть представлена письмом с 28 подписями — от заключенных:

«...В стенах советской тюрьмы, где окружающей обстановкой и внешними условиями дается широкая возможность к проявлению личности так называемого преступника, зреет и развивается ранее убитое человеческое «я», ища своего призва-

ния и стараясь осознать самого себя, тем самым внося в свою жизнь что-то новое, доселе для него неведомое и чуждое».

Посылая стихи, воры утверждают, что «...Ваш отклик в положительном смысле на наше письмо и посылаемые стихотворения не только укрепит заложенный фундамент для наших духовных начинаний, но и возродит в нас веру в человека и жизнь, пробудив здоровое ее понимание!!».

Демьян, конечно, не брезговал и ворами, хотя был случай и ему пострадать от них: в ГУМе за покупкой калош и разговором с приказчиками хватился — нет портфеля! А там рукопись, деньги. Пришел домой злой. Но в тот же вечер раздался телефонный звонок:

— Товарищ Демьян! Вы нас извините. Мы сами расстроены. Думали — нэпман, а обидели нашего брата — пролетарского поэта.

— Ладно. За нэпмана меня не раз принимали, — сказал Демьян. — Ближе к делу!

— Да вот, совесть замучила. Ведь у вас тут работа... да и книги. А на деньги вы плюньте. Дело наживное...

Тон разговора становился все более сердечным с обеих сторон. Кончилось тем, что Демьян, выяснив, что жулики еще молоды, стал допытываться, как они «дошли до жизни такой». Уговаривал прийти на квартиру, побеседовать. Гарантировал полную неприкосновенность. После очень сожалел, что не явились. Прислали рукопись и книги. Тоже почтой.

Совсем неплохо, что у него большая почта! Даже собственные стихи получает...

Глава VI

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ!»

Окна кабинета Демьяна Бедного смотрят в Александровский сад. Стены уставлены книжными шкафами, полками. Среди них же примощен диван. Возле стола, кроме рабочего кресла, несколько мягких, для друзей. Маленький столик для пишущей машинки. Корзина для бумаг.

С утра Демьян садится за работу. «Каждый день, каждый день!» — как он подчеркивает в стихих «О писательском труде». Без пропусков. Пишет, переписывает, рвет, бросает в корзину... Он не рассматривает этот процесс как нечто примечательное. Все неудачное — вон! Черновой труд Демьяна известен лишь домашним. В редакцию приходят аккурат-



В. И. Ленин, Д. Бедный и делегат Украины Ф. Панфилов на VIII съезде РКП(б). 1919 г.

Д. Бедный в Весьегонске. 1919 г.



Обложка первого издания «Коммунистической Марсельезы» Д. Бедного.

ДЕМЬЯН
БЕДНЫЙ

Обложка книги, подаренной Н. К. Крупской
и В. И. Ленину Д. Бедным.

Д. Бедный в своем кабинете. Двадцатые годы.

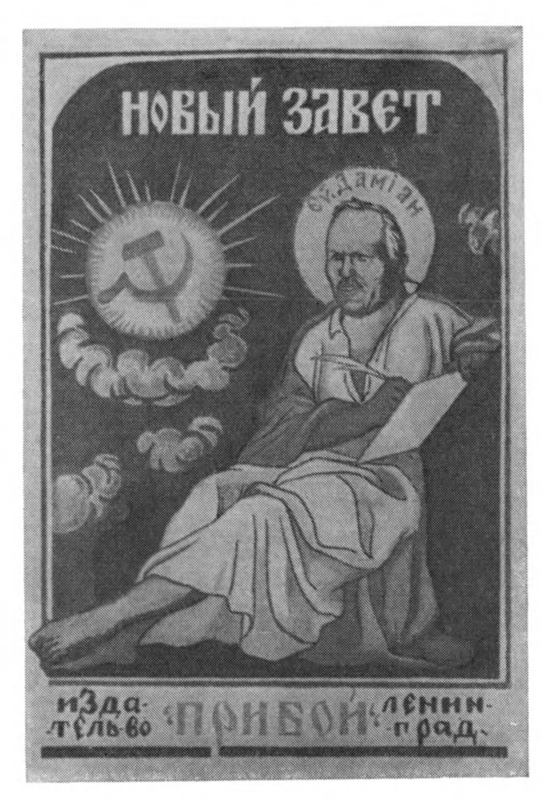


К. Е. Ворошилов и Д. Бедный. 1923 г.

Д. Бедный.

Д. Бедный.

Д. Бедный в колхозе, носящем его имя.



Обложка книги «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна».

Н. Н. Накоряков, член правления Госиздата, и Д. Бедный.





Д. Бедный. 1926 г.

М. И. Ульянова.



Дружеский шарж художника Дени.

Демьян Бедный.

„ПРАВДЕ“.

Одим из зачинателей твоих,
Тебе, глашатаю идеи необ'ятной,
Восторженный, приветственный мой стих
Я посвящаю с гордостью понятной.

Стихи, посвященные «Правде».



Дружеский шарж
художника Дени.

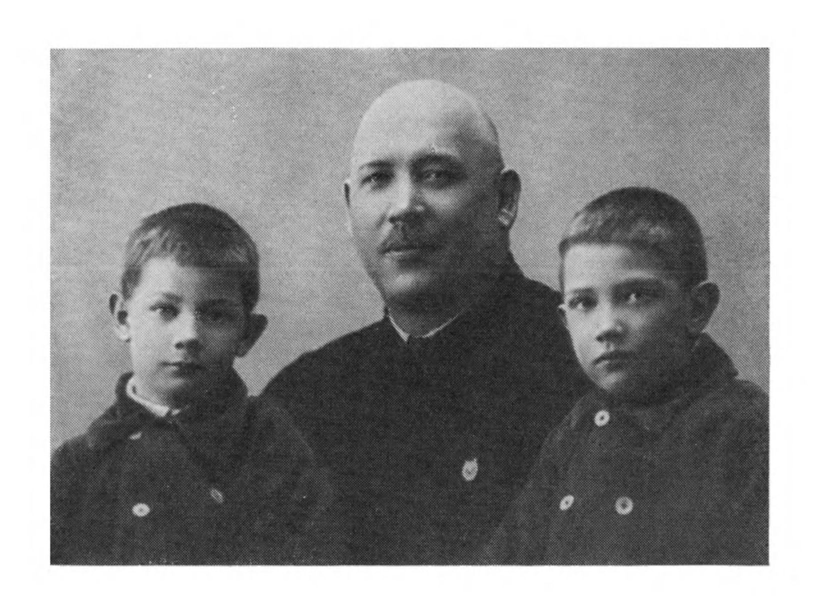


Д. Бедный в поездке.

Д. Бедный с семьей на даче в Мамонтовке.



Д. Бедный.



Д. Бедный с сыновьями.

Д. Бедный на совещании писателей. 1931 г.



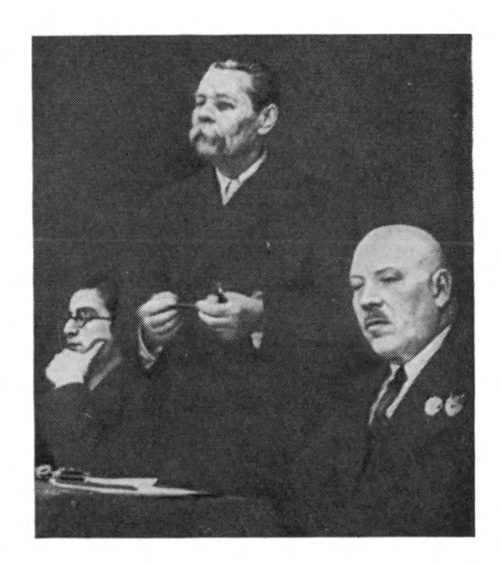
Демьян Бедный



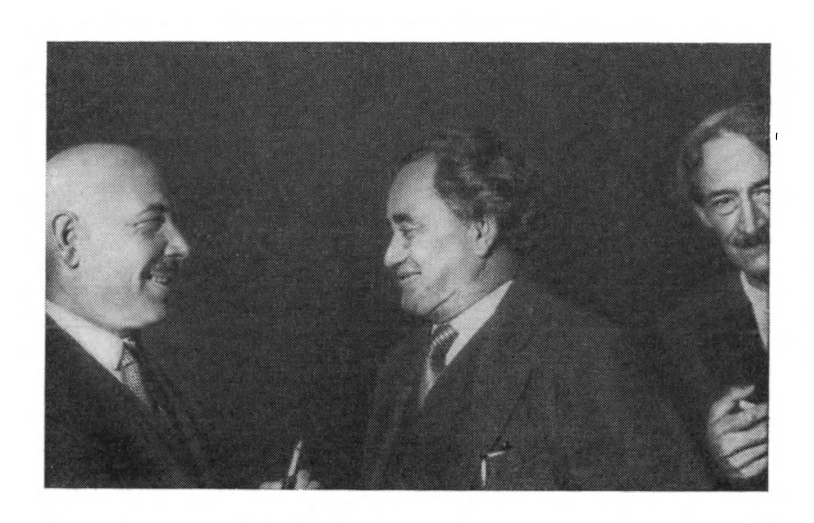
Д. Бедный с группой писателей в шахте на строительстве первой очереди Московского метро. 1933 г.



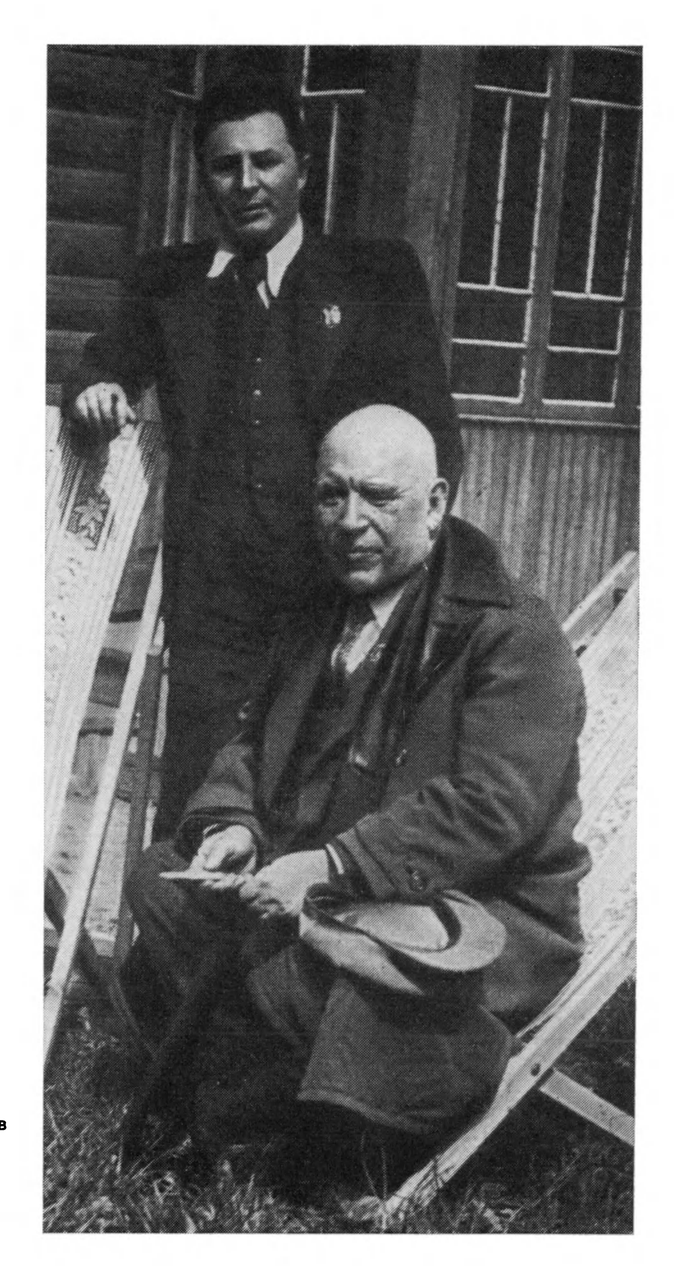
Дружеский шарж художника А. Гофмейстера



Мих. Кольцов, А. М. Горький и Д. Бедный на совещании художественной интеллигенции. 1935 г.



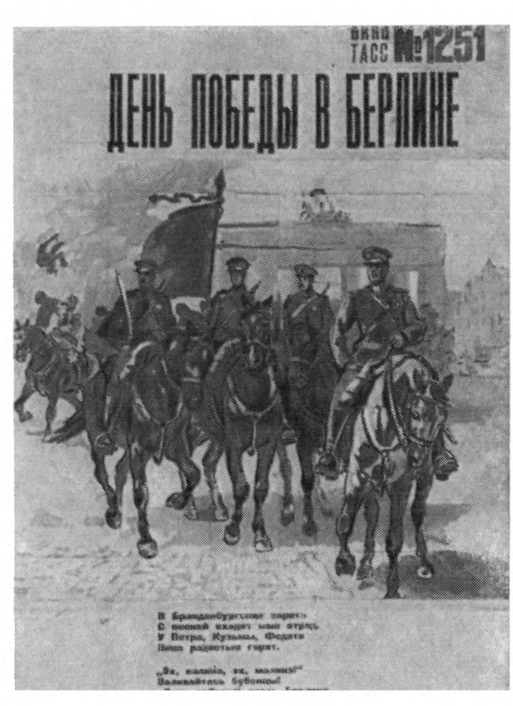
Д. Бедный, Г. Димитров и Анри Барбюс. 1934 г.



Александр Жаров
и Д. Бедный.



Один из последних портретов Д. Бедного.



Последнее «Окно ТАСС», № 1251. Стихи Д. Бедного, художник А. Пржецлавский.

нейшие рукописи. Ни помарочки. Ни пятнышка. А между тем первый экземпляр при абсолютно четком почерке Демьяна бывал крайне неразборчив: слова искажены, иногда недописаны; некоторые обозначены одной-двумя буквами — что-то вроде шифра, своеобразной «стенографии».

Демьян любит прозаизмы, древние народные раритеты, колкие словообразования. Играет этими словами, каламбурит, прибегает к неожиданному гротеску, переходам от серьезного к смешному, от важного к пустякам. Каждое сомнительное слово повернуто так и этак, попробовано на слух, сверено со словарями, обсуждено с... самим собой. И лишь тогда внесено в окончательный вариант либо брошено в корзину.

Чем проще стих, тем требовательней приходится быть к себе поэту. С обиходной речью нужна особенно большая работа. Самое, казалось бы, убогое словцо, умело обыгранное, вставленное в единственно подходящую ему оправу, начнет сверкать ярче изысканного. Это ювелирный труд. Демьян сердился на литераторов, считавших, что пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде» стоит ниже других созданий гения, и уверял, что народность этого гения отражена в «Сказке» в полной мере. Не играючись писано, как полагали неискушенные читатели «безыскусной» «Сказки». Далеко идут ее корни!..

Не так просто написать и обыкновенный «раешник», в чем Демьян, что называется, «собаку съел». О том, как труден этот «простенький» жанр, он пишет одному из попытавших в нем свои силы автору так:

«...Фельетон для «Правды» слаб, да и вообще слаб. «Метко» и «плетка» — не рифмы.

Размер «раешки» очень труден и лукав. Необходимо сначала утвердиться в канонических ритмах, а потом уже рисковать на вольный будто бы размер».

Чтобы сложить стих «попроще», Демьян часто углубляется в толщи истории, этнографии, глубокие слои русской народной речи. А потому на полках, на столе, даже иногда на соседнем подоконнике — тьма словарей и справочников. Здесь можно увидеть толковые. Орфографические. Стилистические. Синонимические. Корнесловы. Русские. Иностранные. Всевозможных форматов и изданий. Это одна из страстей Демьяна, цветы его книжного сада, любовно ухоженного, радующего глаз и постоянно пополняемого новыми, невиданными экземплярами. Действительно, некоторые из них, особенно старинные, способны произвести эстетическое впечатление даже на неискушенного человека: приятно подержать в руках кожаный, тис-

ненный золотом переплет. Демьяну знакомы «в лицо» целые страницы. Он знает, где что найти, и быстрота его обращения со словарями феноменальна: не «копается», а достает нужный том и нужное слово в мгновение ока.

Еще удивительнее его обращение с газетами. Если Демьян отсутствовал несколько дней, в кабинете вырастают не стопки, не пачки — горы. Вся центральная печать; когда появятся многотиражки — и они сюда придут. Провинциальные газеты — обязательно. И еще белогвардейские листки да несколько иностранных. Не всякий читатель поглотит такую уйму за несколько дней. А для Демьяна газеты — утренняя зарядка профессионального гимнаста. Над газетами он расправляет мускулы, набирает силы для ударов, укрепляет веру в свои идеалы, находит новые возможности борьбы за них. Встреча с грудами газет — праздник. Радость неизведанного путешествия. И работа — как всякий путь.

Он отправляется в этот путь вооруженным: карандаш, ножницы, клей, кисточка... Дело идет шумно. Над столом шуршат листы, взметываются, реют вокруг — ему нравится и этот шум. Жадно смотрит каждую полосу. Ценит не только что напечатано, но и как напечатано; как сверстано; каким шрифтом набрано. Работу выпускающего он считает художественной.

— Плохой выпускающий может убить материал, а может подать в лучшем виде, — утверждает Демьян, потому что сам знает игру разбивки шрифтов, их компактность, «глазастость», красоту и выразительность газетных шапок.

Однако и из самых невыразительных, неприглядных и утомительно однообразных полос Демьян с удовольствием вытащит интересные строчки. Ни безграмотность, ни слепые, непропечатанные тексты не испортят ему аппетита. Единственное попутное занятие — глубокие затяжки табачком. И еще — с некоторых пор — утоление жажды. В кабинете появился большой графин и стакан вместимостью с пивную кружку. Демьян на секунду отрывается от газеты или рукописи, чтобы не перелить воду через край.

...Жажда растет при удаче. От неудач; при срочных заказах. Из-за утомления. Демьян пока не задумывается над тем, что эта жажда означает. Не задумывается и над тем, что с годами все больше тучнеет. И молодой был «детина в шесть пудов весом». Перешагнул за сорок — писал: «Беда с моей грузной внешностью — только сел в трамвай, слышу смешок ехидный: «Хе-хе! Дяденька солидный!» Да что смешок! Поэт сущую правду сказал воришкам, стянувшим его портфель: его действительно принимали за буржуя, за нэпмана. Приехав в

Пермь в уже далеком двадцать первом году, он был схвачен на улице комсомольцами. Стоял холодный январский вечер. Молодежь таскала из Камы бревна для школы, больницы, типографии — и вдруг навстречу полный, хорошо одетый человек: шуба, шапка, валенки, да еще задирается.

— Пролетарий борется с топливным кризисом! — улыбкой приветствовал прохожий комсомольцев.

В ответ один из них вытащил из кармана наган и без дальних слов приказал:

— Берись за веревку и тащи с нами! А потом пойдешь в ЧК.

Ребята поддержали инициативу. Сразу видно, что беглый буржуй!

— Пусть поработает, а после отправим куда надо.

«Беглый буржуй» впрягся в лямку и потянул бревна в типографию на окраину города. Ему повезло: на середине пути встретился врач, попросивший дать топливо прежде Александровской больнице, что была поближе. Туда как раз только привезли раненых...

Только когда комсомолия привела «этого типа» в ЧК с просьбой проверить документы и они были предъявлены, ребята пораскрывали рты. На стене ЧК висел плакат Демьяна Бедного, а он стоял перед ним, скинув шубу и шапку: «В помещении было холодно, а с него шел пар...» — рассказывали участники этой операции.

Извинений Демьян не принял. Посмеялся и спросил: «Нет ли одежды полегче? В типографию-то надо бревна оттащить?» Еще бы! Печатался первый номер комсомольской газеты «На смену!». В шесть часов утра со свежим номером газеты Демьян вместе с ребятами покинул типографию.

Еще через два года, когда поэт гостил на Балтфлоте, ему надумали шить робу. Портные намучились. Еле выкроили из двух больших одну для почетного моряка. А теперь? Прошли еще годы, и после признаний: «И я был юношей, теперь — гиппопотам...» — последовали еще менее лестные самохарактеристики. Он видит себя уже «асимметричным бегемотом». Что удивительного? Сытно поесть никогда не отказчик, и всегда готов в этом признаться. Вообще Демьян не стеснялся рассказывать о себе. Он пользовался собою как зеркалом, в котором отражалось то, что могло иметь общий интерес, но благодаря такому «отражению» приобретало необыкновенную, чисто житейскую яркость.

Не закрыты перед читателем и двери его собственного дома. Демьян давно представил свою семью. Когда-то «вдохно-

вленный» входящими в быт сокращениями, среди которых были такие великолепные образчики, как «Всечеквалап» (Всероссийская комиссия по валенкам и лаптям) или не расшифрованное им «Калковпехкраскур», поэт сообщил: «Я в новый стиль вхожу... и тещу я зову «товарищ запипу» (заведующая питательным пунктом)... «Семья моя — «колхоз», столовая — «компрод»... и многочисленный колхозный мой народ за стол садится коллективно».

Не закрывает он за собой и всех других дверей, куда ни пойдет. Явился в редакцию и слышит... пусть слышит и читатель!

«Друг — Демьян, войди в границы!
Снова стих на три страницы!
Покороче, брат, нельзя ли?»
Мне в редакции сказали:
«Ты б — на прежнюю дорожку:
Обо всем бы понемножку,
С сердцем,
С перцем,
Метко,
Едко,
Как писал ты, брат, нередко
В боевую нашу пору...
...Звонко пели стрелы-строки
И впивались, словно осы,
В злободневные вопросы!»
И ответил я уныло:
«Это — было...»

Отчего не признаться в неудаче? Зато он не постесняется и похвалиться. Не обязательно собой. Вообще — всякой удачей. Например, таким счастьем, как «поимка» единственного экземпляра старой книги:

Книжка оказалась редчайшим явлением.
Сомневались даже в бытии ее таинственном.
Обреталась она в экземпляре единственном.
Я поймал за хвост эту редкую птицу.
— Дорогонько мне эта поимка досталась! —
Когда птица уже улететь собралась
За границу!
За сто монет!
За сто монет!
Торгаши советские ее продавали!
Умно ли это?
Нет!
Культурно ли?
Нет!

Речь идет о впервые изданном в России при Петре I Эзопе, и Демьян не может успокоиться: «...заграничный книжный агент загребет нашу книжную редкость в момент... Глядь, наш культурный фонд под ударом: за границу уходит не игральная кость, не аршинный чубук, не точеная фига... редчайшая книга, драгоценная книга, шаткий мостик — но мостик! — от веры к уму!» Со всей библиофильской страстью поэт напускается на Наркомпрос, Наркомфин, на главную московскую библиотеку, называвшуюся еще тогда Румянцевской:

Нам иной
Стариной
— Да еще как живем мы не очень зажиточно —
Пренебрегать даже очень убыточно.
Нас гнетут темнота и нужда,
Мы не вышли еще из культурного детства.
И поистине только тупая балда
Может брякнуть, что мы отреклись навсегда
От всего, от хорошего даже, наследства.

Стихи названы: «Трудно с этим мириться».

А вот удача, как будто ничем не омраченная: в старой книге случайно обнаружены неизвестные строки Некрасова! Немедленно поздравить всех, всех, всех!.. Лишь после оказалось, что произошла ошибка...

Конечно, не каждая радость и огорчения библиофильства доводятся до общего сведения. Значительная часть остается в кругу друзей и становится известна благодаря им. Сохранилось письмо к старому ленинградскому книжнику — Шилову, в котором Демьян запрашивает, не попадался ли ему перевод с французского 1789 года — «Описание вши», и попутно делится радостью: «Вчера приобрел за три рубля «Позорище странных и смешных обрядов», очень хороший экземпляр. Для моей библиотеки взял я потому, что на нем оказалась собственноручная отметка владельца книги. Кого бы Вы думали? Кондрата Рылеева! Декабриста! Вот что он читал... Поглядывайте, Федор Григорьевич, на надписи, попадется еще Рылеев — возьму. Но это очень редкий случай».

Занятной историей поделился артист Смирнов-Сокольский, собравший уникальную библиотеку и написавший интереснейшую книгу — «Рассказы о книгах». Познакомился артист с поэтом еще на фронте, а потом делал первые шаги в книжном

собирательстве под руководством Демьяна. Пришел как-то вечером посоветоваться: стоит ли купить прижизненное издание Радищева? «Житие Ушакова»? Пожаловался, что дорого просят, а ведь все же — это не знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву»!

Штурман Смирнова-Сокольского в плавании по книжным морям не дал никакого ответа, а тот не обратил внимания, что разговор скользнул в сторону...

На следующее утро Демьян с восьми утра дежурил возле названного Сокольским магазина...

— Помилуйте! — пробовал укорять поэта артист, за ночь все же надумавший взять книгу.

И получил ответ:

— Может быть, это некрасиво и неэтично — пожалуйста! Но собиратель, который смеет советоваться, взять или не взять ему такую книгу, не имеет права обладать ею! Можно не знать многого, но не знать, что каждое прижизненное издание Радищева — золото, — это значит не знать ничего! Собирай марки! Коллекционируй подштанники великих людей, но не смей думать о книгах!

Рассказ Смирнова-Сокольского интересен и дальше. Через несколько лет к нему раздался звонок:

— Слушай, «знаменитый библиофил», нет ли у тебя случайно книжки «Фемида» тысяча восемьсот двадцать седьмого года?

Я затаил дыхание. Как?.. Я видел эту книгу у самого Демьяна на полках, а он ее разыскивает? Он, считающий незнание книг собственной библиотеки самым смертным грехом на земле? Ну, сейчас грянет бой!..

Дипломатично ответил, что сию минуту приеду. Приехал с вопросом:

— А разве у вас, Ефим Алексеевич, нет этой книги?

— Да нет, понимаешь ли. Ищу ее лет десять — ну, не попадается, да и только! Книжка-то чепуховая, а вот нужна. У тебя-то она есть?

— У меня, Ефим Алексеевич, ее нет, но у одного моего знакомого собирателя она имеется. Собиратель, правда, чудной: книг насобрал уйму и даже не знает, какие у него есть, каких нет...

— Кто это безграмотное чудовище?

— Да вы его знаете, Ефим Алексеевич! Это известный поэт Демьян Бедный. Книга у него дома, в четвертом шкафу, на второй полке, а он, видите ли, ее десять лет у других разыскивает...

Пауза была тяжелая, как камень. Демьян молча открыл несгораемый шкаф, в котором у него хранились наиболее редкие книги, достал радищевское «Житие Ушакова», сел за стол, раскрыл книгу и, вынув самопишущее перо, все еще молча, написал на обратной стороне переплета:

«Уступаю Смирнову-Сокольскому с кровью сердца! Демьян Бедный». Он уступил с «кровью сердца» то, что ему досталось без всякого труда! Всего лишь изменил утренний распорядок. Но разве это жертва для человека, который мог проехать и триста и шестьсот километров оттого, что прослышал: где-то в глуши вынырнули, продаются редкие книги!

Если Демьян возвращался с «охоты» довольный — звонил «полный сбор». Друзья созывались, как на пир. Один из них рассказывает:

«...открывается оргия жадных перелистываний, неистовая алчба читания, а Демьян со следами пыли на лбу, взяв драгоценный томик и ревниво накрыв его ладонью, рокочет львиным своим басом: «Вот тут скрыт замечательный оборот для одной моей темы...»

...«Одной моей темы»! Их было едва ли не больше, чем книг на загруженных до потолка полках. В предисловии к начатому в 1925 году изданию Собрания сочинений Демьяна беглое перечисление тем одной лишь дореволюционной поры занимает шестнадцать строк. Через два года Демьян пополнил список таким перечнем:

«О хлебозаготовках, о подпольных антипартийных листовках, о борьбе за культуру, о пьяницах, пьющих все, даже политуру, о поповском дурмане, о нэпманском кармане, о торговом секторе, о фининспекторе, о госплане, об индустриализации, о московской канализации, о косности мужика, о твердом знаке, о коверканье русского языка, о языколомном «кромекаке», об автомобилях и о волах, о китайских делах, о Чемберлене и ему подобных, о русских белогвардейцах злобных».

Поистине, как сказано в начале этого перечня, «Будь я о семи головах, и тех оказалось бы мало...», чтобы создать ту энциклопедию начальной советской поры, какая с живостью глядит со страниц собрания его сочинений. Еще через год Демьян подновит список: «Электрификация, тракторизация, индустриализация, программы, планы, сметы, перевыборы в Советы, просчеты, недочеты, искажения, дискуссионные сражения, а вообще — достижения!»

По своей привычке поэт старается проникнуть всюду. Пишет много, «каждый день, каждый день», хотя то и дело сознается, вздыхает: постарел! Часто оглядывается назад, вспо-

минает года молодые... Вот уже и «Правде» пятнадцать лет:

Да, вспомнить есть о чем и есть чем похвалиться.
В каких превратностях прошли пятнадцать лет!
Какие крепости успели развалиться!
Каких людей уж больше нет!

Демьян говорит о том, что «Воспоминания острей, и глубока печаль о выбывших героях славной были» — ведь нет в живых Фрунзе, Дзержинского... Но поэт подбадривает себя: «На свитках памяти моей — нет, нет! — пока не наросло еще архивной пыли!»

Уж какая «архивная пыль», когда: «Скворцов-Степанов мне звонит, Иван Иваныч мне бубнит, редактор-друг меня торопит».

В то же время с удачами начали чередоваться неудачи. Иногда срочно написанное оказывалось лучше сделанного без поспешности. Может быть, потому, что жизнь этого своеобразного поэта сложилась в газетном бою, душа его навсегда осталась отданной газете. Демьян остро чувствовал пульс газетной работы, любил свою зависимость от нее, как и самую стихию торопливости.

Друг Демьяна профессор Александр Владимирович Ефремин оставил буквально хронометрическую запись о том, как был написан фельетон «Мистеру Чемберлену мед заместо хрену», который вызвал бурю смеха, тьму восторженных писем:

«Нота британского правительства от 23 февраля 1927 года была получена в редакции «Известий» 24-го. В три часа пополудни этого дня редактор позвонил Демьяну, сообщил ему о ноте и спросил, будет ли фельетон. Демьян Бедный попросил прислать ему ноту. В пять часов пятнадцать минут сел работать. Написал 4 страницы и, найдя их слабыми, уничтожил. Лег спать. Проснулся в 7 часов вечера, освежил голову под холодным краном и снова сел писать. Через полтора часа, в 8 часов 30 минут, фельетон был закончен и срочно сдан в набор, а утром 25 февраля вся Москва уже восхищалась, почитатели звонили в редакцию».

Между тем давно Демьян получил «строгий докторский наказ», и с каждым годом эти наказы становились все строже. Поэт сознавался между делом читателю, что «одолели всякие хворости» и «нету у конька былой скорости»; «Эхма! Был конь — не знал ремонта, а нынче, что ни год — ремонт!»: «А на душе до чего порой отвратно! Ушла моя молодость безвозвратно!.. Одначе, садись, ребята, в мою тележку. Уж как-нибудь да подвезу!» — шутит Демьян, обращаясь к

молодежи. Шутит, но чем дальше, тем яснее понимает, что у молодежи:

...Своя весна, свои живые соловьи,
Своя любовь, свои восторженные вздохи.
Всему есть свой предел, своя пора.
Безжалостно права родная детвора —
Творцы грядущего — могильщики былого.
Живым — живое слово!

И Демьян живет в вечной погоне за живым словом. В вечных поездках: «Как охотник за редким зверем иль птицей, которые не бродят под самой столицей, стремлюсь я «в глушь» за своею добычей:

где — подметишь нелепый обычай,
где — упрешься в бюрократическую стену,
где — нарвешься на дикую сцену,
где — умилишься светлым явлением,
где — поразишься преступлением,
где — обогатишься неслыханным словцом,
где — столкнешься с интересным лицом».

Требовательно спрашивает поэт накануне юбилея Октября: «Десятилетье» у двора, а все ль красно — не надо краше?» Много работает в юбилейном году. Праздник праздником, а Демьян предупреждает: «Есть — незачем таить — у нас одна черта: мы агитировать горазды... Агитка! Долго ли нам превратить ее в особый род советской пытки? Из необычных наших зол всех злей — крикливый пересол». Замечая, что он и сам мастер агитки, Демьян, однако, говорит:

Попы — и те звонят в положенные дни,
Наш красный агитзвон хорош — но до предела.
Не Ильича ль завет: «Поменьше — трескотни,
Побольше — дела!»

Об Ильиче — ни о ком другом — Демьян говорит постоянно. Для этого ему не нужно повода. Иногда внесет в заголовок название ленинской статьи — «Лучше меньше, да лучше», иногда использует даже такую тему, как изъятие некоторых «опасных» книг за границей: «На книгах Ленина там власти так ожглись, что в страхе дуют... на Мольера!»

И еще одна тема трогает всегда Демьяна. В праздник и в будни. Без особого повода. Вот случай, находка:

День был удачный такой.
На шумной Тверской

«У Елисеева»
(Магазин. Знают все его.
В ярких окнах жратва и питье)
Я нашел записную книжку ее,
Героини моей неожиданной, новой,
Маруси Петровой.

Любовно рассмотрел свою находку Демьян. Ему рисуется портрет замечательной девушки, комсомолки. (Адрес: Мертвый, 10, комната 3. Райком.) Полудетским почерком (попалась и ошибочка) переписаны стихи. Составлен список книг, что надо прочесть: «Вот что читает Маруся Петрова. Пища здорова?» Здесь же конспект по изучению винтовки. Список частей оканчивается деталью: боевой выбрасыватель. Эта деталь и дает название стихотворению, хотя... «главное, что Маруся Петрова детски мила (книжечку с зеркальцем приобрела!), но идейно сурова». И Демьян завершает стихи:

Ранним вечером марта второго,
Умиленный до слез,
Ее имя впервые я произнес:
Маруся Петрова!
— Маруся, при всех тебе отдаю
«Записную книжку» твою!

Стихотворение сопровождала сноска: «Книжку можно получить обратно в редакции «Правды», у М. И. Ульяновой».

Но все-таки значительных произведений, ярких удач стало меньше. И тому есть, помимо прочих, серьезная причина: Демьян давно болен. Обнаружено, наконец, почему его одолевает жажда, чрезмерная полнота. Диагностирован диабет в тучной форме.

Теперь часто стихи пишутся не дома — на лечении. Крым или Сочи вызывают одну оценку: «...хорошо здесь, безусловно, но я не люблю скучать». В то же время Демьян сознается, что «...сдал против прошлого года», что голова — особенно в первые дни — «как не своя». Вот «написал пять шутливых стихотворений-писем — Сталину, Бухарину, Марье Ильиничне. Скворцову и Шибанову — и уже устал». На стихи, как он сообщает, «тянет», но он «остерегается втягиваться в серьезную работу, чтобы не повредить лечению». (Одно хорошо. На обратном пути можно заехать на Днепрострой, задержаться в Харькове.) А результаты лечения пока незначительны.

Осенью 1928 года Демьяна впервые отправляют в «капитальный ремонт» — в Германию. Там большой опыт борь-

26/VII 29

Погода сразу изменилась после зноя — дожди, прохлада. Можно бы и работать, но — я плохо здесь владею .. русским языком. Мне нужно купаться в стихии языка, чтобы легко писать. Здесь же все время немецкая речь лезет в голову. Так тому и быть. Еще две-три недели буду онемечиваться.

Письмо Д. Бедного из Германии.

бы с этой болезнью. В 1929 году — вторично, и на более длительный срок.

От этих поездок сохранилось несколько писем, до сих пор не опубликованных; они позволят кое-что узнать о том, как чувствовал себя поэт вдали от Родины.

В общем оценка немецкому курорту дана такая же, как и домашнему; бездельная жизнь этому человеку никак не по нутру. «...Никаких хлопот! Почитал, поспал, погулял, почитал, заснул, проснулся — и опять то же...» Настроение делается «райским», как только он «предается сладким мечтам», вычисляя день возвращения. Иногда намекает, что «подумаю, подумаю, да и...» — ставит многоточие, из которого явствует, что очень хочет сбежать раньше срока.

А ведь он не на больничном режиме: ходит по книжным лавкам, по городу. Гуляет в так называемом «Пальмовом саду». Много читает, в том числе и свои, родные газеты. Но что проку, если нельзя откликнуться, вмешаться?

«...В «Пальменхартене»... все — то же, на том же месте, и даже скворец знакомый, черный, жирный, по траве прохаживается и говорит: «Гутен абенд!..» Поскучал я — и домой!».

По всему видно, что на чужбине ему очень тоскливо. Тоскливо настолько, что даже обижается: почему дети не пишут? «Я могу обидеться на такое пренебрежение ко мне... Замуж вы там, что ли, все вышли? Ну, так сыновья неженатые могут две строчки написать: «Папа, здравствуй, как твое здоровье? До свидания!..»

«...В десятом часу утра сегодня пошел я туда, где открытие съезда Антиимпериалистической лиги...

Прослушал я выступление китайца. Хорошо говорил. А переводил его другой китаец на немецкий еще лучше. Наш оратор был средний, что называется. А переводить его кто-то начал так, что я с досады плюнул и ушел.

Заметь, ни много ни мало пройдет времени, года три, — и уламывать меня будут, чтобы я в Германию ехал на тот или другой съезд, потому что говорить я буду не по-русски, а по-немецки, и уж говорить буду... Весь зал у меня будет по полу кататься. По ораторской части мы, несомненно, опередили немцев здорово. А при моей манере говорить...

Словом, поживем — увидим.

Меня просто забавляет эта возможность — ораторствовать по-немецки. У каждого свои странности. Пусть это будет моей странностью, моим чудачеством. Поучительным для многих.

Сокращаю я тоскливые минуты обильным чтением. Запоем читаю. И чертовски хочется писать. И наверное, уже засел бы, будь у меня пишущая машинка. Надо было взять свою, не велика тяжесть. Дурак я, что не взял... В самом деле, как же это я буду без машинки?

...Никому ни одной строчки не писал отсюда. Пускай никто не обижается. Будь машинка — другое дело. А так — не люблю писать, устает рука, мысли рассеиваются... Почерк мой стал прескверным, и трудно мне писать. Привык машинкой орудовать».

И все-таки он сел работать. Тут-то оказалось, что дело вовсе не в пишущей машинке!.. «Ничего, ничего не получается!» — писал он когда-то в отчаянии с фронта империалистической войны. Но тогда он сравнительно легко оседлал своего конька, и работа пошла, да весьма успешно. Теперь это не удалось. Демьян сделал неожиданное для самого себя открытие, притом принципиальное, способное пролить свет на неудачи некоторых русских писателей, оказавшихся в эмиграции:

«Можно бы и работать, но я плохо здесь владею... русским языком. Мне нужно купаться в стихии языка, чтобы легко писать».

К его величайшей досаде, как раз в это время немецкие газеты сообщили о советско-китайском конфликте на КВЖД: «Вы там... без меня развоевались с Китаем. Ну, ну! Хорошенькие темки остались без моего рукоприкладства!

Кое-кто, пожалуй, из неосведомленных людей удивится: что же это сякой-растакой я то есть ни словечком не отозвался. И нетрудно будет догадаться, что меня нетути, что я очень далеко».

Из этого же написанного 19 июля 1929 года письма ясно, что жена поэта должна была побывать по его делам у Сталина, так как далее Демьян пишет:

«Предполагаю, что в этой суматохе хозяину было не до тебя. Но он, конечно, 20-го никуда не уедет, до разрешения конфликта; пройдет время, и ты еще успеешь сунуться к нему... Но учти, что дела мои узкие-преузкие... Подумай лучше 10 раз, стоит ли вообще в такую пору свои личные интересы ставить на одну доску с другими».

Наконец тягостное, почти полугодовое лечение в Германии закончено. Уже осень. Домой, домой!..

Год скоро кончается. Было написано немало. Но надо наверстать упущенное. И когда приходит просьба от командования Особой дальневосточной армии о создании песни о ее победе, Демьян наверстывает. Как в прежнюю пору, задорная песня «Нас побить, побить хотели» облетает все концы страны, звучит на праздниках и демонстрациях. Есть еще у Демьяна Бедного порох в пороховницах!

Глава VII

«КАКОВ УЖ ЕСТЬ...»

Уже старо признание Демьяна: «Вот, братцы, я, каков уж есть, мужик и сверху и с изнанки, с родным отцом беседу весть я не могу без перебранки». Старо, но неизменно.

Быть в приятельских отношениях с Демьяном очень не просто. Для людей, не обладающих чувством юмора, даже невозможно. Удивительная черта ясно обозначена в его характере: чем ближе к Демьяну человек, тем больше насмешек ему достается. Колючий с близкими и ласковый, не дающий в обиду десятки неизвестных ему миллионов.

Речь Демьяна была так остра, так насыщена неожиданными словообразованиями, сногсшибательными экспромтами, что не случайно почти никто из вспоминающих поэта не приводит

его текстов. Дают лишь односложные характеристики: «Удивительно! Не слова — выстрелы. Несравненный импровизатор!..»

При этом Демьян особенно ценил партнеров, что за словом в карман не лезли и хорошо «отстреливались». Не всем это было по зубам. Отсюда дружба с «зубастыми» людьми своего времени: «крокодильцами», которые однажды летом даже сняли «семейно-редакционную» дачу поблизости к демьяновской; журналистами — и особенно с блистательным Михаилом Кольцовым, с которым сближало творческое кредо Кольцова:

«Я пишу не для себя. Мне холодно и одиноко в высоких башнях из слоновой кости, на гриппозных сквозняках мировой скорби. Я чувствую себя легко у людского жилья, там, где народ, где слышны голоса, где пахнет дымом очагов, где строят, борются и любят. Я себя чувствую всегда на службе. Отличное чувство...» Вот таких, истинно боевых журналистов Демьян любил за то, что делают одно с ним дело и умеют ему же «вилы в бок» всадить.

Все они любили и умели хорошо посмеяться. Они и «здравствуйте» друг другу не говорили без шутки. А Демьян выносил такую систему приветствия далеко за редакционные круги: народному комиссару здравоохранения он, конечно, пожелает «наркомздравия»; строгого не менее Землячки Сольца встретит чем-то вроде арпеджио: «До-ми-Сольц-си!»; ходатайство о благоустройстве железнодорожных рабочих начнет: «Ваше Эн-Ка-Пэ-Эсие!» Редактор Стеклов уже не работает в редакции? Ну что ж: как там «стеклят» другие лица? О другой газете заметит: «Пресновата и скучновата: стерилизованная вата!» Повстречается приятель, ведавший агитацией и пропагандой, Демьян тут же отпалит: «По улицам ходила Агит-про-паган-дила!» (В адрес Плеханова поэт раньше писал: «Ты наш великий пропагатор! Ты — социал наш демократор...»)

Доставалось от него поистине своим, чужим, да и самому себе. Эпиграммы на Горького, Шаляпина, поименно наркому земледелия и наркому просвещения, покусывал дружески Маяковского. А уж что Демьян вытворял с одной только фамилией Бонч-Бруевич, никто не упомнил. Друг его, оказывается, когда-то «набончил» Ильичу; в каком-то случае «сбончил»; и не разговаривает всеми уважаемый Владимир Дмитриевич, а просто «бончит»... Даже из трудно поддающейся трансформации второй половины этой фамилии Демьян, вспомнив, какие операции проводились в «Жизни и знании», умудрился извлечь вариант: «Буржуевич». Извольте!

Однажды приятель, оказавшийся свидетелем демьяновской «пальбы» по человеку, не обладающему чувством юмора, заме-

тил, что иногда не мешает попридержать язык. Припомнил стихи Гейне:

Филистеров — этот народ
Тупой, узколобый, тяжелый —
Не след никогда задевать,
Хотя бы и шуткой веселой...

— За такое цитирование, — ответил Демьян, — на хорошем партсобрании могут крепко поколотить! — Ответил так, потому что знал и любил Гейне, читал его, как и Гёте, в подлиннике, а главное — оттого, что понимал, с какими людьми имеет дело. Продолжение же строк Гейне гласило:

Но те, у которых в душе
Есть много и шири и света,
Под шуткой откроют всегда
Слова и любви и привета.

И верно. Много шири и света было в душах большевиков ленинской гвардии; и многие из них, подобно Ленину, были выше скромности и выше гордости, как сказал про самого Ильича Демьян. На него не обижались. Луначарский, которого поэт особенно часто «гвоздил» за наркомпросовские дела, за пьесы, за все, что было Демьяну не по вкусу (а был случай даже эпиграммы злой и, по существу, несправедливой), — Луначарский после всех этих нападок в своем выступлении дал блестящую характеристику поэту, отметив его «партийность, безукоризненную, как стремление...».

Были случаи, когда необдуманно пущенная сатирическая стрела приносила вред. На совести Демьяна — беспощадный «разнос» талантливого фильма режиссера Довженко. Но не все знают, что в числе объектов сатиры Демьяна Бедного не последнее место занимал он сам.

Он рассказывал читателю все сплетни, какие о нем ходили. Вот в конце стихотворения «Кому до чего, а обывательской куме до всего»:

...Да что! Я про себя слыхал намедни сам,
Что будто съездил я кому-то по усам,
За что, дескать, мне язык пришили пломбой,
А я, освирепев, по улицам брожу,
За кем-то день и ночь слежу
Не как-нибудь: с пятипудовой бомбой.

От него же читатель узнает слухи, что о нем распространяют заядлые враги — разгромленные оппозиционеры, а за ними и белогвардейская печать:

И не большевистские-то у меня убеждения,
И не крестьянского-то я происхождения
(«Извольте рассмотреть его:
Двойник Александра Третьего»),
И ум-то у меня с большой дуринкою,
И живу-то я не с женой, а с балеринкою,
И вечно пьян, и беспрерывно кучу,
И никаких повинностей знать не хочу,
И надо всеми, кто мне не по нраву,
Учиняю административную расправу,
И кого угодно крою матовым словцом,
Мне ж никто не смей и словечка!

Поэт не ограничивается тем, что передает рассказы врагов Он способен сам наговорить о себе такое, что и враги не придумают. Демьян — незаурядный мистификатор. Тут у него немало общего со Свифтом, а еще больше — с Крыловым.

На лучшем портрете великого баснописца переданы все черты холодного равнодушия, пессимистического покоя. Это полностью совпадает с воспоминаниями Тургенева: «Нельзя было понять, что он — слушает ли и на ус себе мотает или просто так «существует»?» — поражался Тургенев, отмечая, что «...на этом обширном, прямо русском лице видны... только ума палата да заматерелая лень».

Конечно, по этой характеристике нет ничего общего с Демьяном Бедным, кроме «обширного, чисто русского лица». Странно только, что Тургенев и иные знакомцы Крылова, много раз говорившие о его лени, о сонливости, проявляемой даже в обществе, не сопоставили эти свойства с тем, как была прожита его жизнь, какая участь выпала на его творческую долю. Если Крылов даже и засыпал в обществе, то разве окружающим не было известно, что лукавейший из хитрецов — Талейран — заснул во время чтения направленной против него эпиграммы?

Но друзья Крылова не подозревали его в лукавстве. Они, видно, считали его «открытым ларчиком». Один лишь Пушкин сказал: «Мы не знаем, что такое Крылов»; а Батюшков отозвался: «Этот человек — загадка, и великая!»

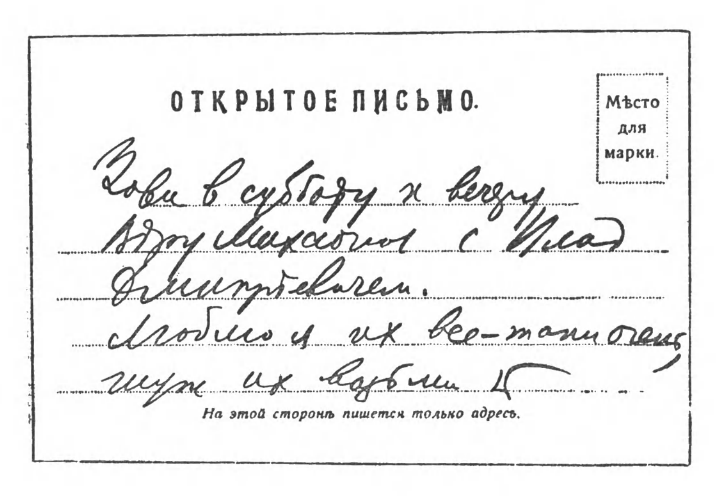
В судьбах Крылова и его ученика, «почтительного и скромного», как называл себя Демьян Бедный, нет ничего общего. А в характерах? Крылов был великим мистификатором Возводил на себя всяческую напраслину. Если он делал это в силу необходимости, то Демьянов всегда будто бы открытый «ларчик» тоже имел свои секреты. Почему-то не было такой нелестной версии, которую бы он не поддержал, а иногда и сам распространял о себе.

Независимо, в кругу ли семьи, на встрече ли с читателями, в разговоре ли с другом, Демьян любил озоровать с самым серьезным видом. Если жена укорит, будто он за кем-то ухаживает, ни за что не отопрется. Если старшие дочки спорят о правах старшинства, отец удивится: «О чем это вы? Обе — не старшие. Моя первая дочь в Киеве. Народная артистка!..» — И назовет известное имя певицы, которую отродясь не видал и даже не знает, подойдет ли она ему в дочери по возрасту.

Побывал где-то в гостях. Наутро хозяин звонит по телефону. То, се. И между прочим: «Можете себе представить, Ефим Алексеевич, у меня вчера украли серебряные вилки!» — «Это я!» — без промедления «сознается» Демьян.

Заместителя редактора одной газеты Демьян убедил, что он — незаконный сын великого князя Константина и графини Клейнмихель. Сообщил подробности. В Лондонском банке, видите ли, на его имя лежат миллионы; другим он плел, что князь увлекся на охоте его красавицей матерью Екатериной Кузьминичной. Даже на встрече с краснофлотцами в ответ на вопрос, настоящая ли фамилия Бедный, он сообщил подлинную, с добавлением: «Я из царской челяди...» Только корреспонденты заметили, что глаза его при этом смеялись. Но никто, начиная от жены и кончая корреспондентами, не знал, почему Демьян вытворяет все это.

Кажется, он решительно ничего не стеснялся, кроме... своих потаенных лирических чувств. Не уходит ли это свойство


ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

Мѣсто для марки.

Зови в субботу к вечеру
[illegible] Михайлов[illegible] с [illegible]
Дмитриевичем.
Люблю я их все-таки очень,
шум их [illegible] Е.

На этой сторонѣ пишется только адресъ.

Записка Д. Бедного жене.

корнями в ту самую старую мужицкую среду, о кровной связанности с которой он так часто говорил? Деревенская целомудренность, суровость, заставляющая тщательно скрывать в первую очередь свои сердечные привязанности, часто видна в случайных записках Демьяна, в стихах, выступлениях. Если начать с малого, то вот что гласит старая записка жене: зови, мол, Бонч-Бруевичей. «Люблю я их все-таки очень, шут их возьми!» Демьян позаботился о том, чтобы даже перед женой прикрыть чем-то мимолетное признание в любви к друзьям. Если поэт хочет сказать доброе слово красной коннице, и делает это не в торжественном гимне, попросту, то хвалит таким образом: «...Черт ли за ней угонится?»

Даже нежность его грубовата. Но бывали времена, когда шутки Демьяна именно этим свойством вызывали разрядку, помогали преодолеть грусть, озабоченность. Так было однажды еще в «пшенный» период столовой Совнаркома. Вошел основатель Итальянской компартии Антонио Грамши. Больной, истощенный, он поразил своей худобой всех, тоже истощенных, совнаркомовцев. Демьян увидел тревогу на лицах друзей и моментально «сработал»: «Бедняжка Грамши, три дня не жрамши!» Ничего, мол, пообедает день-другой кряду — и все в порядке...

Не ахти какой экспромт, и говорить бы о нем не стоило, если бы буквально не дорога была бы подобная «ложка к обеду». Грамши объяснили суть. Он расхохотался, и весь обед прошел на редкость оживленно.

Зато когда Демьян Бедный выступал публично, обращался к людям не по-домашнему, а внутренне мобилизованным, не изменяя, однако, привычке шутить — это были искрометные, неповторимые речи. Особенно хороши они были именно в тяжелую пору, когда надо было поддержать, поднять настроение, сблизиться на короткую ногу с массой за каких-нибудь полчаса.

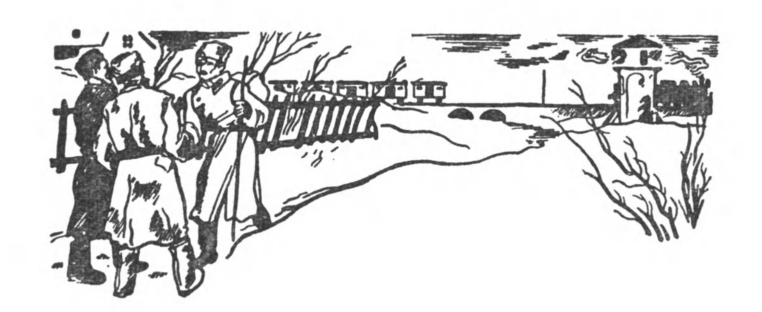
Стенограммы тогда не велись. И сохранился лишь один-единственный рассказ самого Демьяна Бедного о его собственном выступлении, написанный лишь потому, что оно было связано с Лениным:

«...Под новый — 1920 год — я выступал на праздничном собрании в Бауманском районе. Речь моя была о Ленине, выступавшем передо мной и уехавшем в Рогожско-Симоновский район. Характеристика Ленина была построена мною празднично, весело, юмористически, с легким — любовным, восторженным, правда, — но все же шаржированием «хитрющего старика».

Аудитория покатывалась со смеху. Возможно, она примети-

ла то, чего я не приметил, а именно: что Ильич еще не уехал, стоит, набросив на плечи пальто, у выхода, слушает, как я его расписываю, и тоже покатывается со смеху. Велико было мое смущение, когда я, выходя из бурно рукоплескавшего собрания, напоролся на смеющегося Ильича. Но еще больше было мое удивление, когда Ильич, расхвалив невероятно мою речь, предложил немедленно при нем повторить ее в Рогожско-Симоновском районе, куда мы вместе поехали — с неизменной спутницей, сестрой Ильича, Марьей Ильиничной».

Как не поблагодарить Демьяна Бедного за эту страницу, какой не сыщешь больше нигде!





Часть IV. МОСКВА. 1930—1945

Глава I

НЕ ВОВРЕМЯ И НЕ В ТОЧКУ

Здоровый ли, больной ли, Демьян работает едва ли не пуще прежнего. Один из неумеренных поклонников его таланта подсчитал, что за десять месяцев 1928—1929 годов создано двести пятьдесят фельетонов. Подсчитал — и пришел в восторг. Не задумался — не слишком ли много? Все ли «в точку»?

Над этим мог бы задуматься любой другой поэт, только не Демьян Бедный. «На ниве черной пахарь скромный», газетчик, агитатор озабочен больше тем, чтобы всюду поспеть, чем своим писательским совершенствованием.

Давным-давно исчезли из газет рубрики «На бескровном фронте». А Демьян все дерется, рубит, пропалывает, метет, сварливо прибирается в большом доме, что называл «всероссийской мусорной избой». Когда-то найдя своего читателя, поэт хорошо знал, что адресуется к людям, в огромном большинстве не умевшим читать (четыре пятых России были неграмотны). Теперь выросли и грамотность и читатель. Помнит ли об этом Демьян?

Вслед за боевой песней, которой поэт блеснул осенью 1929 года, он выступает с фельетоном против пьянства «Долбанем!». Для того чтобы заклеймить пьющих, понадобились тысячи строк, обильное введение цитат из газет, летописей, даже

таких источников, как записки путешественника Олеария и «Гамбургской драматургии» Лессинга. Ополчаясь против «самой запьянцовской в мире нации», как аттестовал русских Олеарий, поэт словно позабыл о своих старых приемах, молниеносных ударах, когда достигал побед двумя строками, написанными «с сердцем, с перцем, метко, едко...». Каких-нибудь шесть лет назад Демьян пристыдил предающихся другому пороку: «Матерщина — не кирка, ею камня не расколешь!» Две строки превратились в пословицу. Теперь же ему потребовались десятки страниц. Эффект оказался обратно пропорционален количеству строк. Они не попали «в точку».

Когда-то Демьян первый ввел новаторский прием использования газетных цитат, который крепко связал его с интересами текущего дня. Короткий эпиграф о массовых отравлениях на свинцовобелильных фабриках и расстреле демонстрации предварял четыре строки. «И там и тут» — о расправе и отраве. Так же были связаны с газетными сообщениями знаменитые «корнилится и керится» и несчетное количество других крылатых стихотворений, строчек.

Но вот соединительная ткань разрослась, уплотнилась. Юмор где-то начал вытесняться раздражением. То, что было находкой, стало привычкой. Таким вышел фельетон «Долбанем!».

Что это? Усталость таланта, результат многолетней изнуряющей погони за обязательным вмешательством в каждый вопрос каждого дня?

Но о таланте он никогда и разговаривать не желал: «Заявляю раз и навсегда: я весь — производное прилежания и труда»; а обязательное вмешательство было целью его жизни.

Заметил ли кто-нибудь, что не все идет ладно у поэта? Да. Появились сигналы. Вот ответ на читательское письмо:

В районе Краснопресненском есть
Комячейка номер двести тридцать шесть.
Оттуда пять моих читателей,
Неизвестных мне приятелей,
Бросили мне, как говорится, в лицо
Сердитое письмецо:
— «Почему не пишешь о правом уклоне?
Почему вот такие-то темы в загоне?
Что ни малое стихотворение,
То газетной вырезки повторение!»

Поэт серьезно объяснялся с читателями, но их письмо не могло послужить значительным толчком к пересмотру позиций человека, чьи творческие приемы уже очень прочно сформи-

ровались. Внимание всегда направлено к тому, что делается вокруг: меньше всего — на себя.

Сказалось и то, что Демьян уже не так много ездил, не столько бывал на «местах», где черпал раньше свежие силы, наблюдения. На беду один из выездов уже нового, 1930 года вместо обычной зарядки совершенно выбил поэта из колеи.

6 января Демьян, бросив на полстроке фельетон, по просьбе рабочих поехал в Вятку. Раз зовут — значит, нужно посмотреть, обсудить, что у них ладно, что неладно, помочь.

Неладного оказалось много. Демьян заговорил об этом сразу же.

Сперва прямо на дороге:

— Дороги у вас ужасные. Вы же были губернским центром. Как же держали связь с уездами?

Потом на улице:

— Пьяных много. Я столько не видел нигде...

Наконец, в клубе:

— Клуб имени Демьяна Бедного, а полно хулиганов и пьяниц. Что же будут говорить: «Демьянка-пьянка»?

Но больше всего Демьяна Бедного поразили условия труда на кожевенных заводах.

— Что же у вас тут делается? Грязь, вонь... Все вручную. До революции за такие порядки рабочие вывезли бы мастера на тачке за ворота!

В окружкоме сразу же не понравились такие тексты Демьяна. А он продолжал то же самое на рабочих митингах и других встречах. Когда собрался уезжать, на просьбу еще задержаться ответил, что ему странно поведение вятичей. «Пришел ли кто-нибудь сказать: «Посмотрите на наши достижения»? Нет, никто не пришел. Ведь могли бы использовать меня. Придите, покажите мне хорошее — и я прогремлю о вас на всю Россию. Ведь мы — одно целое. Мы служим друг другу, общему делу... Зарядите меня хорошо, и я расскажу сотням тысяч о ваших достижениях. Вы просите меня остаться: покажись народу. Что я буду показывать себя, коли вы мне ничего не показываете? Выходит, пустое место на пустом месте».

...Это «пустое место» особенно задело руководство. Окружкомовцы, с самого начала уклонившись от встречи с таким бесцеремонным гостем, упорно продолжали уклоняться и дальше. Кроме того, дали в редакцию «Вятской правды» указание поменьше освещать встречи и вычеркнуть из стенограмм выступлений Демьяна все, что вызвало их неудовольствие.

Затем они написали жалобу о «пустом месте» и прочем.

В крайкоме разобрались, неправота руководства была налицо, но Демьян долго не мог успокоиться.

«Случай в самом деле небывалый в моей практике, — писал он работникам «Вятской правды», которые разделяли его точку зрения, — получив из Вятки настоятельную просьбу приехать, я бросаю все и еду за 900 верст. Приезжаю в Вятку и сразу вижу, что к вызову окружком не имеет никакого отношения. В дальнейшем определяется «отношение», но очень странное. Там, в клубе, где я выступаю, я не вижу ни единого приветливого окружкомовского лица. На товарищеский писательский ужин окружкомовцы, специально приглашенные, не приходят тоже... а предпочитают прогулку в кино. На следующий день та же история. Я не знал, что и думать. Заметьте, что такие случаи бывали у меня, когда я в Одессу, например, приезжаю по вызову не окружкома, а Перекопской дивизии. Я еду прямо в дивизию, выступаю там. Я могу вернуться обратно в Москву, не заявившись в окружком, а сделавши только то дело, ради которого приехал. Никаких тут формальных нарушений нет. Но никогда не бывало, чтобы местный агитпроп немедленно не попытался использовать меня до отказу: побыл в дивизии? Хорошо! Теперь походи денек-два в партийной упряжке! И я ходил, как тому и быть полагается. У партруководства нет формализма, у меня нет чванства, идем друг другу навстречу. Иначе и не должно быть. Тут же я делаю к Вятскому окружкому 900 верст, а он 900 вершков не хочет сделать, простой записочкой не отзовется, не спросит, в какой мере меня можно взнуздать, куда послать и т. д.».

При этом Демьян объяснял вятским товарищам, что личной обиды у него не было и нет. Были горечь и недоумение. «Ведь мне-то хотелось бы, чтобы партийная среда была выше, а не ниже известного уровня».

Из этого письма видно, как чувствителен был Демьян, когда оказывались задетыми не личные, а гражданские, патриотические чувства. Но и об этом он говорит в письме без чувствительности, а по обыкновению ссылаясь на грубое, но меткое, по его словам, народное выражение: «Я чувствовал себя так... как будто «г...а наелся». Все время меня тошнило. Бывает такая моральная тошнота. Из-за этой тошноты я не мог сесть за письменный стол, чтобы изложить свои вятские впечатления. Равным образом не мог я взяться за другие темы. Впервые в этом году я в ленинский день не почту память Ильича своими стихами, так как я «не отплевался» после Вятки: во рту все время горечь».

Этот неприятный эпизод подробно описан секретарем це-

ховой партячейки «Вятской правды», журналистом Кудреватых, который вместе со своими товарищами тогда же восстал против бойкотирования Демьяна и послал ему вдогонку письмо с протоколом партсобрания, на котором горячо столкнулись два мнения.

«Ваше неожиданное письмо, дорогие товарищи, — ответил поэт, — сослужило хорошую службу. Оно вернуло мне снова чувство бодрости и уверенности в том, что я правильно прощупываю людей и нахожу сочувственный отклик в той простой, товарищеской среде, добрым мнением и симпатиями которой я наиболее всего дорожу.

Еще раз за ваш отклик сердечно благодарю!»

И потекли обычные трудовые дни. Демьян печатался и в «Известиях» и в «Правде», где только лишился одного — привычного друга: уже не работает тут Мария Ильинична. Бывало, спросит: «Принесли, Демьяша?..» Всем-то с нею поделишься, обо всем посоветуешься. Имени Ильича оба не назовут, но оба знают, что всегда думают о нем, хотят угадать, что сказал бы, если б спросили. Без Марии Ильиничны в «Правде» Демьяну как-то непривычно.

Но что скажешь, если понадобилось перевести ее на другую работу. Главное — дело. А дело есть. В «Правду» доставили партийный и комсомольский билеты двух героев, павших на Дальневосточном фронте. К годовщине Красной Армии Демьян рассказывает читателю о защитниках Отечества, о том, что... «враг сердце пронзил командиру-герою и — хранимый у сердца партийный билет!».

Вскоре Демьян заканчивает и тот фельетон, который был прерван поездкой в Вятку. И вдруг такой неожиданный и страшный удар. Не только для Демьяна — для всех, кто любит советскую поэзию, русскую литературу.

14 апреля никто не хотел верить в разлетевшуюся по городу весть. Луначарский бросил трубку с негодованием: «Черт знает что! Возмутительно! Какие-то пошляки позволяют себе хулиганские выходки!»

В «Крокодиле» не верили, по старому стилю вроде получается 1 апреля. Нашли чем пошутить! Поражались: кто мог пустить подобный слух? Но Владимир Маяковский был мертв...

«Чудовищно, непонятно», — озаглавливает свое прощальное слово в «Правде» Демьян, называя Маяковского талантливейшим, повторяя, что «не верится, просто не верится... что все это непоправимо, что недописанная оборвалась навсегда одна из самых сильных, красочных, своеобразных, неповтори-

мых страниц великолепнейшей книги, где собраны сокровища русской поэзии».

Поникший стоит Демьян в почетном карауле, провожает Маяковского в последний путь.

Трагический, тяжелый апрель. Но к маю должны быть стихи. Демьян было их начал... надо закончить! Одним из первых он воспевает пафос строительства поэмой «Шайтан-арба», посвящает ее «героям, строителям Турксиба». «Мы будем укладывать, шить колею для могучего «локомотива истории». Горевать нельзя. К жизни, как всегда, призывает долг, люди: «От писем некуда деваться, посмотришь утречком: гора! Мне одному не разорваться, а между тем у всех — «жара»...» — отвечает поэт на просьбу нижнетагильских рабочих «встряхнуть поязвительней» тамошние порядки. Иногда сопровождает стихи сноской: «Обязательно приеду». Но не всегда успевает поехать. Дает себя знать болезнь. Только соберется куда-нибудь, а врачи: «Нельзя. Надо лечиться». Ему хочется уехать на Урал, а его отправляют в санаторий.

Поэт продолжает работать и там... Давно беспокоят некоторые бытовые темы: под лозунгом борьбы с мещанством, с нравами старой семьи укрывается то же мещанство; среди молодежи — явления распущенности, от них — трагические последствия. Уже был написан фельетон по материалам суда об одной жертве. Молодая женщина, брошенная отцом ее ребенка, убита этим человеком с целью «развязаться».

Теперь Демьян надумал рассказать об иной судьбе — о захолустной мещаночке. Он называет ее Липой и сознается в письме домой, что начал писать, «...но она получается тоже липовая какая-то. Не пришлось бы забраковать...». Вообще у него порой вырываются признания, что на душе «литхудно».

Удалось ли ему довести «Липу» до того уровня, какого хотелось бы, неизвестно, но так или иначе фельетон был напечатан. Поэт возвращается к прежней, значительной теме: «Посвящаю эту юбилейную оду 905-му героическому году, опалившему Русь революционным огнем...» И вслед за тем, осенью, из-под его пера выходят один за другим три больших фельетона, которые приносят ему много горя. Это: «Слезай с печки», «Перерва» и «Без пощады». Они, как всегда, основаны на фактах, опять подкреплены слишком обильными цитатами из газет. Но в данном случае корень зла не в том, хороша ли художественная сторона.

В первом случае речь идет о нарушении дисциплины, текучести рабочей силы в шахтах Донбасса, о беспомощности тамошних начальников. Во втором — о крушениях на железных

дорогах, безответственности транспортников. Самый фельетон получил название станции — Перерва. Там произошло крушение, повлекшее за собой человеческие жертвы.

О бескультурье, лени, пьянстве говорил третий фельетон. Но во всех трех случаях поэт не рассчитал силу удара, не точно определил свою позицию.

Для того чтобы получить об этом правильное представление, лучше всего обратиться к страницам современного литературоведения, дающего оценку происшедшему. В книге И. Эвентова «Жизнь и творчество Демьяна Бедного» [1] сказано:

«Ошибки, допущенные Д. Бедным, нуждались в общественной критике и заслуживали ее. Но внимательной и доброжелательной критики не было. Было нечто другое: сперва безудержное захваливание ошибочных произведений, а потом огульное их поношение.

В своем письме И. Сталину от 9 декабря 1930 года Д. Бедный рассказал, как был встречен фельетон «Слезай с печки» сразу после опубликования; сначала «...приводили его в печати как образец героической агитации», расхваливали его до «крайности», и даже высказывалось мнение, что нужно включить фельетон в серию литературы для ударников. А потом то же произведение (и два других фельетона) были объявлены политически вредными, клеветническими, повторяющими пасквилянтские домыслы врагов партии и народа. При этом ставились под сомнение основные методы сатиры, говорилось о недопустимости преувеличений и т. д.

Д. Бедный считал несправедливой такую квалификацию его стихов и такой подход к произведениям сатирического жанра. К упомянутому письму он приложил стихотворение «О героическом», которое собирался опубликовать. И в письме и в стихотворении Д. Бедный пытался объяснить свою позицию. Он не оправдывал ошибочных произведений. Он лишь возражал против вульгаризаторских методов критики и отстаивал право художника на сатирическое изображение теневых сторон жизни. Он ссылался на опыт Гоголя и Щедрина, которые широко пользовались приемами гротеска в раскрытии отрицательных явлений. Поэт ясно понимал, что неудача, постигшая его, может стать поводом для гонений на советскую сатиру, и потому счел своим долгом защитить ее реалистические основы. Наконец, в письме он напомнил, что при жизни В. И. Ленина критика его ошибок носила совсем другой характер: «...было время, когда меня и Ильич поправлял и позволял мне отвечать в «Прав-

[1] И. Эвентов, Жизнь и творчество Демьяна Бедного. Л., изд-во «Художественная литература», 1967.

де»... Теперь я засел тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают...»

Действительно, стихотворение «О героическом» не напечатали, а на письмо Сталин ответил.

В прошлом Сталин не раз давал одобрительные оценки произведениям Д. Бедного. Так, он положительно отозвался о стихотворении «Тяга», подчеркнув его оптимистический характер. В заслугу поэту он ставил правдивое освещение «дымовского» дела...

Теперь же в ответном письме Д. Бедному, датированном 12 декабря 1930 года, Сталин очень резко квалифицировал отношение поэта к историческому прошлому русского народа. В письме оставлены без внимания поднятые Д. Бедным творческие вопросы. Содержание его свелось к политическим обвинениям в адрес поэта. В фельетонах усматривалась «клевета на СССР», «клевета на наш народ, развенчание СССР» и т. д.

Выступления ряда литературных критиков тех лет по поводу фельетонов «Слезай с печки», «Перерва» и «Без пощады» также не касались существа проблем, волновавших поэта, и не помогли ему разобраться в причинах допущенных им ошибок. Смысл этих выступлений состоял в попытке дискредитировать Д. Бедного политически, бросить тень на всю его творческую работу. Надо сказать, что эту «критику» не поддержали видные общественные и культурные деятели нашей страны. Летом 1931 года в Коммунистической академии выступил А. В. Луначарский, который, не умаляя ошибок Д. Бедного, подчеркнул, что в основе его творчества лежат три важнейшие черты: партийность, массовость и художественность (реализм). В том же году А. Серафимович обратился к секретарям Центрального Комитета партии с обширным письмом по вопросам литературной политики. В письме говорилось: «Демьян Бедный — один из крупнейших наших писателей. Есть чему у него учиться? О, еще как! Превосходному языку из гущи народной — сжатому, меткому, незабываемому. Общественно-политический сарказм его (сарказм — самое трудное литературное оружие) убивает. И в этом у него никаких из современных писателей соперников нет». Серафимович, таким образом, поддержал работу Д. Бедного-сатирика — именно она подвергалась нападкам в 1930—1931 годах. То же, что и Серафимович, сделал Михаил Кольцов на Первом съезде советских писателей (1934). «Наша литература, — сказал он, — обладает внушительными сатирическими силами. У нас есть Демьян Бедный, зачинатель пролетарской революционной сатиры...»

Итак, позже все встало на место. Но в тридцатом году, когда Демьян получил столь резкие политические обвинения, ему было тяжко. Такого удара он не получал никогда».

Нехорошо для Демьяна начался, нехорошо и кончался тридцатый год.

Обмен письмами между поэтом и И. В. Сталиным происходил в декабре, когда неподалеку от Демьяна, в Кремлевской больнице, умирал Константин Степанович Еремеев.

Старые друзья давно не видались. Последние два года дядя Костя прожил во Франции, куда уезжал неохотно. Но жене он ответил односложно: «Так надо, так решила партия». Вернувшись, внезапно заболел. Упал дома, потерял сознание.

Демьян не сразу узнал, что дядя Костя болен, а когда узнал, не хватило сил показаться ему таким: сам был — краше в гроб кладут. Ни нужного слова, ни улыбки. С чем идти? Совладав с собой, появился в больнице, когда к дяде Косте уже не пускали. Но приходил каждый день. Угрюмый, молчаливый, подолгу сидел с женой дяди Кости — Любовью Сергеевной Еремеевой. 28 января 1931 года наступил конец...

Кто-то из старой гвардии сказал: «Революция бешено изнашивает профессиональных работников». Ушел еще один.

Теряя друга, мы всегда жалеем и себя. Никому не сказал Демьян об этом, но мог ли он не думать о дяде Косте как об одном из своих большевистских «крестных», как о человеке, которому он сам был «люб, каков есть»? А сколько дядя Костя оставил ненаписанных страниц о подполье, старой «Правде», штурме Зимнего, когда он предупреждал ребят, чтобы «не ахнули в колонну»; о Ревштабе семнадцатого года, балтийцах; о первом агитпароходе, когда погибла от холеры Конкордия Самойлова и дядя Костя хоронил ее в далекой Астрахани; о мятеже левых эсеров и создании новой, советской печати!.. Умел ведь писать Еремеев, да времени было мало, а скромности много. Демьяну помнилось, что он «тиснул» однажды в сборнике старые «тюремные» стихи, но стеснялся даже говорить об этом. Помнились и стихи:

Сквозь железную решетку,
В старый, ржавый переплет
Волны ласкового света
Солнце радостное льет...

...Но свободы улетевшей
Дни так грустно далеки:
Плачет больно мое сердце
От мучительной тоски.

Все прошло. Все изменилось. И не прошло и не изменилось ничего. Потому что идет жизнь и есть работа. Потому что есть три давно сказанных себе слова: «Надо быть бодрым». Делать свое дело. Вот уже скоро двадцать лет, как Демьян делает его, не сводя глаз с «секундной стрелки истории», как издавна называли журналисты газету. Как же он все-таки сбился с тона? Может быть, подвел масштаб секундного счета? Изнурил ежедневный труд, труд во что бы то ни стало?

А может быть, случилось нечто подобное тому, что произошло когда-то в поездке за город со Свердловым? Оба они в машине на пути поспорили: кто лучше стреляет? Стреляли оба плохо, и оба знали это. Но, поспорив, выбрали цель: телеграфный столб. Демьян бил первым. Мимо... Якову Михайловичу «повезло»: пуля угодила прямо в фарфоровый изолятор! ...Свердлов схватился за голову: он, Председатель ВЦИК, разрушает народное хозяйство!.. Скорей в ближайший сельсовет! Чинить! И починили тут же, но Яков Михайлович долго оставался сам не свой.

Однако Свердлов тогда разбил изолятор нечаянно, от неумения, то есть, по существу, промахнулся. А как произошло, что теперь ударил по своим, то есть промахнулся, Демьян? Ведь он был снайпером слова? Как принять мысль, что он клевещет на то, что ему всего дороже, — на свой родной народ?

С другой стороны, он не раз сознавался в своей горячности. Совсем недавно: «Моя манера атаки — груба»; об этом же говорили его стихи еще при жизни Ленина:

Запальчив до невозможности,
Зарываюсь вперед безо всякой осторожности,
Откалываю иной раз такие штучки...
Вот и теперь — не получить бы мне нахлобучки.

И вместе с тем:

Во времена оны, читая мои боевые фельетоны,
Ильич говорил, должно быть, не зря:
— «У нашего Демьяна хорошая ноздря»...

Почему же такое могло случиться? Неизвестно почему!.. Раньше он смеялся над поэтическим «неизвестно почему». Стихи так и назывались.

У поэта нервы — струны:
Нервов дрожь — певучий стих, —
Он вчера метал перуны,
А сегодня — благ и тих.

Очарованный напевом,
Непонятным самому,
Он смеется, дышит гневом...
Неизвестно почему...

До сих пор Демьян отлично знал, почему бывает «благ и тих», почему смеется или дышит гневом. Как же его напев оказался фальшивым, «непонятным самому»? И в это же время, как нарочно, руководители РАППА выдвинули вообще вредный лозунг «одемьянивания» литературы. Мало что лозунг сам по себе никуда не годился, но еще пришелся так невпопад, что дальше некуда! Пошутив, что уместнее было бы в связи с этим говорить про «обеднение» литературы, поэт высказался против и серьезно:

«Я предвижу такой расцвет пролетарской литературы, что мне просто совестно говорить об «одемьянивании». Я первый поднимаю руку за подыскание более подходящего лозунга, который бы стал величайшим знаменателем той пока еще литературной дроби, в которой я, к примеру, один из небольших числителей, а есть и будут еще числители...»

В одном из первых стихотворений 1931 года, «О писательском — в частности — тяжком и черном, напряженно-упорном, непрерывном труде», поэт определяет свое место в литературе так:

Склонясь к бумажному листу,
Я — на посту.
У самой вражье-идейной границы,
Где высятся грозно бойницы
И неприступные пролетарские стены,
Я — часовой, ожидающий смены.
Дослуживая мой срок боевой,
Я часовой.
И только.
Я никогда не был чванным нисколько.
Заявляю прямо и раз навсегда
Без ломания
И без брюзжания:
Весь я — производное труда
И прилежания.
Никаких особых даров.
Работал вовсю, пока был здоров.
Нынче не то здоровье,
Не то полнокровье.
Старость не за горой.
Водопад мой играет последнею пеною.
Я — не вождь, не «герой».

К маю Демьян собирается с силами: «На Урал! Там зреет чудо под Магнитною горой! В первомайский день не худо

повидать Магнитострой! А потом трубить победу: вот где песни я набрал!.. До свиданья, братцы! Еду! От «Известий» — на Урал!» Не случайно стихи названы «Новые времена — новые песни»; другие — «Новая победа» — посвящены выполнению пятилетки в два с половиной года, третьи — «Электро-жар-птица» и множество других откликов на строительные победы: «Бой за сроки», «Смелей!», «Дорога гигантов», «Бойцам за красную жизнь», «Задули», «Героям, строителям Челябинского тракторного завода», «Молодой силе»...

Для того чтобы представить себе Демьяна, встречающегося с колхозниками или рабочими, можно просто посмотреть на несколько фотографий. Характерны даже чисто внешние черты. Поэт не возвышается над массой, не шествует впереди, а всегда либо сидит в общем кружке, либо вместе со всеми толчется вокруг вызывающего общий интерес объекта. Он как дед Софрон на завалинке, будто говорит своим собеседникам: «Вы, братцы, кой-чему поучитесь у деда, и многому, я, чай, сам поучусь у вас...» Так он зафиксирован во время поездки в 1919 году по Тверской губернии; точно так же поэт выглядит и позже, в группе метростроевцев. Сдвинув кепку на затылок, беседует на солнышке или в шахте, не отличимый от окружающих, всегда на короткую ногу со своей аудиторией. По-прежнему хорошо ему даются и шуточные обращения к читателю.

О таких обращениях он после забывает, они нигде не печатаются, кроме рабочей многотиражки или местной газеты. Вот одно из подобных забытых, не вошедших ни в какие сборники стихотворений — письмо к прокопьевцам:

Была же мне в Кузстрое баня.
Насчет речей я нынче пас.
Три дня на митингах горланя,
Сорвал я начисто свой бас.

. . . .

Меня настойчиво зовут.
Зашевелились агитпропы
И там и тут, и там и тут.
Моя подмога им потребна,
Но, превратившись в хрипуна,
Для большевистского молебна
Уж не гожусь я в дьякона.

Прокопьевцы! Категорично
Я, безголосый, вам шепчу:
Когда я буду здесь вторично,
Я первым делом к вам примчу.

Нешуточный, очень серьезный результат пребывания на стройках и обдумывания случившейся, как он называет, прошлогодней «прорухи» — или «фальштета» — проявляется в фельетоне «Вытянем!», посвященном магнитогорцам, но содержащим значительные автобиографические признания.

20 мая 1931 года, в день двадцатилетия литературной работы Демьяна Бедного, в «Правде» появляется эта поэма.

Опровергая злопыхательские домыслы заграничной белой печати: «Магнитогорск?.. Ерунда! Вот уже Демьян Бедный поехал туда. Ясно, с целью какой: для поднятия духа!» Он сообщает:

Верно. Так, для поднятия духа. Чьего?
Духа магнитогорцев? Ничуть. Своего!
Я об этом трубил ведь заране —
Мало видеть постройки на киноэкране:
Вот, мол, первых две домны — растут в одно лето!
Нет, лишь тот, кто на месте увидит все это,
Тот поймет и почувствует пафос труда
И увидит невиданные стариною масштабы,
Как средь голых просторов растут города...

И тут же — итоги раздумий над критикой:

Я — злой.
Я крестьянски ушиблен Россией былой.
Когда я выхожу против старой кувалды,
То порою держать меня надо за фалды,
Чтобы я, разойдясь, не хватил сгоряча
Мимо слов Ильича,
Что в былом есть и то, чем мы вправе гордиться:
Не убог он, тот край, где могла народиться
Вот такая, как нынче ведущая нас,
Революционная партия масс...

Не только эти строки точно выраженного признания в своей «злости» и «ушибленности» позволяют узнать думу поэта. Чудится, что самое название «Вытянем!», имеющее широкое значение, связано с чисто личным. Демьян не из тех, кто сдается при неудачах Вытянет.

Глава II

НА ШЕСТОМ ДЕСЯТКЕ

Свое пятидесятилетие поэт встретил хорошо. Казалось, «вытянул». Работал много, и хотя не все написанное выдер-

жало испытание временем, но напечатанное в свой срок приходилось впору.

И все-таки в его жизни изменилось что-то.

В 1932 году, после долгой истории борьбы различных литературных организаций, обозначилась необходимость в существовании единого творческого союза. Российская ассоциация пролетарских писателей, в которую входил и Демьян, была ликвидирована. Созданный тогда же оргкомитет должен был подготовить все для I писательского учредительного съезда. Комитет, по указанию Сталина, собрался на квартире у Горького. Демьяна там не было.

Весной 1933 года, к пятидесятилетию, Калинин снова вручил поэту заслуженную награду: орден Ленина.

Старые друзья сердечно расцеловались. «Михал-Ваныч» был душевно рад за «Демьяшу» и вполне мог тут же напомнить о стихах, написанных поэтом к пятидесятилетию самого «Калиныча»:

Полвека жизни трудовой
И боевой.
Жилось не сладко, не беспечно...
Полсотни лет... оно конечно...
Но ты не унывай, Калиныч дорогой:
Ты мужиком еще глядишь довольно дюжим!
Еще мы этак лет десяточек-другой
Советской Родине послужим!

Все с тем же неизменным желанием служить Родине Демьян вступил в шестой десяток.

Но именно когда он переступил порог шестого десятка, прекратили издание Полного собрания сочинений. Автор даже не получил последнего, XX тома: там остались печальной памяти фельетоны с картинами старой «расейской горе-культуры», страны «неоглядно-великой, разоренной, рабски-ленивой, дикой, в хвосте у культурных Америк, Европ»... Но если сгинули и сами явления, пусть сгинут и рисующие их картины! Туда им и дорога! У поэта полно тем, и вроде бы ничего не изменилось.

Продолжались и творческие удачи: под новый, 1934 год на сцене московского Мюзик-холла осуществили постановку комического обозрения «Как четырнадцатая дивизия в рай шла». Это был темпераментный, насыщенный народным юмором спектакль, и он пользовался большим успехом.

В этот же срок изменились личные, семейные дела Демьяна. Но, по его мнению, это никого не касалось. Когда-то он писал жене: «Как теперь все ни восхищаются письмами Чехо-

ва, а меня оторопь берет, что мои письма могут, или могли бы, тоже пойти на удовлетворение часто не совсем здорового любопытства читателей». В этих строках частично выражен взгляд поэта на собственную частную жизнь. Сам он — не Данте, его подруга жизни — не Беатриче. Любовь, семейная жизнь или уход из семьи не имеют никакого отношения к тому, чем Демьян значителен для читателя. С этим убеждением нельзя не посчитаться, тем более что оно основано на очень трезвом, объективном понимании собственной биографии; ведь она действительно с семейными переменами творчески не связана. Для читателя, корреспондента изменился только привычный адрес «Москва, Кремль, Демьян Бедный». Но продолжавшая идти в Кремль или различные редакции почта поступала теперь на Рождественский бульвар, где, расставшись с женой, Демьян поселился под новый, 1934 год.

Важным событием начала 1934 года был XVII съезд партии. Поэт в списках делегатов с редкой пометой: «Персонально». Он печатает «Мой рапорт» съезду, в котором попрежнему чувствуется бодрость, а упоминания о промахах сделаны без малейшего самоунижения.

Я рапортую ежедневно,
Еженедельно, как могу,
И наношу я раны гневно
Непримиримому врагу.

Моих стихов лихая рота, —
Я с нею весело иду.
Моя газетная работа
У всех свершалась на виду.

В них были промахи, не скрою
(Впадают в дурь и мудрецы!),
Но удавалось мне порою
Давать в работе образцы.

Он заявляет гордо, что «Наперекор моим годам в инвалидную отставку не так-то скоро я подам», и завершает:

...Как бы ни был век мой краток,
Коль враг пойдет на нас стеной,
В боях, в огне жестоких схваток
Я дней и сил моих остаток
Удорожу тройной ценой.

Таким он приходит к I учредительному съезду писателей летом 1934 года. Демьян не собирается много говорить, не готовит широкого программного выступления; вообще-то был не очень активен в узком писательском кругу. Специфические

цеховые споры ему чужды. Все принципиально важное, что сказано поэтом о работе, всегда адресовалось селькорам, рабкорам, учащейся молодежи — тому широкому кругу читателей, из которого он ждал пополнения литературных сил. В подавляющем большинстве эти беседы не оставили следа, не стенографировались. Собрания проходили в будничной, рабочей атмосфере. Но именно это и привлекало Демьяна Бедного. Он в свое время выезжал на встречу с рабкорами «Красной газеты», радуясь, что их будет уже двадцать человек — и среди них даже три женщины...

Но как бы ни мало Демьян Бедный сказал на писательском съезде, его путь к этому съезду в плане чисто профессиональных взаимоотношений и связей представляет интерес.

Позиция поэта в литературных кругах была своеобразна не только потому, что он утверждал: «Я не служитель муз». Он высказывался и определеннее: «Среди поэтов я — политик, среди политиков — поэт». Под этой строчкой скрывается огромный вызвавший ее материал всей жизни.

Внимательным критикам случалось удивляться тому, каким диссонансом общей радости в феврале 1917 года прозвучала фраза: «Эх, не доделали мы дела!»; а в 1922 году, за три года до того, как Гинденбург стал президентом Германии — тем самым президентом, который после помог прийти к власти Гитлеру, Демьян уже высмеивал в сатирической «оде» всех, кто, «одобрительный ловя хозяйский взгляд, у ног хозяина восторженно скулят», и предрекал им, что еще придется ползать на карачках «под гинденбурговским кнутом».

Но не один проницательный политический ум и чутье объясняли особое место поэта среди писателей, весь громадный облик Демьяна Бедного, как выразился однажды Маяковский. Чтобы представить себе хоть немного этот громадный облик, надо вспомнить предшествующий съезду период, уходящий корнями в те дни, когда большинство литераторов не подавали руки коллегам, сотрудничающим в большевистской печати. Подобный и всякий иной бойкот оказался еще слабейшей формой выражения неприятия новой действительности.

Это было, по словам Ленина, время «тягчайших испытаний для русской революции»[1], когда каждая непротянутая рука была готова замахнуться и ударить. Тогда, по существу, один голос Демьяна Бедного «звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных».

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 36, стр. 96.

Но и после того, как победы и поражения свершились, в литературных кругах продолжались поиски, споры, стычки, определение позиций, групп и группок. Футуристы, декаденты, люминисты, символисты, экспрессионисты, фуисты, неоклассики, акмеисты, биокосмисты, центрофугисты, имажинисты, ничевоки... В чем сущность и назначение искусства? Кто встал «на платформу Советской власти», а кто еще думает? Кто «попутчик»? Казалось, Демьян мог бы сказать всем этим «истам», как сказал верующим: «Спор вести с детьми за соску взрослым людям не с руки», да проспорьтесь «вы хоть в доску, чудаки!». Характерен его ответ на анкету «Вечерней Москвы»: газета запрашивала литераторов «Что же такое СОПО?» (название некоего «Союза поэтов», с резиденцией в одном из центральных кафе). Демьян только поинтересовался: «О чем вы спрашиваете: о поэзии или о кабаке на Тверской? Стоит ли об этом разговаривать...» Почти так же ответил тогда Маяковский: «...СОПО... внушает мне полное отвращение...»

Но и в самую раннюю пору Советской власти существовали такие вопросы литературы и литературные организации, для которых Демьян умудрялся найти время даже в горячие годы гражданской войны.

Объединение Пролеткульт не в пример множеству других течений было единственной массовой организацией, где стремились взять на себя просветительские задачи, выявить таланты из рабочей среды, создать новую, пролетарскую культуру. Боевой, оптимистический тон, наступательный дух, вера в активность трудящихся масс, широкое участие в самодеятельности, уже тогда принявшей невиданный в старой России размах, — все это, казалось, должно бы вызвать самое горячее сочувствие Демьяна Бедного. Но в пролеткультовской программе действий получила перевес другая, отрицательная, сторона: отвергание роли партийного руководства, отказ от культурного наследия, в том числе даже от народного, противопоставление пролетарской поэзии крестьянской (А Демьян говорил: «Я к рабочему иду от мужика...»), высокомерное пренебрежение всеми писателями нерабочего происхождения и, наконец, претензия на руководящую роль во всей советской литературе.

Такая позиция вызвала серьезную тревогу Ленина, его письмо о пролеткультах в ЦК и последующее решение ЦК. Но еще до этого Демьян Бедный высмеял пролеткультовцев в басне «Центрошишка». Именно ею открывался в 1919 году ряд выступлений поэта по вопросам литературной жизни:

Я с тревогою сторожкою
Наблюдал ваш детский рост,
Вы пошли чужой дорожкою,
За чужой держася хвост.

Так обращался Демьян к «пролетарским» поэтам, зараженным пролеткультовскими пороками. В стихах «Еще раз о том же», как видно из самого названия, он снова выступал против вредных буржуазных влияний на молодежь, что танцует «у чужих рысаков на пристяжке!».

К ряду таких, можно сказать, отеческих выступлений на литературные темы относятся и другие, написанные в разное время стихи. Развернутая творческая программа — «Вперед и выше!», в которой поэт характеризует себя: «На ниве черной пахарь скромный, тяну я свой нехитрый гуж...»; с более широким подходом разработана тема «О соловье». Оба произведения созданы в год смерти Ленина, и в последнем Демьян Бедный призывал: «Живите ленинским заветом!»

Советский сноб живет! А снобу сноб сродни.
Нам надобно бежать от этой западни.
Наш мудрый вождь, Ильич, поможет нам и в этом.
Он не был никогда изысканным эстетом
И, несмотря на свой — такой гигантский рост,
В беседе и в письме был гениально прост.
Так мы ли ленинским пренебрежем заветом?!
Что до меня, то я позиций не сдаю,
На чем стоял, на том стою.
И не прельщаяся обманчой красотою,
Я закаляю речь, живую речь свою,
Суровой ясностью и честной простотою.
 Мне не пристал нагульный шик:
Мои читатели — рабочий и мужик.
И пусть там всякие разводят вавилоны
Литературные «советские» салоны, —
Их лжеэстетике грош ломаный цена.
Недаром же прошли великие циклоны,
Народный океан взбурлившие до дна!
Моих читателей сочти: их миллионы.
И с ними у меня «эстетика» одна!

Эти образно, четко представленные взгляды, однако, замутнялись благодаря необузданной горячности, неумению ничего делать «вполоткрыта», из-за веяний времени, которым невольно отдавал дань поэт. Он впадал в крайности, иногда резко выступал против «попутчиков», грешил упрощенчеством и, увлеченный полемикой, разделял ошибки своих поэтических соратников.

Приходили последующие годы и приносили последующие... ошибки. Демьян понимал, что он «не без греха»: «...Может быть, и взаправду мой суд однобок и излишне пристрастен». Но это понимание не спасало от заблуждений. В феврале 1931 года, на беседе в «Комсомольской правде» с молодыми рабочими-литераторами, он прямо признался, что «и на старуху бывает проруха». У меня как раз по линии сатирического нажима... были свои «прорухи»...

Но, увлекая аудиторию интереснейшим разговором, Демьян сам так увлекся, что не заметил, как впал в противоречие; призывая уважать классику, работать над формой, вдруг привел такой аргумент в пользу своего любимого — боевого жанра: «Отбивающийся от врага товарищ у меня просит винтовку. Я должен ему дать ее немедленно, а не говорить: «Погоди, я ее серебром отделаю!»

Этим примером Демьян объяснял путаницу, которая создалась в его знаменитой в свое время повести о дезертирах, имевшей большое влияние на деревенских парней в годы гражданской войны. Жена героя — «Митьки-бегунца» — получила три имени: «была Настей, стала Дарьей, потом Лушей. Что это? Халтура? Нет, просто я запарился. На фронтах читали и тоже не замечали путаницы. Запарились тоже. Но вычитывали главное».

Демьян почему-то упустил из виду, что не раз написанное им второпях звучало чистым серебром истинной поэзии. Содержание само подсказывало единственно нужную форму, и никакого «конфликта», противоречия между ними не возникало.

Беседа в «Комсомольской правде» — к счастью, сохранившаяся — вообще представляет собой исключительный интерес именно с точки зрения творческих позиций Демьяна Бедного, с которыми он пришел на съезд писателей. Перед собратьями по перу он не стал говорить о том, что принято называть творческой лабораторией, не раскрывал своих представлений, например, о том, что такое вдохновение. Зато все это есть в тексте, адресованном к молодым рабочим. Вот ответ на вопрос, где кончается работа рассудка и начинается вдохновение:

«...Работа рассудка никогда не кончается. Вдохновение есть только наибольшее, как бы сказать, обострение, просветление, прояснение рассудка. Вдохновение — наивысшая, быть может, иной раз предельная трезвость мысли... Самое высокое вдохновение может остаться немым, безгласным, будучи связано отсутствием технической выучки. Но эта выучка приобре-

тается непосредственно в работе... Работайте, пишите, коряво поначалу, но пишите... не обижайтесь, приналягте, сызнова начните, и не один раз».

Давая советы о том, как работать, Демьян предупреждает: «Важнейшее дело, товарищи, чтобы в художественном произведении чувствовалась писательская взволнованность... Поэт, преувеличивающий свои средства и возможности, форсирующий свой голос, он не поет, а кричит, визжит, у него появляется какой-то истерический, неврастенический фальцет, который легко может переходить в фальшет. А фальшивка — не агитация». Тезис иллюстрируется примером столетней давности из рецензии об артистической игре: «Не надо смешивать крика с высоким и громким произношением. Последнее есть язык страстей, употребляемый всеми знатнейшими артистами во время сильнейших душевных переживаний, а крик есть резкая нота, неверно взятая». И Демьян добавляет: «Нота, неверно взятая, — это и есть фальшивая нота».

К таким же принципиально важным высказываниям относится утверждение:

«Лично я не щажу — и никогда не пощажу политического врага, безразлично, пишет ли он прозой или стихами. Но в чисто поэтическом отношении я стараюсь избежать нетерпимости...»

Эту мысль Демьян Бедный высказал еще раз на I учредительном съезде советских писателей летом 1934 года.

Обстановка в Колонном зале Дома союзов, где протекала работа съезда, была праздничной. Общие успехи страны, достижения пятилетнего плана, создание единой творческой организации — все волновало собравшихся здесь писателей. Среди них было уже так много славных имен, славных биографий, что рассказ о них не может войти в рамки биографии одного из участников съезда. Первое выступление Демьяна Бедного было коротко. Заметив, что он-де оратор небойкий, поэт горячо приветствовал гостей-рабочих и заверил их, что «Мы находимся в пусковом периоде. Не будем зазнаваться и хвалить себя. Мы знаем, что впереди предстоит потрясающий расцвет нашей литературы, а мы являемся только запевалами, первоцветом».

Но когда Демьян обнаружил, что в докладе не уделено должного внимания боевой агитационной поэзии, да и он сам, к слову сказать, не поименован в разделе «Современники», он сразу стал весьма бойким оратором. Стенограмма его второй речи испещрена обычными для этого оратора пометками: смех, аплодисменты...

Увидев, что предпочтение отдается лирике, Демьян сражался за свой жанр, требовал уважения к боевой поэзии, пророчил, что она еще понадобится, и тогда он сам, обладающий хоть и старыми, но крепкими бивнями, пригодится не раз, «когда придет грозовой момент». Из этой же речи видно, что борьба за свой жанр не приводила Демьяна к нетерпимости по отношению к другим.

«К некоторому, может быть, огорчению моих поэтических соратников, я должен открыто сказать, что я готов согласиться с теми, кто высоко расценивает мастерство Пастернака. У меня нет желания отрицать, что это прекраснейший поэт. И бояться нам Пастернака нечего. И коситься не надо...»

Демьян, правда, заметил, что стихи Пастернака не всегда понятны, но «Таковы и должны быть, по-видимому, стихи о любви. Не станет же влюбленный объясняться языком газетной передовицы...».

Себе Демьян упорно отказывал в праве на лирику.

Очень мало кто знал, сколько и каких им написано лирических стихов. Жена литературного критика Войтоловского, с которым Демьяна связывала долгая и тесная дружба, рассказала:

«Однажды Демьян встал из-за стола и сказал: «Теперь я вам прочту то, что никому не читаю и никогда не дам читать. Пусть после моей смерти печатают». И он вынул из глубины стола толстую тетрадь. Это были чисто лирические стихи необычайной красоты и звучности, написанные с таким наплывом глубокого чувства, что муж и я сидели как зачарованные. Он долго читал, и предо мной предстал совсем другой человек, повернувшийся новой стороной своего глубокого внутреннего мира. Это было непохоже на все то, что писал Демьян Бедный. Кончив, он встал и сказал: «Теперь забудьте об этом».

Все эти тетради — а их было немало — лет через десять оказались сожженными в минуту отчаяния на глазах у старшего сына.

«Напрасно, — вспоминает сын, — я просил его не сжигать тетради... Отец рычал и, багровея от гнева, уничтожал то, что хранил всю жизнь. «Надо быть таким болваном, как ты, чтобы не понимать, что это никому не нужно!»

И от всего богатства Демьяновой лирики не осталось ничего. Эту потерю, конечно, никак не восполнит случайный экспромт-раздумье, сохранившийся в памяти сына. На прогулке весной 1935 года он задал отцу вопрос: откуда идет поверье,

будто кукушка отсчитывает годы жизни? И получил столь непохожий на известные нам стихи ответ, что стоит его привести:

Весенний благостный покой...
Склонились ивы над рекой,
Грядущие считая годы.
Как много жить осталось мне?
Внимаю в чуткой тишине
Кукушке, вышедшей из моды.
Раз... два... Поверить? Затужить?
Недолго мне осталось жить...
Последнюю сыграю сцену
И удалюсь в толпу теней...
А жизнь —
Чем ближе к склону дней,
Тем больше познаешь ей цену.

Интересно не только отношение Демьяна к лирикам, но и отношение лириков к нему. Борис Пастернак, которого Демьян признавал не без оговорок, оказывается, признавал Демьяна безоговорочно. Существует такая запись его высказывания, сделанная в 1942 году:

«Наверное, я удивлю вас, если скажу, что предпочитаю Демьяна Бедного большинству советских поэтов. Он не только историческая фигура революции в ее драматические периоды, эпоху фронтов и военного коммунизма, он для меня Ганс Сакс нашего народного движения. Он без остатка растворяется в естественности своего призвания, чего нельзя сказать, например, о Маяковском, для которого это было только точкой приложения части его сил. На такие явления, как Демьян Бедный, нужно смотреть не под углом зрения эстетической техники, а под углом истории. Мне совершенно безразличны отдельные слагаемые цельной формы, если только эта последняя первична и истинна, если между автором и выражением ее не затесываются промежуточные звенья подражательства, ложной необычности, дурного вкуса, то есть вкуса посредственности, так, как я ее понимаю. Мне глубоко безразлично, чем движется страсть, являющаяся источником крупного участия в жизни, лишь бы это участие было налицо...»

В этом высказывании есть с чем поспорить, но меткость сравнения с Гансом Саксом — поэтом из народа, действительно без остатка растворившемся «в естественности своего призвания», — страстной проповеди лютеранства и оцененным не кем иным, как Гёте, — безусловна. Безусловно и «крупное участие в жизни», которое было естественно для Демьяна Бедного, как дыхание.

Первый послесъездовский период протекал благополучно.

Поэта избрали в правление союза, что для него имело моральное значение: после критики неудачных фельетонов Демьяну слишком часто напоминали записанные Горьким слова Ленина:

«Усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна, но говорил:

— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немного впереди».

И напоминали-то лишь последнюю строчку этой записи.

Демьян никогда не испытывал внутреннего протеста от ленинских укоров, даже пересказанных другими.

В архиве поэта сохранилась вырезка из газеты 1 марта 1918 года, с пометкой о помещенных здесь собственных стихах «Слепые»: «Владимир Ильич разнес это стихотворение». Больше Демьян эти стихи в печати не воспроизводил.

Что касается отношений с Горьким, которые на длительном этапе проходили разные стадии, то как раз на писательском съезде была сделана живая зарисовка разговора между Алексеем Максимовичем и Ефимом Алексеевичем.

«...суть заключалась не в теме разговора, а в том, как он велся. Разговаривали два литературных «сюзерена», оба очень умные, но по-разному — Горький немного с книжным оттенком, Бедный с мужицкой хитрецой. Оба по-хорошему «играли»: Демьян отдавал должное Горькому, с большим, надо сказать, тактом, а Горький как бы отвечал: не заигрывай, ты, мол, сам с усами. У Горького прорывался оттенок уважительного, но и снисходительного вместе с тем поддакивания, у Демьяна преобладала интонация простеца, однако, знающего себе цену. Разговор был необыкновенно занятен, и игра явно доставляла удовольствие обоим».

Запись сделана профессором Кирпотиным, который тоже, по-видимому, получил удовольствие, наблюдая двух «сюзеренов» и схватывая характер их отношений.

Летом следующего, тридцать пятого года, по-видимому, неожиданно для поэта изменилось к лучшему отношение к нему И. В. Сталина, который после критики фельетонов не встречался с Демьяном, даже не разговаривал с ним по телефону. И вдруг, рассказывает старший сын поэта, в кабинете отца раздался звонок: Сталин просил приехать к нему на дачу, а «...на следующий день Сталин уже сам заехал за ним и увез к себе за город. По-видимому, Сталин шел навстречу тому, чтобы возобновить прежние отношения. Отца пригласили на празднование нового, 1936 года на сталинскую дачу...»

Когда Демьян Бедный написал повесть «Красный Кут» и



Рисунок к книге «Церковный дурман».
Художник Д. Моор.

читал ее в ЦК партии, возник разговор в прежних, дружеских тонах. Сын, со слов отца, передает, какая и как была внесена поправка: «Поправку внес Сталин: «...Послушай, Демьян! Что за название «Красный Кут»! Никому, понимаешь, непонятно. Это колхоз? Так и пиши: «Колхоз «Красный Кут»...

Все вроде бы снова шло по-дружески, но поэт чувствовал, что прежнего контакта не возникает: когда исполнилось двадцатипятилетие его литературной деятельности, Демьян отказался от празднования юбилея. Профессор Кирпотин, которому был поручен доклад на предполагаемом торжестве, объясняет это так: «Чествованию предполагалось придать преимущественно литературный характер, а Демьян Бедный смотрел на себя как на солдата — певца революции, а не как на поэта, гоняющегося за чисто литературной славой».

Однако отвергнутый юбилей — деталь, не сопряженная со сколь-нибудь значительным переживанием. Горе случилось в июне того же года. Умер Алексей Максимович Горький.

Только недавно, на съезде, Демьян восклицал с трибуны: «...Горький, на нашу общую радость, богатырски работает и еще — горячо надеемся — двадцать пять лет проработает! Вы видели, какой он молодой!»

И вот его нет...

А вскоре на Демьяна обрушился новый удар, имеющий отношение уже только к его собственной биографии. Москов-

ский Камерный театр поставил комическую оперу-фарс Бородина «Богатыри» с новым текстом Демьяна Бедного. Поэт сохранил основных действующих лиц старой пьесы, но изменил бытовое, шуточное содержание на социально-историческое. Вместо сказочного Густосмысла появился исторический Владимир, вместо безобидных любовных конфликтов — конфликты социальные.

Поэт, конечно, не задавался целью опорочить русских богатырей, воспетых в народном творчестве, которое всегда чрезвычайно ценил. Характерно, что, выступая на I съезде писателей, Демьян сравнивал себя с Ильей Муромцем, цитируя стихи А. К. Толстого: «...А как тресну булавою, так еще не слаб!» Да и в статье, предпосланной спектаклю, поэт говорил о персонажах пьесы: «Это не Ильи Муромцы, не Добрыни»; персонажи «Богатырей» не чета им». Но сам Владимир — «Красное Солнышко» был изображен резко карикатурно, что, кстати, совпадало с отношением к «ласковому князю» в народных былинах, но совершенно не совпадало с тенденцией возвеличивания князей и царей, уже в то время проявившейся. Пьеса Демьяна противопоставляла князя и его дружину народу. Спектакль был трактован как издевка над русскими богатырями, опорочение русской истории, в чем поэт бывал грешен и раньше. Но теперь этот грех вызвал еще и подозрения в намеках на настоящее. Спектакль и сама пьеса были немедленно запрещены. Печать клеймила позором автора. Попытки объясниться лично с И. В. Сталиным ни к чему не привели. Демьян понял, что запрещением спектакля дело не кончится.

Имя его не включалось в учебные программы для школ и вузов.

Замолк телефон. Редакции газет больше не обращались за материалом. Вскоре перестали приходить эмигрантские и прочие издающиеся за границей газеты, над которыми всегда работал поэт. Старой Демьяновой почты вообще не стало.

Ничего не улучшилось и в следующем году.

Что же делал в этих условиях Демьян Бедный? Работал. Весной 1938 года написал памфлет на фашистскую Германию, послал в «Правду». Вскоре вызвали. Взволнованный, помчался поэт в редакцию ночью. Сын рассказал, каким он вернулся: «Лицо его было серо-пепельного цвета, он тяжело дышал и не мог разговаривать. Я налил ему стакан воды, и он, выпив его, стал отрезать кусок от лимона, лежавшего на столе. Смотрел отец куда-то вдаль, и я видел, как вместо лимона он режет свой палец. Боли он не чувствовал».

Летом того же 1938 года по ложным обвинениям Демь-

ян Бедный был исключен из партии (он был восстановлен после XX съезда КПСС) и долгие три года мужественно и стойко ждал, что он еще пригодится, что партия его позовет, он еще поработает для нее. В ожидании этого он не переставал трудиться. Если друзья спрашивали его о самочувствии, то ответ бывал краток: «Держусь. Надеюсь». И порою добавлял: «Пишу...»

Глава III

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Шли последние годы жизни. Без привычных заказов. Почти без друзей. Без широких контактов с людьми, которыми он так дорожил.

Нельзя сказать, что пятидесятишестилетний поэт был полон сил. Но он и не был повержен на колени. Не сломлен. Работал.

Демьян рассердился бы за передачу подробностей о том, как прожил эти тяжелые годы, а обращаясь к биографии человека, нельзя не считаться с тем, как он сам ее воспринимал.

Когда в 1921 году от Демьяна потребовалась автобиография, он уложил ее в пятьдесят строк. Кроме основных дат жизни, здесь высказано утверждение, что рассказывать ему о своей жизни... «все равно, что давать комментарий к тому немалому количеству разнокачественных стихов, что мною написаны. То, что не связано непосредственно с моей агитационно-литературной работой, не имеет особого интереса и значения: все основное, чем была осмыслена и оправдана моя жизнь, нашло свое отражение в том, что мною с 1909 года по сей день написано».

Так Демьян говорил в пору наивысшей славы, такой широкой популярности в народе, какой до него при жизни не знал ни один поэт. А когда в 1942 году его автобиография потребовалась снова, он обошелся всего пятнадцатью строчками. Сообщил дату рождения, окончания Университета и закончил так:

«Стихи стал печатать в 1909 году в «Русском богатстве» (январская книга). Появились в большевистской «Звезде» стихи в 1910 году. Участвовал в создании газеты «Правда» (1912 г.). С этого же года стал партийцем, взял псевдоним Демьян Бедный, оставался таковым до июля месяца 1938 года. Перерыв в работе до начала войны с фашистами (1941 г.). Работаю в «Правде», многих газетах, в «Окнах ТАСС».

Что пролегло между этими двумя автобиографиями? Беспрестанные подтверждения высказывания Салтыкова-Щедрина:

«Моя биография — мои произведения». Даже при выходе в двадцатых годах биографического очерка о Демьяне Бедном, который, по словам поэта, был похож на его жизнь, «как гвоздь на панихиду», он ничем печатно не отозвался, ничего не опроверг. Другому литературоведу, взявшемуся писать о нем, сделал такое признание:

«Дело в том, что по отношению к авторам, заявляющим о своем намерении писать обо мне, я неизменно чувствую какую-то неловкость, стыдливость, что ли. Говорить «о себе», давать материал «о себе», что-то такое невольно «подсказывать» — к этому я никак приспособиться не могу. ...Рано, по-моему, взялись за мои биографии. Подождали бы лет 20, я бы и сам написал. А пока имеются более интересные темы».

Но когда прошли названные годы, появился неожиданный досуг, и поэт, казалось, мог бы вспомнить о себе — этого тоже не случилось. Тема собственной жизни всегда привлекала Демьяна меньше всех других — «более интересных». Он не только не обратился к воспоминаниям, но яростно уничтожил все, что годами лежало в личном архиве. Не оборачивался назад, упорно стремился остаться именно в сегодняшнем дне, работать на настоящее время. Ведь обо всем, что волновало Демьяна, он всегда говорил вслух и призывал к этому других:

Радость — смейся! Тревога — кричи!
Но не молчи!
Будь вечно отзывчивым эхом!
Без просьб, без кнутов...

Работая всю жизнь без кнута, подстегиваемый исключительно собственным неукротимым желанием всюду поспеть, по выражению Горького, «вмешаться в самую гущу жизни... месить ее так и этак... тому — помешать, этому — помочь», Демьян просто не видел себя никогда без связи с делом. Что же сказать за него о том времени, когда дел не стало? Только одно: никакие обстоятельства не могли заставить его бросить работу.

Вероятно, поэт даже не вспоминал в эти дни о своей старой басне «Пушка и соха». Написана она была в 1914 году, и смысл ее заключался в антивоенном призыве: грохочущая весь день пушка удивленно спрашивает соху, что она-то здесь делала? «Пахала, — молвила соха, — пахала». Это странно пушке, утверждающей, что теперь сохе осталось лишь отдыхать, но та стоит на своем: «Пахать, — соха сказала пушке, — пахать!»

Поэт каждый день садился за работу. Уже не связанный с той живой жизнью, которая обогащала его впечатлениями,

он обратился к народному творчеству. В. Сидельников, возглавлявший отдел народного творчества Литературного музея, рассказывал, что поэт в сороковом году... «часто заходил в наш отдел, интересовался работой, а главное, его привлекал фольклорный материал... Особенно его интересовал алтайский эпос. Привлекал его и сибирский эпос. Он не раз изъявлял желание поехать туда за фольклором. Узнавал, не организуется ли фольклорная экспедиция, чтоб принять в ней участие».

В те же дни Демьян подарил Сидельникову свою книгу с надписью:

Мне заяц пересек дорогу,
И я напраслину терплю.
Все ж оживаю понемногу,
Ценю друзей и Вас, ей-богу,
Этнографически люблю!..

Но экспедиции все не было, да и в одном из писем читаем извинения за опоздание с ответом: «Хворал».

Наконец после некоторых колебаний выбор темы пал на давно привлекавшую внимание Демьяна книгу «Дореволюционный фольклор на Урале», в которой были помещены сказы талантливейшего сказителя Хмелинина — «дедушки Слышко». И раньше собирался добраться до Хмелинина — все руки не доходили. Теперь сел.

Демьян Бедный знал о том, что по этим сказам уже работал Бажов, создавший «Малахитовую шкатулку»; мало того, при первой публикации Бажова защитил его от обвинений в «фальсификации фольклора». Может быть, именно это обстоятельство и дало повод поэту рассматривать труд Бажова не как оригинальное сочинение профессионала, а просто как обработку текстов сказителя?

Так или иначе, обратившись к первоисточнику, Демьян написал двенадцать тысяч строк. И после сознался, что смотреть на написанное не хочется: «Выходит, если я пользовался Хмелининым — мой стихотворный пересказ имеет цену — если я пересказал Бажова — грош цена моему пересказу». «Я оказался в положении Пушкина, попавшегося на мистификацию Мериме».

Чтобы понять отношение поэта к народному творчеству, можно обратиться к десяткам его высказываний. Но довольно и одного, написанного в 1925 году автору очерка о творчестве Демьяна Бедного:

«Одно место надо Вам обязательно исправить.

Я говорю о строках, где Вы отказываете в гениальности

сочинителю таких бесспорно гениальных песен, как помещенные в моей повести «Про землю, про волю» песни «Не кукушечка во сыром бору куковала» и «Не шумите-ка вы, ах да ветры буйные». Дело в том, что над этими песнями стоит заголовок: «Песни народные», и таковыми они и являются. Я их поместил, не меняя ни словечка. Так что при ссылке на стихотворения, показывающие мои попытки писать народным складом, Вам придется использовать иной пример, и тут уж не будет ошибки насчет гениальности».

Очень характерен для позиций Демьяна и факт его выступления против писательницы Федоренко: он приветствовал ее книгу записей солдатских разговоров, сделанных во время империалистической войны. Но когда Федоренко объявила, что ее восторженно встреченная работа «Народ на войне» не записи, а собственное сочинение, Демьян рассвирепел. Как ни мало вяжется с поэтом слово «благоговейно», но, пожалуй, только оно определяет его отношение к народному творчеству. В 1940 году само это отношение будто обернулось против него.

Однако нужно не только работать. Надо зарабатывать. Жить. Выписывать газеты. Угощать тех немногих, кто навещает. Продать библиотеку? Нет! Это исключено. Пора лишь, пожалуй, подумать о том, чтобы передать ее в верные руки. После долгих размышлений поэт дарит книги Литературному музею, оговаривая только оплату части, что приходится на долю бывшей жены. А на жизнь он зарабатывает писанием текстов для цирковых программ. Любовь к цирку — старая привязанность, а управляющий — Данкман так же, как Смирнов-Сокольский и несколько других старых друзей, бывает на Рождественском бульваре и сейчас. Демьяну остается только придумывать себе псевдонимы.

Иногда с периферии приходят запоздалые свидетельства о былом размахе работы: в Харькове сделан перевод на украинский «Нового завета без изъяна евангелиста Демьяна».

«Могу ли я Вас не благодарить? — пишет в Харьков поэт. — Но что дальше? Вы, вероятно, из газет знаете, как мне аукаются растрижды проклятые «Богатыри», писать которые я согласился в несчастную для меня минуту... А вот теперь я расплачиваюсь за это и впереди вижу мало хорошего. В связи с этим я не предвижу радости и для Вас: сомнительно, чтобы теперь Ваш перевод взяло какое-либо издательство... И перед Вами мне как-то стыдно, что вроде бы я подвел Вас и пропадет надолго или задержится Ваш труд».

Это письмо подписано: «Е. Придворов», словно вне партии он уже больше не считает себя и Демьяном Бедным... Литера-

тура вне партийной связи для него не существовала. Давно сказал о себе: «Не зная, какой он там был литератор, я знал хорошо, сколь он злой агитатор». И работа на цирк тоже устраивала тем, что и с его арены поэт продолжал агитировать. Для этого, правда, надо было еще уметь шутить. Шутить он, конечно, не разучился, потому что, как бы ни подписывался, оставался все тем же Демьяном.

Таким застало его воскресное утро 22 июня 1941 года. На полях незаконченной басни «Обиженный черт» запись: «...немцы-фашисты на нас напали... Завтра подам везде заявления о предоставлении мне работы на любой участок фронта. 13.15. Д. Бедный».

...Под громовые аплодисменты закончил Демьян свою речь семь лет назад на I съезде советских писателей:

«...Я принадлежу к породе крепкозубых... У меня бивни. И этими бивнями я служил революции двадцать пять лет. Верно: не молодые бивни. Старые. С надломами и почетными зазубринами, полученными в боях. Но бивни эти, смею вас уверить, еще крепкие... Искусство владеть ими приобретено не малое, и я не перестаю их подтачивать. Они должны быть в готовности. Придет грозовой момент — и враг еще не раз почувствует силу этих бивней».

Теперь пришел момент доказать, что сказанное было чистой правдой, и он доказал это. В июле в «Правде» появилось стихотворение «Партизаны, вперед!», и с тех пор подпись — Демьян Бедный — уже больше не исчезала с ее страниц до самой кончины поэта.

Он быстро создал новый вариант поэмы «Колхоз «Красный Кут», поскольку темой ее было: возможность нападения фашистской Германии. Теперь поэма звучит сильнее и называется по-иному. И затем Демьян, как встарь, принимается за работу с боевой оперативностью.

Броские призывы, шутки, саркастические издевательства над врагом, басни, строки, полные национальной гордости и уверенности в победе.

Прямая угроза любимому Ленинграду?

Ты грозен для врагов, как рок.
Они иль гибнут, иль сдаются.
И о гранитный твой порог
Фашисты тоже разобьются!

Новое свидетельство неприступности воздушных границ Москвы? Вот оно, «Утро под Москвой»:

В небесах бои ночные
Красных ратников,
Это соколы стальные
Бьют стервятников.

Из боев не все бандиты
Возвращаются,
«Мессершмитты» в мусоршмитты
Превращаются.

Под Москвою утром галка
Удивляется:
Что ни ночь, то мессерсвалка
Прибавляется.

В ноябре 1941 года Демьян серьезно напоминает немецкому народу:

Бисмарк сказал: «Мой нарушен завет,
Схватка с Россией опасней всех бед.
Опустошало ее многократно
Сколько воителей, но ни один
Благополучно из русских равнин
После «побед» не вернулся обратно.

Всем наставленьям моим вопреки
Ринулись немцы дорогой иною.
Пренебрегли их вожди-дураки
Тем, что для умных завещано мною!»

Но особенно удалось старому поэту обращение к своему народу, опубликованное в «Правде» 7 ноября 1941 года и звучавшее в этот день по радио:

Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой,
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
Несокрушимою тысячелетней верой.

Таковы вступительные строки стихотворения «Я верю в свой народ». Многое удается Демьяну Бедному, многое он предвидит. Не может достичь только одного — получить работу «на любом участке фронта», просьбы о чем лежат «везде». Вместо отъезда на фронт — эвакуация. Казань, куда его отправляет Союз писателей.

В декабрьском письме к старому другу Н. Н. Накорякову читаем: «У нас в Казани настроение прекрасное, рабочее... Меня не оставляет надежда, что возвращение в Москву не за горами, а из Казани путь близкий».

Демьян выступает на больших собраниях, митингах, по радио. Пишет для местной «Красной Татарии» и почти для

всех других волжских газет. Пишет и для «Правды», хотя жалуется: «С «Правдой» связь была все время крайне плоха. Пока написанное злободневное стихотворение дойдет, оно устареет. А передача по телефону ужасна».

И все-таки он держит слово, данное восемь лет назад делегатам XVII партийного съезда:

...как бы ни был век мой краток,
Коль враг пойдет на нас стеной,
В боях, в огне жестоких схваток
Я дней и сил моих остаток
Удорожу тройной ценой.

Демьян продолжает требовать отправки на фронт. Как он мотивировал свои просьбы, знал только А. А. Фадеев, который по приезде в Казань навестил поэта, и тот долгих два часа доказывал, что... «как тресну булавою, так еще не слаб!». Но все же Демьяну под шестьдесят, мучит диабет, шалит сердце. Прошло время, когда Демьян Бедный был единственным, чьи стихотворные обращения-плакаты печатались с надписью: «Кто сорвет или заклеит этот плакат—сделает контрреволюционное дело». Некого во всей огромной стране предупреждать подобными надписями. И сколько выросло талантливых молодых и... здоровых поэтов! Именно это дает старому агитатору глубокое удовлетворение, утешает его. Он счастлив, что дожил до поры, когда дело всей его жизни ведется новым поколением, что гремит мужественная песня «Священная война», как некогда гремела Демьянова «Коммунистическая Марсельеза».

Он никогда не был писательски ревнив и говорил в 1934 году истинную правду, утверждая: «Нас, писателей, две тысячи, и мы не успеваем. Если бы нас было двадцать две тысячи, то и тогда мы не успели бы, потому что действительно происходит что-то необъятное и грандиозное».

Теперь писателей больше. Демьян видит, что они справляются. Выходит: «Нашего полку прибыло». Боевой жанр в почете! Чем больше удачных песен, плакатов, призывов, тем лучше. Ну и он сам, конечно, прилагает все силы, чтобы работать, как в былое время.

Множество стихотворных агиток Демьяна печатается на театральных афишах, на обложках тетрадей, на кисетах для фронта.

На Казань он нисколько не жалуется. Но мысль о Москве «гвоздит» непрестанно. И поэтому когда в феврале 1942 года А. А. Фадеев пишет поэту, что «Руководство ТАСС и президиум Союза писателей крайне заинтересованы в том, чтобы Вы

приняли непосредственное и активное участие в создании окон ТАСС. За последнее время качество текстов к рисункам «Окон» заметно и резко снизилось...» — решение приходит немедленно. Разве можно раздумывать после такой телеграммы, хотя она пришла без необходимого для въезда в столицу пропуска? Какой патруль не пропустит в Москву Демьяна Бедного? Расчет правилен. И вот он здесь.

Днем его можно увидеть в ТАСС, в редакциях газет и журналов, на выполняющих военные заказы заводах. Ночью он за работой. Художник И. Страж говорит, что Демьян... «бывало, среди ночи поднимал меня с постели, диктовал новую, более удачную строку, чтобы она успела попасть в печать».

Плакаты-молнии. Фронтовые частушки. Специальные обращения к рабочим оборонных предприятий «Окна ТАСС». Листовки на фронт. «Правда», «Известия», «Социалистическое земледелие», «Красная звезда», «Московский большевик», «Комсомольская правда», «Труд», «Красный флот». Фронтовые издания, армейский юмористический журнал «Залп». Не оставлена ни «Волжская коммуна», ни «Красная Татария».

Силы у поэта есть, потому что:

В строю и молодость и старость,
Все — в напряженье, все — в бою.
Страшней нет ярости, чем ярость
В борьбе за родину свою!

Только начался 1942 год, а Демьян совершенно точно предсказывает предателю французского народа Лавалю, до чего он дослужится: «Подлую тварь — на фонарь!» В 1945 году Лаваля казнят по приговору Верховного суда Франции.

Примечая свойство фашистской информации и пропаганды, Демьян в конце стихотворения на эту тему делает вывод: «Врут немцы дико, нагло, зычно, вранье в сплошной слилося гул. Врут так отчаянно обычно пред тем, как крикнуть: кар-р-ра-ул!» Поэт отлично знает, что ему еще предстоит сказать: «Вы посягнули на Москву и поплатилися Берлином!»

Но пока идет тяжелый 1942 год, и начало 1943-го Демьян отмечает одним из лучших своих стихотворений той поры. Это легенда «Месть».

Герой без имени. Просто мальчик. Маленький мальчик, убитый фашистами в подмосковной Верее — с «голубем белым на левом плече». И нарицательное слово в этой легенде кажется собственным именем:

По ночам, воскрешенный любовью народной,
Из могилы холодной

Русский мальчик встает
И навстречу немецкому фронту идет.
Его взгляд и презреньем сверкает и гневом,
И, все тот же — предсмертный! — храня его вид,
Белый голубь сидит
На плече его левом.
«Кто идет?» — ему немец кричит, часовой.
«Месть!» — так мальчик ему отвечает.
«Кто идет?» — его немец другой
Грозным криком встречает.
«Совесть!» — мальчик ему отвечает.
«Кто идет?» — третий немец вопрос задает.
«Мысль!» — ответ русский мальчик дает.
Вражьи пушки стреляют в него и винтовки,
Самолеты ведут на него пикировки,
Рвутся мины, и бомбы грохочут кругом,
Но идет он спокойно пред пушечным зевом,
Белый голубь сидит на плече его левом.

. . . .

И о нем говорят всюду ночью и днем.
Говорят, его видели под Сталинградом:
По полям, где судилось немецким отрядам
Лечь костьми на холодной, на снежной парче,
Русский мальчик прошел с торжествующим взглядом,
Мальчик с голубем белым на левом плече.

Какой же юношеской оперативностью и огромным творческим диапазоном нужно было обладать, чтобы, написав такие стихи, мгновенно выполнить срочный заказ для заводского «Окна ТАСС» вроде:

...Не сталевар я, не прокатчик,
Я заводской поэт-плакатчик
И этим званием горжусь!
Я дряблым людям не потатчик,
Лют на язык, когда сержусь!

Так же срочно надо было ответить на вопрос:

«Что напечатать на кисетах, посылаемых на фронт?» Подарки бойцам собраны, час отправления поезда назначен!

Эх, махорочка душиста,
Хорошо ее курнуть!..
Бей проклятого фашиста,
Не давай ему вздохнуть!

«Лихая рота стихов» Демьяна по-прежнему посылается им на фронт, во вражеский тыл, на поддержку своим. Очередное «Окно ТАСС» оповещает:

Геббельс хочет скрыть тревогу:
Русским ставит он в вину,



Иллюстрация к сатирической поэме «Колхоз «Красный Кут». Художники Дени и Н. Долгоруков.

Что они ведут, ей-богу,
Не по правилам войну.

Что сказать бойцам советским?
«Бьем мы гадов, не таим,
Не по правилам немецким,
А по правилам своим!»

Нет, не забыл Демьян Бедный прежних боевых приемов! «Старые бивни, с надломами и почетными зазубринами» работают! Поэт не забыл ничего, в том числе своей верности в обращении к тому, кто ему дороже всех:

Высоких гениев творенья
Не для одной живут поры:
Из поколенья в поколенье
Они несут свои дары.

Наследье гениев былого —
Источник вечного добра.
Живое ленинское слово
Звучит сегодня, как вчера.

Трудясь, мы знаем: Ленин — с нами!
И мы отважно под огнем
Несем в боях сквозь дым и пламя
Венчанное победой знамя
С портретом Ленина на нем!

Так отмечен день рождения Ильича в апреле 1944 года.

Все чаще стихи Демьяна звучали по радио, сливаясь с салютами в честь новых побед. Страницы написанного в годы

Иллюстрация к сатирической поэме «Колхоз «Красный Кут».

Художники Дени и Н. Долгоруков.

Отечественной войны стали отражением ее истории, как раньше они были отражением истории войны гражданской. Снова Демьян неплохо «пророчит» своим врагам:

Да, рейх заменится тюрьмой,
Откуда, мир оставив тесный,
Дорогой он пойдет прямой
В «четвертый, вечный рейх» — небесный!

Он предвосхищает конец Гитлера от лица его министра пропаганды Геббельса:

«Я извещу весь шар земной:
Не нас повесили, мы сами
Переселились в мир иной!»

Ноябрь 1944 года. Исполняется сто лет со дня смерти великого баснописца Ивана Андреевича Крылова. Торжественное заседание в Большом театре. Вступительное слово говорит Демьян Бедный. Никто в зале не знает, что поэта привели сюда под руки: после недавнего инсульта и пареза правой стороны он плохо владеет рукой, немного расстроена речь. Поэтому Демьян, против обыкновения, читает:

«В старину на Востоке был обычай: передавать боевой булат из рода в род, как драгоценность. Как же у нас прежние литературоведы относились к крыловскому булату, к его оружию — к басне? Смешно вспомнить, но в большинстве распространенных старых учебников по теории словесности о бас-

не было сказано буквально следующее: «Басня — вымершая литературная форма». Аминь, значит. Отжила свое время, покойница. Мертвая форма! Так эта форма после Крылова и пребывала в могильном забвении. И вдруг в 1912 году она оказалась живой, воскреснув на страницах руководимого Лениным боевого органа большевистской партии — газеты «Правда».

Царская цензура поначалу растерялась, а потом, опомнившись, пришла в исступленную ярость. Особо острые басни влекли за собой или штрафы, или конфискацию номеров «Правды», в которых были напечатаны эти басни, разоблачавшие и громившие врагов рабочего класса. Ряд рабочих-редакторов из-за басен подвергся тюремному заключению. Под конец само слово «басня» оказалось запретным. Однажды было представлено в цензуру несколько басен Эзопа в моем переводе. Жирным заголовком умышленно было оттенено: «Басни Эзопа». Но царский цензор свирепо перечеркнул все басни и на полях рукописи красным карандашом крупно вывел: «Знаем мы этого Эзопа!»

Нет, крыловское оружие, басню, хоронили преждевременно, она уже сослужила добрую службу рабочему классу, и она еще пригодится нам в борьбе со злом и пороками, унаследованными нами от прошлого и мешающими нашему социалистическому строительству, в борьбе с любыми врагами нашей Советской Родины и в борьбе с явными и скрытыми врагами нашей героической партии. И учителем нашим в применении этого испытанного оружия был и останется величайший мастер басни Крылов. Он жив. Он неразлучен со своим родным народом. Он — драгоценнейший алмаз в сверкающей короне великой и благороднейшей литературы и благороднейшего народа. Гениальный и мужественный народ, в недрах которого выкристаллизовываются подобные алмазы, непобедим!»

Новый, 1945 год поэт встречает описанием сцены, которую явственно видит на фронтовом шоссе, хотя так и не побывал на нем:

— Эй, — сказал ей молодчина
У цистерны, у бензинной, —
Как зовут тебя, дивчина?
— Называют люди Зиной.
— Так налей-ка мне бензина,
Чтоб хватило до Берлина!

Он думает не только о том, что советские войска скоро будут в Берлине, но и о той обстановке, которая сложится после победы:

Мы за друзей стоим горой. Спокон веков
Известны мы своим радушьем,

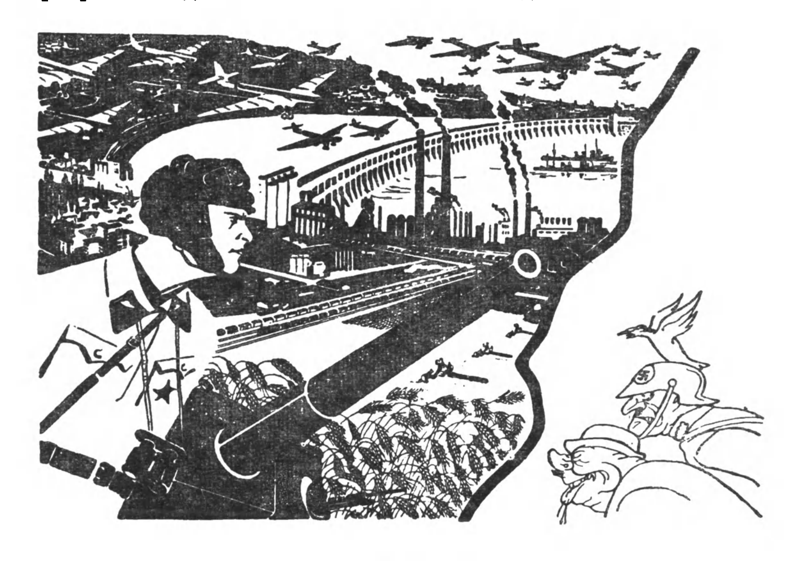
Но скажем господам иным за рубежом,
Врага, что сердце нам хотел пронзить ножом,
Не склонны мы дивить своим великодушьем.
Мы перед Родиной ответственны во всем
И пред потомками. Пусть знают «адвокаты»:
    Фашизму не избыть расплаты,
    Ему мы голову снесем!

Демьяну Бедному под конец жизни выпала не только большая радость вдохновенного, нужного его народу труда, но и великое счастье дожить до Победы. Поэт пережил ее всего на шестнадцать дней. Но они были озарены спокойствием, несмотря на ощущение близости собственного конца. Еще накануне Победы, 24 февраля 1945 года, поэт написал себе эпитафию:

Не плачьте обо мне, простершемся в гробу,
Я долг исполнил свой, и смерть я встретил бодро.
Я за родной народ с врагами вел борьбу,
Я с ним делил его геройскую судьбу,
Трудяся с ним и в непогодь и в вёдро.

24 мая на самодельном календарике одно слово: «Плох». На следующий день Демьяна Бедного не стало.

Если бы поэт не написал себе эпитафии, то лучшей, чем была высказана Гейне, наверное бы, не нашлось: «Я не знаю, заслужил ли я, чтобы мой гроб был украшен лавровым венком. Но на этот гроб вы должны возложить меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества».



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. БЕДНОГО

1(13) апреля 1883 — Родился в селе Губовка Александрийского уезда Херсонской губернии (Кировоградская область).

1894 — Окончил сельскую школу.

1896 — Принят в Киевскую военно-фельдшерскую школу.

1900 — Выпущен из школы ротным фельдшером

1900—1904 — Проходит военную службу в Елисаветградском госпитале, одновременно сдает экстерном курс гимназии на аттестат зрелости.

1904 — Приезжает в Санкт-Петербург. Зачислен на историко-филологический факультет Университета.

1907 — Знакомство с поэтом-народником П. Ф. Якубовичем (Мельшиным).

1908 — Начало переписки с большевиком В. Д. Бонч-Бруевичем.

1909 — Публикация стихов Е. Придворова в январской книжке журнала «Русское богатство».

1910 — Знакомство с В. Д. Бонч-Бруевичем.

1911, март — Смерть П. Ф. Якубовича (Мельшина).

1911, апрель — Первая публикация стихов в большевистской газете «Звезда».

1912 — Вступление в большевистскую партию. Появление в «Звезде» подписи «Демьян Бедный». Май — Выход первого номера «Правды».

1912, ноябрь — Начало переписки с В. И. Лениным. Выход первой книги басен.

1913 — Получение выпускного свидетельства Университета.

1914 — Разгром «Правды». Начало первой империалистической войны. Мобилизация, отъезд на фронт.

1914—1915 — Фронт. Переводы басен Эзопа. Георгиевская медаль за храбрость.

1916 — Возвращение в Петроград.

1917, март — Возобновление «Правды». Апрель — Первая встреча с В. И. Лениным. Работа над повестью «Про землю, про волю, про рабочую долю».

1917 — Великая Октябрьская социалистическая революция. Окончание публикации повести «Про землю, про волю, про рабочую долю».

1918 — Переезд с Советским правительством в Москву.

1918—1920 — Работа на фронтах гражданской войны.

1922 — Первый однотомник избранных произведений.
Окончание и публикация поэмы «Главная Улица».
1923 — Награждение орденом боевого Красного Знамени.
1925 — Выход первого тома Полного собрания сочинений.
1926 — Выступление на III Всесоюзном совещании рабселькоров.
1930 — Критика ошибочных фельетонов Д. Бедного.
1931 — Беседа с молодыми рабочими-ударниками в «Комсомольской правде».
1933 — Награждение орденом Ленина в связи с пятидесятилетием.
Премьера сатирического обозрения «Как четырнадцатая дивизия в рай шла».
1934 — Выступление на I Всесоюзном съезде советских писателей.
1941—1945 — Работа в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде», «Красном флоте» и других газетах, в «Окнах ТАСС».
1945, 25 мая — Скоропостижная кончина.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания произведений Д. Бедного

Собрание сочинений в одном томе. Изд. «Рабочей газеты», 1922.

Полное собрание сочинений в 19 томах. М., Госиздат, 1925—1930.

Однотомник. М., изд-во «Художественная литература», 1937.

Избранное. М., изд-во «Советский писатель», 1948.

Собрание сочинений в 5 томах. М., Гослитиздат, 1948.

Собрание сочинений в 8 томах. М., изд-во «Художественная литература», 1964.

Библиотечка избранной лирики. М., изд-во «Молодая гвардия», 1967.

Литература о творчестве Д. Бедного

А. Ефремин, Громовая поэзия. М., Госиздат, 1929.

В. Куриленков, Демьян Бедный. М., изд-во «Советский писатель», 1954.

А. Макаров, Демьян Бедный. М., изд-во «Художественная литература», 1964.

А. Монастырский, Поэт революции. Тамбовское книжное изд-во, 1963.

А. Прямков, Дооктябрьская «Правда» о литературе. М., изд-во «Советский писатель», 1955.

И. Эвентов, Жизнь и творчество Демьяна Бедного. Л., изд-во «Художественная литература». Ленинградское отделение, 1967.

Воспоминания

Воспоминания о Демьяне Бедном. Сборник. М., изд-во «Советский писатель», 1966.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Бразуль Ирина Дмитриевна

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. М., «Молодая гвардия», 1967. 304 с. с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 18(442).

8Р2

Заставки к I, III, IV частям, концовки к I, II, III частям художника К. Ротова.

Концовка к IV части художников Дени и Н. Долгорукова.

Редактор **Е. Любушкина**
Серийная обл. **Ю. Арндта**
Худож. редактор **А. Степанова**
Техн. редактор **Л. Никитина**

Сдано в набор 11/IX 1967 г. Подписано к печати 25/III 1968 г. А04484. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Печ. л. 9,5 (усл. 15,96) + + 15 вкл. Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 75 000 экз. Зак. 2018. Цена 82 коп. Т. П. 1967 г., № 448.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

В СЕРИИ «ЖЗЛ» В 1967 ГОДУ ВЫШЛИ:

1 (363). В. Шкловский. Лев Толстой. 2-е изд.
2 (325). Л. Гумилевский. Вернадский. 2-е изд.
3 (344). М. Арлазоров Циолковский. 3-е изд.
4 (433). А. Моруа. Жорж Санд.
5 (340). К. Чуковский. Современники. 3-е изд.
6 (434). А. Елкин. Луначарский.
7 (435). П. Асташенков. Курчатов.
8 (436). С. Пророкова. Кэте Кольвиц.
9 (437). А. Рубакин Николай Рубакин.
10 (429). С. Морозов. Прокофьев.
11 (361). И. Дубинский-Мухадзе. Орджоникидзе. 2-е изд.
12 (438). Г. Тринчер, К. Тринчер. Рутгерс.
13 (438). К. Паустовский. Близкие и далекие.
14 (358). М. Горький. Литературные портреты. 2-е изд.
15 (440). В. Баранченко. Гавен.
16 (431). Д. Данин, Резерфорд. 2-е изд.
17 (441). А. Западов. Новиков.
19 (443). И. Голенищев-Кутузов. Данте.
20 (444). А. Марьямов. Довженко.

82 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ